

На снимке: Церковь Рождества Богородицы в Пропойске (Славгороде). Архитектор Николай Львов (автор Невских ворот Петропавловской крепости, здания почтамта - в Санкт-Петербурге); фрески выполнены бригадой московских художников под руководством знаменитого В.Боровиковского.

***ИОСИФ СЁМКИН***

**ПРОЖИТЬ НЕЗНАМЕНИТЫМ**

**(Жизнь «незамечательных» людей)**

**АВТОПОВЕСТЬ**

 Мемуары, как правило, пишут или большие военные, или арт-знаменитости. Просто знаменитости чаще всего не успевают описать свою жизнь из-за большой занятости делом, поэтому о них пишут другие в серии «Жизнь замечательных людей». А если вы ничем не знамениты, но вам есть что рассказать о своей жизни? Тогда продолжите серию «Жизнь «незамечательных» людей».

 Миллионам людей есть что рассказать о своей жизни, особенно поколению, родившемуся незадолго до войны 1941-1945 г.г.

 Автор – из этого поколения «Детей войны». Наряду с описанием ключевых моментов своей жизни приводит и оценку событий в ней, как свою, так и своих современников: «При немцах мы жили хорошо!» - это в многострадальной «партизанской Белоруссии»!? А как же при Сталине, Хрущёве, Брежневе и Ко?

 *«Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, чтоб и все знали это... Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь... Чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»*

 *Л.Н.Толстой*

**Вместо пролога**

 Не могу припомнить, как он появился. Он возник ниоткуда, но я его узнал, будто не прошло и пятидесяти двух лет. Он был похож на такого же одноногого Демьяна из давнего многосерийного фильма «Вечный зов», но всё же это был Семён, хотя он был в таком же картузе, что и Демьян в «Вечном зове». Я протянул ему руку – мы поздоровались, отлично узнавая друг друга, хотя и не виделись больше полувека. Странно, но в той далёкой жизни мы редко виделись, разве что случайно. Как водится при таких встречах, завязался разговор: где живёшь, где и кем работаешь; молодец, дескать, добился чего-то в жизни, не то, что мы: тянем вот колхозную лямку; одна отрада – река. На плече его откуда-то появился широкий деревянный лоток, наподобие корыта, с рыбацкой сетью и веслом поверх неё. Лоток-корыто он поддерживал одной рукой, а в другой был длинный шест с вбитой на конце его скобой, на которую были нанизаны довольно крупные гайки – это устройство называлось «чополо» и предназначалась для загона рыбы в сеть: конец шеста с шумом бросался в воду, затем рыбак шуровал им по дну водоёма, гайки в воде создавали грохот, соизмеримый в воде с артиллерийской канонадой на берегу, испуганная рыба бросалась наутёк и попадалась в ловко расставленную сеть.

 Мы стояли на деревенской улице, именуемой Самодумкой, в самом её начале. Улица была точно такая, какой она была пятьдесят лет назад. Она жила той же жизнью – это чувствовалось, дома были живые, хотя жителей, кроме Семёна, не наблюдалось. Было раннее утро, может, поэтому улицы были пустынны.

 Ногу Семён потерял на войне. Вместо неё он привёз из госпиталя протез, но так и не выучился на нём ходить. Забросив протез, он соорудил сам себе деревянную ногу, наподобие той, что пользовались инвалиды с незапамятных времён. Она была ему удобнее протеза, по крайней мере, устойчивее. Семён спокойно мог править лодкой, похожей на каноэ, стоя в ней, забрасывая и выбирая сети.

 Мы ещё поговорили немного, после чего, кивнув, Семён зашагал прочь. Он был весь полудеревянный: лоток, весло, шест, – правда, с железными гайками – огромная деревянная нога образца 1905 года всегда были при нем, во всяком случае, в детстве я его встречал только таким, в одном и том же месте улицы, тянувшейся вдоль высоченного берега старицы, которыми изобилует Сож, направлявшимся со своей деревянно-гаечной рыбацкой амуницией к этой самой старице, которая, в свою очередь, изобиловала рыбой.

 Проснувшись, я долго переживал очередной сон с участием моих земляков, чаще всего тех, кого давно не вспоминал, и кто уже давно ушёл из жизни, и лица и картины родной деревни восстанавливали в памяти мою недолгую жизнь в ней – всего каких-то шестнадцать лет.

**Глава первая**

**О ВРЕДЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ**

 Моя деревня Кремянка раскинулась – именно раскинулась – на двух холмах, поднимающихся от долины реки Сож, которая заливается им в весеннее половодье, окружая деревню с запада и севера разливанным морем. На западном горизонте просматривается на высоком правом берегу этого же Сожа Пропойск, город, переименованный почему-то в Славгород, коих на просторах Советского Союза уже было на момент переименования, по меньшей мере, два: на Алтае и в Украине. Об этом факте переименования ходило и ходит множество легенд, сходящихся в итоге к тому, что новое название Пропойску дал сам Сталин. Глубокой осенью 1943 года в окрестностях западнее Пропойска шли тяжёлые бои. Этот населенный пункт имел большое значение для отступавшей немецкой армии: расположен он на стратегическом шоссе Москва – Варшава, да еще на высоком западном берегу Сожа и контролировал огромное пространство на востоке, откуда и наступала Красная армия. Пропойск она взяла, и отличившиеся при этом части должны были получить, как это стало уже традицией в наступающей Красной армии, почётное наименование «Пропойские». Например, гвардейская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова первой степени Пропойская дивизия, или: ордена Александра Невского отдельный гаубичный резерва ВГК Пропойский полк. Не звучит? А чем лучше, к примеру, Отдельная ордена Ленина, дважды Краснознаменная Жидачовская танковая бригада? Ну, есть такой городок в Западной Украине – Жидачов! И как прикажете его переименовать? Но вот же, не переименовали. Да и полки, овладевшие этим городом, остались без жидачовских наименований. Ну, потом-то, эти полки, конечно же, отличились, возможно, даже в Венгрии, потому что именно туда, в Венгрию, направлено было остриё наступающих через Жидачов советских войск. И, может, даже получили почетные наименования «Секешфехерварских» – знай наших! – в честь взятия, например, венгерского города Секешфехервар. Бои-то в Венгрии за каждый, даже самый малый город, были жесточайшие, а, не будь к ночи упомянутый, венгерский город так и вовсе переходил несколько раз из рук в руки. В шестьдесят третьем году мне неохотно рассказывал об этом, семнадцатилетний тогда, участник тех боёв. Так что зря Пропойск переименовали, И почётное наименование дивизиям-бригадам-полкам следовало бы присвоить именно «Пропойские». И звучало бы это красиво. А почему – поймёте чуть позже.

 Где ещё на Земле вы найдёте город с таким чудесным именем? Но якобы Сталину не понравилось звучание почетных наименований «Пропойские» и он предложил назвать город Пропойск Славгородом, дивизии – «Славгородскими». Как пишут не утруждающие себя поиском истины некоторые журналисты, почётные наименования якобы должны были получить 362-я или 186-я стрелковые дивизии 3-й армии, но вот что писал в своих мемуарах выдающийся полководец, командующий 3-й армией А.В.Горбатов: «Командир 362-й дивизии, высокий, полный генерал В. Н. Далматов, хороший командир и прекрасный товарищ, донося мне на третий день о занятии села Рудня, поставил необычное условие:

 — Город Пропойск не входит в полосу нашей армии, но мы можем им овладеть при условии, что вы не будете возбуждать ходатайства о присвоении дивизии наименования Пропойской.

 Конечно, я ему это обещал, и в тринадцать часов того же дня дивизия овладела городом Пропойск»\*).

 \*)Горбатов А.В. Годы и войны - 2-е изд. - М.:Воениздат, 1969.

 Ясно, что 362-я дивизия не получила названия «Пропойская». Зато 186-я дивизия якобы получила название «Славгородская». Но об этом, правда, никак не упоминает А.В.Горбатов.

 Читаешь в последнее время воспоминания некоторых участников боёв в 1943 году на рубеже рек Сож и Проня и диву даёшься: так какая же дивизия всё-таки взяла Пропойск? Досужие журналисты, не имея ни малейшего представления о теме, лихо дополняют своими фантазиями рассказы ветеранов – участников сражений за Пропойск. Один расписывает, как здорово воевал рассказчик-ветеран в составе 186-й дивизии, которой и присвоили почему-то наименование «Славгородская» за взятие, однако ж, Пропойска, – нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики: штурмовали Пропойск, а взяли Славгород! А после того, как 186-я получила такое почётное наименование, она еще удостоилась в 1944 году и другого почётного наименования – «Брестская».

 Надо же!

 Другой журналист, не зная ни сном, ни духом, что написал первый, утверждает, что на стол Верховному Главнокомандующему легло представление на присвоение почётного наименование «Пропойской» 324-й дивизии, входившей в состав 50-й армии, и якобы этой дивизии было присвоено почётное наименование «Славгородская».

 Конечно, в памяти ветеранов многое стирается и путается, тем более что на южной окраине Пропойска оказался стык флангов двух армий: 3-й армии генерала Горбатова и 50-й генерала Болдина. И именно в этой 10-километровой «пропойской» полосе дважды происходили рокировки дивизиями этих армий. Прочитайте книгу А.В.Горбатова «Годы и войны», в ней Александр Васильевич (не Суворов, но – Горбатов!) хорошо описывает, как всё было на самом деле.

 Ветераны 362-й и 186-й дивизий утверждают, что именно их полки штурмовали Пропойск. А получилось так, что части двух армий охватили Пропойск с флангов, южного и северного, и немцы оставили город перед угрозой окружения, поэтому 362-я дивизия 3-й армии Горбатова к обеду 25 ноября сравнительно легко овладела Пропойском.

 Бои же, и очень тяжелые, пришлись на долю 110-й стрелковой дивизии армии Болдина, но уже севернее и северо-западнее Пропойска. И полегли там едва ли не все мужики, призванные из местных деревень, как только освобождали их. Такая была практика: бросать в атаку только что призванных, необученных молодых ребят на пулеметы и минные поля противника. Их не жалели, их наказывали за то, что выжили на «временно оккупированных территориях».

 До Константина Симонова – известного советского поэта и писателя – никому и в голову не приходило связать название этого чудного города с заурядным пьянством, коего, судя по его стихотворению «Сказка о городе Пропойске», маститый поэт, писатель и военный корреспондент газеты «Красная звезда» вовсе не чурался. По крайней мере, в годы войны, что вполне понятно. Автор пронзительного «Жди меня» сочинил эту «Сказку», – именно сказку! – будучи проездом в конце сорок третьего года, вслед за наступающими частями Красной Армии, в Пропойске, где и согревался, по-видимому, в тёплой компании. Потому что написать: «Должно быть, название это / Недаром Пропойску дано, / Должно быть, и зиму и лето / Там пьют беспробудно вино» – такому большому поэту возможно было только с большого бодуна. И хоть сказка – ложь, да в ней намёк. А то, что написал Константин Симонов, не вырубить топором. Вот и превратился славный город Пропойск в один из Славгородов, полагаю, не без косвенной помощи выдающегося советского писателя, поэта, публициста, общественного деятеля и любимца Сталина.

 Кстати, официально переименовали Пропойск в Славгород указом Президиума Верховного Совета БССР 23 мая 1945 года. Так что сказки (везло Пропойску на сказки!) о том, что его сразу же переименовали по личному приказанию Сталина – это всё-таки сказки. Возможно, у вождя, который любил спаивать своих соратников и знал в этом деле толк, возникла, как и у Симонова, ассоциация с пьянкой при упоминании слова «Пропойск», и он, возможно, как-то высказался в связи с этим названием. Не хочется в это верить.

 Вот как описывает «факт» переименования Пропойска в Славгород «тайный советник вождя» некто Владимир Лукашов в книге В. Успенского под одноименным названием.

 «Не всегда присвоение почётных наименований проходило гладко. Хорошо, ежели твоя дивизия стала Орловской или, к примеру, Львовской. Приемлемо, если Чугуевской или Глуховской. А как быть с теми войсками, которые с боем взяли город Пропойск?! Они-то не виноваты, что такой (вполне, кстати, приличный) городок оказался на их дороге! Случай сей описан одним из литераторов, если не ошибаюсь – Константином Симоновым. Тогда поступили просто и, на мой взгляд, вполне правильно: населенный пункт срочно переименовали в Славгород. И жителям было приятно, и войска получили наименование не «пропойских», а «славгородских». Хотя шутники посмеивались: еще неизвестно, что точнее, первое или второе».\*\*)

 \*\*)Успенский В.Д. Тайный советник вождя - М., Воениздат, 1991.

 Вот уж бред: «И жителям было приятно…»! Переименование свалилось жителям, как снег на голову именно в мае! Как будто этот самый «тайный советник вождя» лично опрашивал жителей, надо ли переименовывать Пропойск в Славгород. Поистине, маниакальная страсть коммунистов строить свой новый мир на развалинах старого посредством переименований того, к созданию чего они никакого отношения не имели!

 Кстати, Екатерина Вторая, самодержица российская, вскорости после очередного и последнего раздела Речи Посполитой (напомню, так назывался с 1569 года союз – Союзное государство! – Польского королевства и Великого княжества Литовского) посетила, в числе других новоприобретенных Российской империей городов и весей, и город Пропойск, где даже оставила свой, собственноручно вырезанный на коре липы в старинном парке на высоком берегу Сожа, вензель:

 Е II

 Эта весьма просвещённая венценосная особа вряд ли решилась бы на такой пассаж, буде у неё возникла нехорошая ассоциация с Пропойском. Известно, что Екатерина Вторая не любила неблагозвучных топонимов и своими указами искореняла их, то есть переименовывала в более благозвучные. Пропойск же императрице явно понравился.

 В том, что у некоторых со словом «Пропойск» ассоциируется пьянство, убеждает читателей еще один известный советский писатель – Вениамин Каверин. Уже после войны в своем романе «Открытая книга» устами не самого положительного персонажа книги, весьма беспробудно злоупотреблявшего вином и в зиму, и в лето, Каверин дивится «меткости русского языка», давшего имя городу – Пропойск. Означенный персонаж, будучи во время войны уже в солидных годах, прослушав сообщение Совинформбюро: «Северо-западнее Пропойска наши войска, преодолевая сопротивление противника, овладели сильно укреплёнными пунктами его обороны…», впал в экстаз от слова «Пропойск» и пустился в воспоминания о своей службе домработником в поместье у некоего генерал-майора (царского ещё, разумеется), где пили все: сам генерал – «разденется до кальсон, плачет и пьёт»; его начитанный домработник (то бишь, сам означенный персонаж) – «каждое лето ловил чертей»; пожилая, верующая почтенная кухарка – «наливалась с утра как налим»; приезжие землемеры, офицеры из низших – «пьянка поголовная». Вот уж, воистину, и зиму и лето там (но не в Пропойске!) пили беспробудно вино. И причем тут меткость русского (русского ли?) языка по отношению к городу Пропойску, западнее и северо-западнее которого в ноябре-декабре 1943 года шли кровопролитнейшие бои, в которых полегло немало только что призванных в армию молодых ребят из только что освобождённых восточных районов Могилевской области, среди которых был и мой родной дядя по матери Иван Яковлевич Евсеенко.

 Если придется вам подъезжать к Пропойску, то есть к Славгороду, с запада, со стороны Довска, не поленитесь подсчитать, сколько братских могил с типовым памятником – скорбной фигурой солдата с приспущенным над могилой знаменем – расположили уже в послевоенное время вдоль старой варшавской дороги, начиная от деревни Журавичи и до Пропойска.

 А между тем, этимология Пропойска очень древняя и сложная, и его название, по мнению одних историков, связано со словом «пропущать» – пропускать, то есть. Поэтому назывался он на старобелорусском языке Прупой, затем Пропощек, а со временем, как это было с названиями многих городов и даже государств, название города претерпевало естественные изменения вслед за меняющимся, развивающимся языком народа и постепенно Пропощек стал Пропойсеком, а затем и Пропойском. Историки уверяют, что тому есть летописные подтверждения. Верю. Хотя бы потому, что в детстве, когда Пропойск уже стал официально именоваться Славгородом, сплошь и рядом я слышал, как старые люди ещё долго называли его Пропойсек.

 А почему – Пропощек? Да потому что город заложен был на пути «из варяг в греки», да ещё в таком месте, лучше которого на всём этом пути и не сыщешь. Попробуйте найти на карте такое слияние двух рек, как это делают Сож и Проня. Разогнавшись с востока на запад, Сож врезается всем своим руслом в высоченный, даже не берег – утёс – и поворачивает ровно на девяносто градусов на юг. Сколько веков бьётся он об этот утёс, который вовсе даже не каменный, а из осадочных пород, – песчаник послойно с глиной – а на запад продвинулся мало. За те более чем полвека, что на моей памяти, мало что изменилось в облике этого высокого берега. Осыпается, конечно, после каждого весеннего паводка порода, съезжают вниз отдельные деревья знаменитого когда-то парка на замковой горе, но больших успехов в деле продвижения реки на запад не наблюдается. А всё потому, что в вершину прямого угла, образуемого Сожем, с севера на юг врезается река Проня, течение которой и не дает разбушеваться Сожу. Укрощает она его. Это сейчас и Сож и Проня обмелели в результате глобальной ли мелиорации, глобального ли потепления или того и другого вместе, а если представить, что это за реки были в эпоху варягов, если даже после второй мировой войны Сож был судоходен аж до Кричева, а по Проне сплавляли дубовые плоты из-под самого Дрибина – есть такой городок на востоке Беларуси, знаменитый своими шаповалами, – то станет понятно, почему здесь был «город заложён».

 Множество городов закладывалось именно в месте слияния двух рек – готовые пути, как минимум, но Пропойску выпало быть еще и стратегическим постом на пути из варяг в греки. Наверняка здесь взималась мытная пошлина за пропуск судов варяжских и прочих гостей, отчего, надо полагать, город по тем временам был богат и знатен. С развитием морских стратегических путей, как на севере у «варягов», так и на юге у «греков», внутриконтинентальные водные пути пришли в упадок, выполняли лишь функции регионального характера, отчего процветавшие на этих путях города постепенно приходили в упадок до местечкового уровня.

 Ну, это моя версия.

 А почему бы и нет?

 Но вот совершенно невероятная версия происхождения Пропойска.

 Этой версии упорно придерживалась баба Катя, человек замечательный во всех отношениях.

 Баба Катя – наша деревенская соседка. Окно в окно. Многократная кума моей матери, а стало быть, крёстная мать моих старших братьев. Баба Катя была неграмотна, но слыла в деревне «прокурором», так как имела на всё своё мнение, почти никогда не совпадавшее с мнением её собеседника. При этом почти всегда была права. По крайней мере, для себя. Так вот, эта баба Катя говорила: не Пропойск, а Пропольск! Вопросу, почему она так называет Пропойск, баба Катя сильно удивлялась и отвечала вопросом: «А как же его еще называть?» И выходило из её объяснения, что Пропольск был основан «дужа давно», и не кем иным, как доблестными жителями Кремянки, которая уже стояла вот на этих холмах. Взоры аборигенов всё чаще привлекал живописный берег Сожа на западе от Кремянки, поросший бузиной и прочим орешником вперемежку с могучими дубами. И выбрали кремянковские, те, которым не сиделось на одном месте, одно очень удобное место на том берегу и начали пропалывать его от зарослей, а потом и поселились там, назвав свое поселение Пропольск. На недоверчивое: «Баба Катя, откуда ты знаешь про это?» – она отвечала с искренним, само собой разумеющимся: «Так старые ж люди говорили!».

 Ну, чем не версия?

 И никаких тебе Прупоев, Пропощесков: Пропольск – Пропойск! Логично, как всякая святая простота.

 Пропойск был и до революции, и после неё обычным еврейским местечковым городком, множество которых рассыпано было по всей Белой Руси за чертой оседлости Российской империи. И никакого пьянства там не было, хотя вина было в избытке в любой корчме, которые держали те же евреи. Во всяком случае, культура пития того времени не позволяла «зиму и лето пить беспробудно вино».

 Я хорошо помню рассказы своих бабушек, молодость которых пришлась как раз на стык веков, девятнадцатого и двадцатого, про быт и нравы того времени не только в нашей деревне, но и в самом Пропойске. Эти быт и нравы долгое время сохраняли своё влияние на последующие поколения и после революции, вплоть до самой войны, о чём мне поведали уже отец с матерью. Ну, а послевоенное время я и сам уже хорошо помню. Так вот, быт и нравы Пропойска определялись самой что ни на есть простой идеологией: всё – от Бога, и Его заповеди одинаково поддерживались и еврейской, и местной частью населения города, благо всё перемешалось либо мирно сосуществовало в этом маленьком городке: культура, быт, нравы двух народов, отчего сам городок только выигрывал от такого смешения: люди были здесь интереснее, богаче духовно, нравственнее, чем, к примеру, в описываемых Вениамином Кавериным местах российской глубинки.

 С утра здесь не «наливались как налимы», «чертей не ловили» ни летом, ни зимой, «плакать и пить» было некогда: заняты были делом люди в массе своей. Помимо первейшей, пришедшей вместе с ними с Востока, занятости – торговлей, евреи были проворны и в многочисленных ремёслах. Ювелирные, скорняжные, сапожные, швейные, жестянические, паяльно-лудильные, столярные и многие другие мастерские, а также домашнее хозяйство с какими-никакими клочками своей земли не оставляли времени на «ловлю чертей» ни евреям, ни коренному населению Пропойска. Опять же коренные пропойщане многому учились у еврейских ремесленников, равно как и последние перенимали особенности ремёсел коренных жителей, а тесное общение, дружба и взаимное уважение – всё это порождало особую высокую культуру города и его жителей. Взаимная приязнь двух религий выражалась в том, что и евреи и белорусы не чурались поздравлений друг другу и угощений праздничными атрибутами в дни их религиозных праздников, а в массовой части таких праздников, как, например, масленица или ханука, участвовало всё население города. И, конечно, пили вино. Но не беспробудно.

 Не было такой дурной славы за Пропойском, которую ему создали отдельные русские советские писатели, основываясь на своем ли личном опыте, на опыте ли спившихся многих и дореволюционных российских деревень и местечек, и послереволюционных, но только не белорусских. И если уж быть до конца последовательным, в белорусском языке нет слова «пропойца» вообще, и в частности, в значении «пьяница». Так что можно только подивиться той «меткости русского языка», которую продемонстрировали в своих произведениях маститые русские писатели Константин Симонов и Вениамин Каверин. Скажете: на то они и писатели, чтобы иметь право на художественный вымысел. Но в данном случае это не вымысел, а элементарное невежество. Зато – сила печатного слова, или что написано пером, уже не вырубишь.

 Вот такой город на высоком правом берегу реки Сож просматривался в четырех километрах на запад от моей деревни Кремянка с её высоких холмов. Между городом и деревней лежала долина реки, которая, однако ж, не являлась препятствием для смычки города и деревни ещё задолго до того, как это решила сделать коммунистическая власть.

 Для скорых на ногу моих земляков не составляло особого труда преодолеть каких-то четыре километра: хоть по благоухающему разноцветьем заливному лугу, хоть по свежевыпавшему снегу, а то и вовсе даже на лодках по морю разливанному – в любое время года и дня вы могли встретить их в пропойщанских лавках, на пропойщанском базаре, в пропойщанских мастерских и прочих присутственных местах Пропойска. Именно так: пропойщанские, а иногда – пропойскИе, с ударением на последнем слоге, называли наши деревенские всё, что относилось к городу Пропойску и его жителям: ПропойскОй луг, ПропойскАя дорога. Вот бы поинтересоваться такими особенностями названия Пропойска не шибко грамотным в топонимике генералам из Главного Политуправления Красной Армии, прежде чем представлять отличившиеся части Красной Армии к почётным наименованиям за взятие Пропойска, а именно: ПропойскИх!

 А теперь самое интересное.

 Дело в том, что до 23 мая 1945 года Пропойск имел официальный статус не города, а местечка. В официальных документах довоенного времени он именуется как м. Пропойск. В справочнике «Освобождение городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»\*\*\*) также не содержится упоминания об освобождении Пропойска, как не упоминается он и в приказах Верховного Главнокомандующего за 1943-1945 годы по случаю освобождения городов частями Красной Армии. Даже если и представляли генералы Сталину какую-то дивизию на почётное наименование «Пропойской», то Верховный наверняка поинтересовался (а, скорее всего, уже был прекрасно осведомлён), что это за населённый пункт, какое он имел стратегическое значение, каким образом был взят этой дивизией (напомню: немцы оставили местечко под угрозой окружения). Взятие далеко не каждого более крупного города, чем м. Пропойск, отмечалось в приказах Верховного Главнокомандующего. Сталин отличался скупостью в раздаче пряников, хотя щедр был на кнут.

 Не было ни «Пропойской» дивизии, ни, тем более, «Славгородской»!

 Так что сказка – она и есть сказка. И «история» с переименованием Пропойска лишний раз подтверждает, как легко поддаются даже маститые писатели, а уж тем более, лёгкие на перо журналисты, на разного рода красивые сказки, не давая себе труда проверить истинность однажды кем-то написанного. И гоняют они такую «утку» из статьи в статью, из книги в книгу, как мяч на поле футболисты обеих команд, которых устраивает ничья.

 Заканчивая тему вообще переименования любого населенного пункта, хочу задаться вопросом: а по какому праву производится переименование того или иного города, если не мы его основали и не мы дали ему то или иное название, а пращуры наши так порешили, говоря, «здесь будет город заложён», и этот город – это памятник им, известным и безвестным, а также тем, кто на протяжении многих столетий расстраивали и развивали город, делали его неповторимым, уникальным, соответствующим его названию? В мировой истории, кроме советской, пожалуй, не найдешь столько примеров разнузданного переименования большевиками, в особенности в первые годы советской власти, городов и весей в честь самих себя, любимых, по большинству из которых скучали, в лучшем случае, пожизненные нары. И ведь остались многие переименованные названия городов, улиц, площадей в городах с именами главных большевиков: Свердлова, Дзержинского, Ленина, Калинина, а также их предшественников – от декабристов и народовольцев до заурядных политических убийц начала двадцатого века.

 Переименование городов ли, улиц ли, даже сделанное из лучших побуждений и в честь действительно достойных людей или из-за придания новому наименованию ложного благозвучия оскорбляет память тех, кто закладывал эти города, строил эти улицы – всех, кто жил в этих городах и на этих улицах в течение многих лет и столетий, кто в годы войн защищал, а затем и освобождал их и пал смертью храбрых именно за этот город, посёлок, деревню, улицу. И уж совсем не делает чести тем, кто использовал и использует этот приём в политических целях из конъюнктурных соображений. К примеру, нынешний проспект Независимости в городе Минске переименовывался пять раз: три раза в коммуно-советскую эпоху и уже два раза в коротенький пока постсоветский период. Не уверен, что это последнее переименование красивого проспекта. Кстати, загляните в энциклопедический словарь: проспектом называется прямая, широкая улица в городе. Так что назвать проспектом и переименовать извивающуюся, с изменяющейся шириной, бывшую улицу в том же Минске можно только либо в насмешку над здравым смыслом, либо в насмешку над тем, чьим именем переименовали эту улицу, бывшую, опять же, имени партийного секретаря, тоже героя-партизана. Что ж, ленинско-сталинский дух нашей власти живёт и пока что побеждает.

 \*\*\*) Дударенко М.Л., Перечнев Ю.Г. и др. "Освобождение городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г." - М.;Воениздат, 1985.



(На фото она и есть - Кремянка в 1966 году - часть "Рима" и Самодумки. До Чернобыля оставалось 20 лет...)

**Глава вторая**

**ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА**

 Меня всегда занимал вопрос: кто и когда заложил мою деревню. В детстве я расспрашивал об этом своего деда, – по отцу – часто бабушки мои вопросы отсылали к деду, если не могли сами ответить. Дед был ровесником Ленина, вот только пережил его без малого на тридцать лет. За всю свою жизнь он никуда из деревни не отлучался, разве что в Пропойск, что был под боком, в церковь или на базар в ярмарочные дни. Дед Иван всю жизнь работал так, как сегодня мало кто может даже представить себе, потому что в то время, хоть дореволюционное, хоть после, а потом при НЭПе, в коллективизацию до войны и в колхозе после войны, залогом более-менее сносного существования семьи была изнурительная работа на земле – барской с десятой долей в свою пользу, затем недолгое время вроде бы на своей, но с львиной долей результата в пользу государства, а затем и вовсе на колхозной, без малейшей доли в свою пользу. Размышлять деду по поводу моих вопросов было недосуг, тем более что и сам он никогда не задавал себе таких вопросов, но хорошо помнил, какой была деревня в годы его детства и молодости, как она развивалась, где кто жил, как расселялись подраставшие поколения, женившись или выйдя замуж, – всё это держал он в памяти крепко.

 И получалось из его не слишком подробных рассказов, что деревня Кремянка стоит тут, на берегу Сожа, с испокон веку, что по рассказам его дедов, на месте деревни был сосновый бор, а в пойме Сожа шумели многовековые дубравы, и выходит, первые поселенцы увидели здесь первозданный райский уголок, в каковом и начали строить добротные по тем временам дома, корчевать лес, создавать а затем и расширять полядки и ляды – небольшие и поболее поля среди леса, – обустраивать пасеки, подворья, обнесённые деревянными заборами-срубами выше человеческого роста. Уличные фасады домов выходили в палисадники, которые образовывали одну сплошную линию частокола вдоль всей улицы, перед которыми обязательно устраивались лавочки для праздничных и вечерних посиделок. После войны 1941-1945 г.г. в Кремянке каким-то чудом осталось несколько несгоревших подворий, в том числе и моей бабушки. Хоть и поливал немецкий «Фокке-Вульф» зажигательными снарядами деревню, но всё же те дворы, что стояли в глубине от общей, «красной» линии домов, они не достали. Так вот эти старые подворья, а некоторым было и за сто лет, прекрасно сохранили такие заборы: толстые дубовые стояки – шулы – с уложенными в их пазы сосновыми бревнами. Да и ворота во дворы представляли внушительное сооружение из тех же дубовых шул с крышей по верху между ними, защищающей от атмосферных осадков добротно склёпанные створки.

 Название же своё деревня получила из-за огромного количества кремня, коим буквально усеяны поля и все открытые участки земли. Этот минерал – сплав кварца и халцедона – особенно хорошо просматривается ранней весной, когда сойдёт снег: песчаная земля на полях оседает, камни оказываются на поверхности земли обнажёнными, а лучи восходящего солнца, попадая на макушки холмистых полей, отражаются от кремнёвых сколов таким разноцветьем, что кажется, будто горят россыпи бриллиантов. Но продолжается это очень недолго. Просто надо попасть в такой момент восхода солнца и в такую точку, где угол отражения солнечных лучей от множества камней направит их прямо вам в глаз. В другое же время дня в такую весеннюю пору поля кажутся белыми от россыпи кремней и прочих каменных атрибутов последнего ледникового нашествия на эти края.

 Улицы деревни расположились под прямым углом: с юга на север главная улица упиралась прямо в берег Сожа, затем поворачивала на восток вдоль его старицы по возвышенности над долиной реки. В конце её находилось весьма уютное кладбище – этакий островок реликтового леса прямо на высоченном берегу Сожа. Улицы имели неофициальные названия: южная часть главной улицы называлась Рекотка, по названию урочища, бывшего в трёх километрах от деревни. Соответственно, сельчане, жившие в этой части деревни именовались рекотчанами. Центральная часть главной улицы, расположенная на холмах, что ближе к реке, называлась ни больше, ни меньше, как Рим. Удивительного ничего в этом нет. Рим, как и Кремянка, тоже начинался со строительства на холмах, но над рекой Тибр. А если серьёзно, то выражение «быть на риму» (с ударением на «у») означало в Кремянке быть в центре, на виду, на возвышении, обдуваемым всеми ветрами, что опять же, как ни крути, наводит на аналогию с древним Римом. Жители этой части деревни были римлянами (с ударением на «я»). Наконец, та улица, что ушла на восток вдоль реки, получила название Самодумка. Населяли эту улицу бывшие хуторяне, которые, видимо, имели свой взгляд на жизнь и свои невысказываемые мысли, какое-то время не сочетавшиеся с думами коренных римлян и рекотчан, потому и стали самодумцами.

 Я вот всё думаю: ну, ладно, пращуры мои пришли на эту землю, когда она была, скорее всего, еще не «прихватизирована», и лес в том числе. Строили деревню явно по-православному: общая улица, дома стоят не впритык друг другу, соседство не мешает, в то же время и общаться можно, хоть и забором разделены – известно, что хороший сосед тот, что за хорошим забором. Да, леса вокруг было много, поэтому возводили строения солидные: дома, гумна, повети, заборы, частоколы по периметру придворовых огородов – на всё это шло довольно много леса. Но ведь так строили из века в век. Потом-то лес наверняка прибрали к рукам, ну хотя бы после первого подела Речи Посполитой, когда восточные земли её оттяпала Российская империя. Екатерина Вторая не скупилась на раздачу «приобретённых» земель своим фаворитам и прочим приближённым вельможам, и наша Кремянка в числе многих других деревень восточнее её переходила из рук в руки придворных вельмож, пока не оказалась уже во второй половине девятнадцатого века под помещиком князем Кропоткиным. (Могила этого князя находится в деревне Осиновка, в четырнадцати километрах от Кремянки.

 Потомки князя навещают её, привели в порядок изрядно порушенную советскими наследниками крепостных князя). Но лесом наши кремянковцы продолжали пользоваться, как и раньше. Каким образом это им удавалось – не могу сказать, но дома строились, заборы возводились, а в быту использовались такие предметы обихода, что диву даешься: сосновые колоды-ульи диаметром свыше шестидесяти сантиметров и высотой сто двадцать, не менее, выдолбленные непостижимым образом внутри через щель двенадцать на шестьдесят сантиметров; огромных размеров кади, выдолбленные из цельных отрезков стволов ольхи, без обручей, для хранения зерна; всевозможные большие и малые кадки, дежки, корыта, большие и малые ночёвки\*) , шайки, маслобойки, ковши, поделки из бересты, лапти из липового лыка (ох, сколько их надо было на семью!) – всего и не перечесть. А телеги, сани-розвальни и сани-дровни, наконец, лодки, выдолбленные из толстых, но в струнку, осин,– всё это было родом из леса. Короче, лес был главным поставщиком материала для жилища, быта, орудий труда и отдыха. Лес и река – вот что привлекало сюда людей и удерживало их в этой деревне. Вот вам пример. \*)Ночёвки - тонкостенное корыто, сделанное из лиственных пород дерева. Имело многофункциональное назначение, в том числе служило младенцу в первые дни его жизни колыбелькой, то есть всего лишь переночевать (отсюда и ночёвки)новорожденному, пока ему сделают настоящую колыбель-люльку.

 После того, как горячо любимая народом партия и родное советское правительство разрешили выдавать паспорта колхозникам, несколько наших сорокалетних мужиков воспылали охотой к перемене мест. Было это в начале шестидесятых годов двадцатого века. К этому времени в деревню уже провели не только проводное радио, но и электричество, что немало поспособствовало резкому повышению и без того высокого интеллекта кремянковских аборигенов. Впрочем, радио, и электричество были хорошо знакомы практически всему трудоспособному люду деревни: Пропойск-то – рядом. Мало того, что посещения Пропойска были, по меньшей мере, еженедельными, так ведь многие и работали в Пропойске. Город-то надо было восстанавливать после войны? Да и цехам райпромкомбината работники требовались смышлёные. Так что и электричество, хоть и местного, маломощного пропойщанского производства, а уж тем более радио, были хорошо знакомы нашим людям.

 Радио – в особенности. Дело в том, что роза ветров (это так говорят умные в этом деле люди) в нашей местности была преимущественно юго-западная весной и летом, и северо-западная – осенью и зимой. То есть и так, и этак дули ветры в сторону Кремянки почти что с запада. А в Пропойске, в самом центре, над старой базарной площадью столб поставили с громкоговорителем-колокольчиком, который вещал громовыми левитановскими раскатами с семи утра и до двенадцати ночи каждый Божий день. Юрию Левитану вторил Илья Курган из Минска, а между их державными голосами разливались голоса хора Пятницкого и белорусского народного хора Рыгора Шырмы, а также соловьиные голоса Сергея Лемешева и Ивана Козловского, заливные голоса Марии Мордасовой и Лидии Руслановой и многих других певцов и певиц с голосами, которых нынче уже не услышать.

 Сейчас в это трудно поверить, но наши люди, особенно женская половина, знали имена обладателей выдающихся голосов, потому как очень любили слушать их пение. И все эти голоса доносились из пропойщанского колокольчика, да так хорошо, что вполне можно было разобрать, о чём сообщали Левитан и Курган (свои люди для кремянковских, а Левитан к тому же и родом из города Чаусы, что всего в каких-то сорока километрах от Кремянки), а уж песни в исполнении упомянутых мастеров и вовсе ложились на душу, да так, что брали за неё крепко и навсегда. А когда радио провели в деревню, жить стало не то чтобы лучше, но намного веселей, а интеллект моих земляков возрос до таких высот, что любой мог прочесть лекцию о международном положении, не задумываясь. А мужикам, у которых семилетка на лбу, если и не горела вызывающе, а даже если слегка прорисовывалась, усиленная армейскими университетами, радио поставляло информацию прикладного свойства, которую они часто использовали на практике.

 Так вот, когда Никита Хрущёв задушил колхозы кукурузой, превратив ее, по сути, в монокультуру, жить стало в деревне тоскливо. Картофельные поля резко сократились, соответственно, картошки у колхозников стало меньше, да еще «наш Никита Сергеевич» подсократил и приусадебные участки колхозников, и количество скота ограничил в личных подворьях. А по радио и Юрий Левитан, и Илья Курган со товарищи бодро уверяли радиослушателей о том, как процветает наше сельское хозяйство, особенно в отдельно взятых районах, например, на Кубани, но вот только не хватает там рабочих рук, а то, вообще, было бы завались продуктами. Ну и призывали переселяться на просторы Кубани тех, кому вроде бы делать было нечего в родных колхозах из-за якобы сильно механизированного и автоматизированного труда в них. Вот трое наших механизаторов и рванули на Кубань. Я уже тут намекал, что народ в нашей деревне смышлёный. Поэтому семьями не поехали, как призывал Илья Курган. Поехали сначала втроём, в разведку.

 Поработали там сезон в соответствии с песней из кинофильма «Трактористы»: «…уберём, и посеем, и вспашем…». Только наши смышлёные сначала вспахали, затем посеяли, а когда убрали, то быстренько прискакали домой, даже не захватив с собой полагавшуюся им натуроплатой пшеницу, так как её обещали им прислать вслед по железной дороге малой скоростью. Но поезда не то, что до нашей деревни – до Пропойска даже не доходят ближе, чем на 56 километров. И как прикажете передобычить заработанное зерно в свои личные закрома?

 Даже если вам и пообещали малой скоростью, то на доставку каждому по полторы тонны кубанской пшеницы твердых сортов специальный вагон-зерновоз, что ли, затаривать? Щас! На советских железных дорогах и без того напряжёнка с подвижным составом! Вот будет оказия с Кубани на станцию Кричев (те самые 56 километров от Пропойска) – пришлём вам зерно, ждите. Хотите деньгами? – так ведь сейчас нету. Вот сдадим зерно государству, получим деньги, тогда и пришлём. Хорошо, хоть на дорогу дали. Долго тянулся потом расчёт за ударный труд на Кубани. Пшеницы, кажется, так и не дождались наши ушлые механизаторы.

 Да и денег на блюдечке с голубой каёмочкой сразу никто им так и не преподнёс. Так, частями, постепенно. Но дело не в этом. Когда приехали честные работяги домой, заявили: «Не-е-е-е, это не жизнь: одна степь кругом, да пшеница. Ни леса, ни Сожа тебе!». Вот так: не просто реки – именно Сожа! То есть другой реки, даже если это будет красавица-Волга, или там Кубань какая, нам не надо.

 Точно так же естественно вписывался в жизнь деревни и её обитателей лес. А, может, люди естественно встраивались в жизнь леса, полей, лугов, кустарников, да того же болота, что сразу же у подножья одного из холмов, на которых стояла деревня. При этом не нарушалось равновесие в окружающей деревню природе: хватало и людям, и природа не скудела. И это притом, что больших препятствий против «хищнической эксплуатации», чинимых, к примеру, владельцами леса, для наших аборигенов не существовало. Всё, что необходимо было настоящему хозяину в домашнем хозяйстве, доставлялось из леса, луга, болота и прочих угодий исключительно своим трудом и смекалкой. На моей памяти народ деревенский обращался в лесничество за выпиской только строевого леса на постройку дома или добротного сарая. Вся остальная древесная «мелочь» как-то сама собой оказывалась там, где ей надо было быть у хорошего хозяина.

 Думаю, что так было не только при советской власти. Иначе, откуда бы взяться таким изделиям и постройкам из дерева, о которых я уже здесь рассказывал. Многие деревенские мужики занимались охотой: тех же рябчиков, глухарей, куропаток, не говоря уже о зайцах, можно было наловить в силки прямо за деревней в перелеске, именуемом Забражье (почему такая топонимия – чуть позже). Позже, в начале двадцатого века, появились в деревне и ружья. И все равно: хватало и дичи, и прочих там зайцев. А ежели лису, да и не одну, удалось добыть, то милости просим в Пропойск к тамошнему еврею-скорняку!

 Рыбы в Соже, в многочисленных озерцах, в старицах была пропасть! И никакого тебе рыбнадзора! То есть были, конечно, егеря и в царское время. Но как-то редко они появлялись на людях кремянковских. Опять же, если появлялись, то встречали всякое должное уважение и почёт со стороны местных. И никто в обиде не был. А главное – природа.

 Сети и лодки к ним были, почитай, у каждого второго двора. Кто подальше от реки жил – ну, тому несподручно было иметь сети, таскать всю эту рыбью амуницию далековато, но некоторые таскали. А вот кто у самой реки – да, для него сеть – вещь очень даже необходимая. Как минимум, два раза в день, до ледостава, использовалась она по своему прямому назначению. Утром, с восходом солнца, хозяин сети уже был с ней в лодке. Далеко грести не надо было. Река изобиловала старицами. Вы только посмотрите, при случае, на карту-километровку – какие кренделя выделывает Сож!

 На протяжении тысячелетий он так «уделал» ландшафт своими старицами-рукавами, что иногда трудно понять, в какую же сторону течёт река. На расстоянии меньше полкилометра – два русла: по одному вода течёт на север, по второму – на юг. Тут же отходят рукава на запад и восток, но вода в них спокойная, условно стоячая. Это старицы. Вот в них-то и бросали сети. Много не бросали – два-три раза. На семейный завтрак рыбы – как раз. Так же и вечером, на ужин. А остальное светлое время суток трудились мужики и бабы кто в лесу, кто в поле, кто на огороде, кто на лугу – семьи были большие, заготовить за лето на зиму много чего надо было.

 А рыба была в Соже знатная! Самая мелкая – уклейка. Самая большая – сом. Между ними – безличь всякой пресноводной рыбы. Я как-то попытался составить список тех рыб, что приходилось ловить самому удочкой или видеть, что другие ловят, получилось что-то около двадцати видов! Попадалась даже стерлядь! Её много было в Соже до постройки Днепрогэса. Про стерлядь мне рассказывала мать: её отец, мой дед, ловил до войны эту рыбу часто.

И что характерно, всякой рыбы было много. Во второй половине сороковых годов случались очень засушливые лета. Сож тогда был судоходный аж до Кричева, но в такие лета местами мелел на песчаных перекатах. И тогда из Верхнеднепровского пароходства, что в Гомеле, приплывали на специальном судне подрывники и взрывами углубляли эти места. Хорошо помню высоченные столбы из воды и песка, поднимавшиеся над рекой, и настоящую канонаду, от которой погибало всё живое в воде. Мы, дети, прятались ниже по течению реки в кустах, и как только стихала серия взрывов, высматривали плывущую вверх брюхом рыбу, и тут же бросались в воду и вытаскивали рыбу на берег. За день удавалось наловить приличное количество крупных рыб. Мелочь не брали.

 Кто придумал такой варварский способ углубления дна – мне неизвестно. К тому же он был очень неэффективный. Буквально через два-три дня река намывала ниже того места, которое взрывали, новый песчаный нанос и взрывы гремели по-новой. Но всё равно рыба упорно появлялась в реке. Скорее всего, она уходила в многочисленные старицы или выше по реке, куда звуковые волны доходили ослабленными.

 Зимой же рыбу ловили в многочисленных озерах на лугу за Сожем: ставили в проруби ловушки-чернильницы, закрывали их сеном, чтоб не замерзла прорубь, а утром и вечером навещали, забирали улов. Шли в ловушки вьюны, лини, караси – красота!

 Вот и скажите теперь: можно ли было не любить это благословенное место, пусть со скудной, песчано-кремнистой землёй, которой уделяли огромное количество времени и сил человеческих, чтобы вырастить на ней какой-никакой урожай, но зато здесь всегда можно было найти отдохновение в иных трудах, связанных с водой и лесом. Я говорю: «отдохновение», потому что эти труды были в радость. Если на земле, то есть в поле, в радость было жниво, уборка урожая, в общем, потому что ты видел результат того изнурительного труда, начиная с весны, то труды в лесу или на реке были в радость всегда, ибо позволяли насладиться результатами трудов здесь и сейчас, будь то сбор грибов или ловля рыбы. Да и сенокос на заливных лугах был праздником. Этот праздник был всегда с нами. Как только старики по известным им признакам определяли, что луг созрел, это сразу же становилось известно всем, и тогда вечером по всей деревне раздавался перестук железа: отбивали косы. Назавтра, ещё до восхода солнца, направлялась сдержанная процессия мужиков в белых льняных рубахах и таких же белых, но посконных штанах, с косами на плечах и с белыми же полотняными торбочками в руках со снедью к берегу Сожа. Переправлялись на лодках на правый берег реки, где за прибрежной полосой кустов красной лозы начинался луг.

 На следующий день, где-то к обеду, как-то сразу, возникало куда более пёстрое, но с преобладанием белого, опять же, льняного, женское движение туда же, на луг, с граблями и вилами, песнями и смехом, визгом на переправе. На четвертый день, если позволяла погода, более полусотни гектаров луга уже стояло в аккуратных стогах. Такая традиция передавалась из поколения в поколение и не исчезла даже в колхозные времена, может, даже наоборот, приняла более оживлённые формы. Развивалась, можно сказать, в условиях сплошной коллективизации.

 Ну, а в лесу поработать – так это ж благодать. Лес, он усмиряет, нет, умиротворяет человека. Пусть и труд тяжёлый: попробуй-ка хоть бы и дрова заготовить, потом вывезти – мало не покажется, а все равно, работается легко. Лес здоровит человека. Силу даёт. Потом, правда, уже дома, вечером ни ног, ни рук не чувствуешь – валишься, как сноп под порывом ветра. Но и отдохнешь зато. Видно, была какая-то особенность, положительная, должно быть, энергетика в тех местах, на холмах, где стояла деревня, в расположении её относительно сторон света: с севера от реки – на юг, и вдоль неё же – с запада на восток.

 Восход ли, заход ли – всё одинаково хорошо видно: и как поднимается огромный малиновый шар из-за кромки горизонта, означенной зазубринами темной линии далекого леса на востоке, и как опускается перегревшийся за день багрово-красный шар за едва очерченную мутную, дрожащую линию края земли где-то далеко за Пропойском. Оба эти явления можно было наблюдать со двора моего дома из одной и той же точки. Точно так же хорошо отсюда просматривался Сож с востока на запад со всеми его извилинами до самого Пропойска-Славгорода, заливной луг с купами лозняка, огромный выгон для скота с небольшим болотцем, поросшим ольховником, обвитым хмелем, и кустами дикой смородины, – у подножья холмов, на которых расположилась деревня.

 Все, кто впервые попадал в нашу деревню, отмечали её необычное расположение и то особое настроение, которое охватывало нового человека от вида на окрестности деревни. Наверно, это оттого что вся она на виду, на холмах, открытая людям и космосу.

**Глава третья**

**МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ**

 Деревня называется – Кремянка. И жители должны называться – кремянковцы. Или – кременчане. Как пропойщане, о которых ранее уже шла речь. Это если по науке. Но исторически сложилось почему-то название – кремянцы. Почему – тут голову ломать не стоит: так короче и ёмче.

 Но в самой Кремянке люди также разделялись по своим особенностям, которые частично можно объяснить местом их расселения: Рим, Рекотка, Самодумка.

 Это чисто географическое расселение наложило свой отпечаток и на характеры людей. Возможно, здесь играли свою подспудную роль геологические особенности местности, но и рекотчане, и римляне, и самодумцы были со своими характерами и своей философией, иногда вступавшими в разной степени конфликты, которые, как правило, заканчивались улучшением общих принципов жизнеустройства в этой деревне. Но всё-таки некая клановость сохранялась. По мере разрастания деревни кланы, правда, территориально перемешивались, но духовно были связаны между собой, что опять же, улучшало этику взаимоотношений между людьми.

 Этнически наши люди, на мой взгляд, не были потомками радимичей, издревле заселявших берега реки Сож. Они были пришлыми людьми откуда-то с северо-запада, ведомые своим «Данко», и этим «Данко» был мой пращур – так, по крайней мере, я слышал в детстве от старых людей в своей деревне, так рассказывали моей младшей сестре в пору её учительства в деревне, в 25 километрах северо-западнее Кремянки, где проживали семьи выходцев из Кремянки: кто-то когда-то перебрался туда то ли по женитьбе, то ли вышла замуж в эту деревню. Подтверждением тому, что жители Кремянки не были потомками радимичей, было то, что по всей округе о них шла слава как о «не таких, как все», людях. Это отмечали и приезжавшие к нам люди из самых отдалённых деревень Пропойского района на заготовку леса и жившие подолгу на постое у наших сельчан. Наконец, незлобивое восклицание в сердцах в чей-либо адрес: «Ах, чтоб тебя радимец взял!» или в увещевание ребёнку: «Спи, а то радимец придёт, заберёт!» – всё это говорит о том, что общего с радимичами у кремянцев вряд ли что было. (Да и вообще, пора бы историкам разобраться, кто такие белорусы как этнос, где их корни, а то сегодня отдельные «историки» с пеной у рта твердят, что «белорусы и русские – один народ», правда, соглашаются, что белорусы моложе русских. Вопрос, конечно, интересный. Только где взять настоящих историков?).

 Понятно, что образ населённого пункта создают живущие в нём люди. Будь то город, советский рабочий посёлок, мещанское еврейское местечко или сугубо крестьянская деревня. Но есть и обратная связь: название местности, населённого пункта – топонимика, по-учёному говоря, – аналогичным образом оказывают влияние на людей, живущих в этой местности или конкретном населенном пункте. То есть тут такая взаимосвязь, что разбираться в ней лучше всего в какой-нибудь солидной диссертации. Да и навряд, что в одной.

 Вообще, с топонимикой наш кремянковский народ очень дружил. В окрестностях деревни не было ни одного сколько-нибудь заметного уголка, которое не имело бы своего названия. При этом оно было ёмким, запоминающимся, отражающим суть или особенность леса, поля, озера, луга – всего того, что служило кремянцам, составляло их среду обитания. Кремянковская топонимика совершенно уникальна, как по количеству названий, так и по их звучанию. Попробуйте найти ещё где-нибудь, ну, хотя бы вот такие топонимы: «Забражье», «Петрусихина прорва», «Продерейка», «Хрылы» – их очень много, пусть лучше ими занимаются учёные-филологи. Вот где было бы им работы!

 Так же уникальна и кремянковская система кличек

 Поводы присвоения человеку псевдонима были самые различные: здесь и чисто внешнее сходство с известными людьми, черты характера, сказанное когда-то характерное выражение, да просто случайно произнесённое слово – всего и не перечесть – ложились в основу клички. Многие клички требуют специальной расшифровки, так как ни в одном словаре хоть живого русского языка, хоть уже не столь живого, белорусского, вы не найдёте таких слов. Тут нужен, как минимум, Михаил Задорнов. Юмора хватило бы ему не на один концерт.

 Вообразите себе: в деревне примерно сто тридцать – это в моё деревенское время – дворов. А фамилий в деревне всего шестнадцать. Ну, может, двадцать: приезжие мужики после войны завезли ещё немного. Ну, и как вы будете ориентироваться в народонаселении деревни – по фамилии-имени-отчеству? Это долго, неудобно, да вы просто не сможете найти нужного вам человека, потому что с таким ФИО может проживать несколько человек, а нужного вам могут и не вспомнить.

 Другое дело – кличка! Она враз попадает на нужную вам личность, хотя полное её ФИО могут и не знать, но аутентичность личности в таком случае гарантирована.

 Категории кличек были разнообразны, и в какую попадал будущий носитель её – зависело от многих причин самого разнообразного свойства. Например, клички, происходившие от имён собственных: уменьшительно-ласкательные (Антончик, Гришечка, Насточка); от искажённых отчеств (Лисе;енок, Прокопёнок) либо имён далёких предков (Восырь – от Виссарион); от имён других людей (Шай – от Шая, Сорка – от Сарки или Сары, Лэйка – от Леи) – обладатели последних получили их от конкретных пропойских жителей, на которых чем-то были похожи. Или клички, учитывающие физические особенности носителя «кликухи» (Левшик, Кривой); отображающие свойства характера или натуры, как правило, не самые хорошие, поэтому примеры опустим; подчёркивающие внешние проявления особенностей характера (Миг, Шагень); определяющие отношение к религии (Бог, Ката(о)лик, Штунда). Эти примеры – лишь небольшая часть кличек кремянцев. Но самые потрясающие «кликухи» были вот какие: Ленин, Плеханов, Керенский, Урицкий, Милюков, Духонин. Кто такие Ленин, Плеханов, Керенский должно быть хорошо известно. Урицкий был председателем Петроградской ЧК после октябрьского переворота, Милюков – министр иностранных дел Временного правительства Керенского, а Духонин – генерал, последний Верховный главнокомандующий русской армии, растерзанный в Могилёве в ноябре 1917 года пьяными «революционными» матросами. Вот такая компания. По каким признакам присудили кремянцы эти клички своим односельчанам можно только догадываться. Тут сыграли свою роль и внешнее сходство, и, возможно, подобие в некоторых чертах характера.

 То, что характер моих земляков – кремень, отмечали все, кто, так или иначе, сталкивался с ними. В зависимости от ситуации, в которую попадали кремянцы, их поведение определялось такими постулатами: «не зная броду, не суйся в воду», «взялся за гуж, не говори, что не дюж» и, пожалуй, главным: «сам не плошай и товарища не подводи». Это, так сказать, основные жизненные принципы моих земляков, доставшиеся им в наследство от ещё великокняжеского прошлого. Но совершенно не чужды им были и такие: «дают – бери, бьют – удирай» или даже: «хорошо то, что плохо лежит». Последнее, правда, – это продукт уже советской эпохи и относилось в основном к колхозному добру, которое в изобилии (относительном, конечно) плохо лежало на полях, лугах, фермах и колхозных дворах. При этом свои дома и подворья редко кто запирал на замок: посошок, прислоненный к двери или воротам, означал, что дома или во дворе никого нет.

 Вдобавок к таким замечательным свойствам кремянцы никогда и ни при каких обстоятельствах не лезли за словом в карман: всегда острое, оно отбивало охоту у оппонентов спорить с ними. Но послушать умного человека кремянцы были горазды. Опять же, это наследие прошлого.

 Наши молодые деревенские парни призывались на военную службу чаще всего во флот еще при царе. Особенно при последнем, Николае Втором. Корабли ко времени царствования будущего страстотерпца, убиенного большевиками, становились всё громаднее и числом поболее. Стало быть, народу, то есть матросов, требовалось много. Хотя бы на тот же Балтийский флот. Это сейчас дважды Краснознамённый Балтийский флот не имеет ровным счетом никакого стратегического значения для защиты морских рубежей э-э-э-э…бывшей Советской Родины. А с тех пор, как Пётр Первый вознамерился с берегов Невы грозить шведам, российский, а затем и советский Балтийский флот был оплотом мира и стабильности в Европе. Ну, правда, не совсем таким оплотом мира и стабильности, каковым сегодня в Европе является наша родная Беларусь. Всё же, как ни грозили русские всяким там прочим шведам, те лезли на рожон, случалось, что и по двадцати лет с гаком воевали друг с другом. Но устав воевать, шведы замирились с Россией аж по сей день, но флот Балтийский продолжал оставаться главным сдерживающим средством супротив потенциальных европейских агрессоров на северо-западе России. А когда капитализм дошёл до своей высшей стадии – империализма, то Европу в начале ХХ века стали раздирать такие противоречия, что стало ясно: войны не избежать. (Ясно, правда, стало уже после того, как первая мировая война началась). Вот тогда, в конце девятнадцатого–начале двадцатого века и пошли наши кремянские парни служить царю и отечеству на Балтийском флоте.

 Флот – это тебе не армия. В армии ты просто человек с ружьём. Ну, конечно, владеть этим самым ружьём тебя научат. Если не замуштруют к началу боевых действий, ежели таковые, не дай Бог, сподобятся. На флоте (именно так говорят моряки: на флоте!) же, если ты даже просто матрос, обязанностей у тебя куда больше, чем просто знать своё ружьё. Ты ведь на корабле, и обязан знать его, как дом родной. А попробуй, изучи этот дом от клотика до киля – голова кругом пойдёт от одних только названий. Тут образование нужно. Хотя бы те же четыре класса церковно-приходской школы. А школа в нашей деревне во второй половине ХIХ века уже была. Еще раньше, до открытия школы в Кремянке, нашенские вундеркинды могли посещать пропойщанские школы, коих уже в 1881 году было: 6 церковно-приходских, 33 школы грамоты, народное училище, да (вы не поверите!) институт благородных девиц. Напомню, каких-то четыре километра от деревни до школы для нашенских расстоянием не было.

 Конечно, Кремянка не поставляла императорскому флоту целые флотские экипажи. Но через жёсткий отбор во флот попадали отдельные счастливчики. Хотя, как сказать: служить во флоте в те времена для окончивших курс народных училищ полагалось 6 лет, в армии – 4 года. Тем не менее, служить во флоте в начале двадцатого века было так же престижно, как и в его середине.

 Возвращались со службы во флоте и в армии домой (некоторые и не возвращались: оставались либо во флоте, как двоюродный брат моего деда Ивана – Емельян, либо пополняли рабочий класс Петербурга – таких было больше) уже многое повидавшие и многому научившиеся молодые мужчины двадцати семи – двадцати пяти лет (в армию и во флот брали тогда с двадцати одного года) и если оставались в деревне, то это была наша деревенская элита, которая формировала уровень общественного сознания жителей деревни. Ну и, конечно, плюс к этому – близость к замечательному Пропойску. А слушать и мотать на ус – для кремянцев было обычным делом. Понятно теперь, почему мои земляки были такими смышлёными, начиная ещё с тех далеких времен. Вот только послереволюционная действительность начала формировать совсем иные взгляды на жизнь, и это не могло не коснуться подрастающего поколения кремянцев. Старики же, как и все дореволюционные поколения, продолжали оставаться носителями общечеловеческой морали, дефицит которой рос пропорционально успехам советского народа в строительстве коммунизма.

 Как тут не вспомнить мудрых кремянковских стариков первой половины пятидесятых годов прошлого (двадцатого) века. Почти все они прошли службу на императорском флоте или в той же царской армии. Многое можно было тогда услышать от них, да вот же, слушать их истории, казавшиеся нам, пацанам, древними, было вовсе не интересно. Слишком свежа была в памяти недавно закончившаяся война. И о ней тоже было кому рассказать. Жалею, что не смог пообщаться с одним из интереснейших наших стариков – Иваном Прокоповичем Ходуновым, участником Русско-японской и Первой мировой войн. Вот кому было что рассказать! Помню, моя мать всё говорила мне: ты порасспрашивал бы деда Прокопёнка (так его кликали в деревне), он много чего знает! Но не довелось. Хотя иногда, случайно, мимоходом, и приходилось слышать из его уст фразы, привлекавшие внимание какой-то логикой ли, смыслом ли, но заставлявшие удивляться: как интересно дед говорит. Но это было, повторяю, мимоходом. В пятнадцать-шестнадцать лет всё больше хочется общаться с такими же, как ты сам. До стариков ли. А их доставало в моей деревне.

 Высокая мораль и такие же нравы в одночасье не возникают. Высоконравственное общество, свято соблюдающее общечеловеческую мораль, формируется многими поколениями. При этом должна быть объединяющая общество основа для формирования такой морали. Опыт наших предков подсказывает, что такой основой для них были христианские заповеди. Тот же опыт убеждает, по крайней мере, меня, что для создания высоконравственного общества потребуется жизнь не менее двенадцати поколений (колен), то есть триста лет, если взять за одно колено двадцать пять лет. Не верится? А вы попробуйте проанализировать историю последних двух тысячелетий. Вы найдёте, что, по крайней мере, в Европе, в среднем, каждые триста лет существенно менялись общественные формации или общественные настроения, так или иначе связанные со сменой морали. Заметите и то, что эти смены опять же были так или иначе связаны с отношением общества к христианству. Последний пример тому – октябрьский большевицкий переворот и его последствия, хорошо известные каждому здравомыслящему человеку.

 Но в нашей деревне не было никогда церкви.

 Парадокс?

 Нет. Прагматичность.

 Зачем тратиться на сооружение церкви, если под боком, в Пропойске, еще в начале 18 века действовали две церкви, а в 1793 году была построена еще и церковь Рождества Богородицы, которая и поныне украшает город Пропойск. Вот в соседней деревне, что в семи километрах восточнее Кремянки, церковь была. Но наши туда не ходили. Зато дразнили соседей церковниками. Но это уже после революции. А до этого антихристова события кремянцы регулярно посещали храм Рождества Богородицы в Пропойске по воскресеньям и, естественно, по большим православным праздникам.

 Оказывало ли влияние на наших жителей посещение церкви?

 Безусловно.

 Походы в церковь были праздничным действом. Это тебе не просто заглянуть в церквушку, что рядом с домом, как в той же Старинке. Нет, это был поистине праздничный ритуал. Надевались лучшие одежды. Летом непременно обувались в сапоги или ботинки, если учесть, что в эту пору года почти все ходили босиком или в лаптях, если в лес, к примеру. А тут ведь в город народ направляется, в храм. Подрастающее поколение тоже не забывали, начиная с крещения младенцев и последующих причащений по большим праздникам. Разумеется, все праздники свято соблюдались, так же, как соблюдались и все посты. Так формировались и передавались из поколения в поколение общность и непреложность жизненных правил, и создавалась нравственная платформа, на которой покоилось сознание кремянцев.

 Закрытие церквей после 1917 года не изменило сознание кремянцев. Слишком прочной была основа их сознания. Да, вековой жизненный уклад их был нарушен, но слишком далеки были от них революционные идеалы, непонятные и поэтому не принимаемые. Да, мои земляки были в курсе революционных событий. Шла мировая война, случилась Февральская революция и отречение от престола царя, Миколки, как звали государя у нас. Затем произошел октябрьский переворот. Все эти события довольно быстро становились известными моей деревне. Ещё бы: ставка Верховного главнокомандующего российской армией была всего в какой-то полусотне километров от Пропойска.

 Учась еще в начальной школе, я уже знал про события не только 25 октября 1917 года, но и 9 января 1905 года. Универсальным источником знаний был тогда отрывной календарь. Так вот, листок с 22 января в конце сороковых – начале пятидесятых был помечен тогда красным цветом как «День памяти В.И.Ленина и 9 января 1905 года». У меня никак не укладывалось в голове это 9 января, да еще и 1905 года. День памяти Ленина – это было понятно даже мне, третьекласснику. В то время накануне этого дня собиралось торжественное заседание в Большом театре Союза ССР и верные ленинцы, торжествуя, отмечали очередную годовщину смерти своего вождя докладом о том, как под знаменем великого товарища Ленина ведет советский народ к победе коммунизма еще более великий товарищ Сталин. После бурных аплодисментов, завершавших призыв «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперёд, к победе коммунизма!» и переходивших в овацию в честь великого… нет, не Ленина, а величайшего Сталина, начинался большой концерт мастеров искусств. Мы об этом узнавали из газет, приходивших к нам на день позже, чем, например, в Минске, но все равно, вовремя. А газеты я уже тогда читал. И как-то вычитал я в них о событиях 9 января 1905 года в Петербурге – расстреле мирной демонстрации рабочих, направлявшихся с челобитной царю на Дворцовую площадь, а он, царь то есть, был гад и рабочих ненавидел, потому велел солдатам стрелять в них. За это царя прозвали кровавым, как и то воскресенье, в которое всё это произошло. Вот коммунисты и совместили смерть Ленина и расстрел рабочих в один день – 22 января, потому что 9 января 1905 года по новому стилю попало как раз на 22 января. Ленин, правда, умер 21 января, но коммунистам лучше было, чтоб 22-го. Чтоб уж одним махом отпраздновать два такие знаменательные события. И, поди, пойми: то ли они радовались, то ли скорбели.

 Так вот, несмотря на такие нехорошие царские дела и совершенно замечательные дела коммунистов, память о царе Миколке у кремянковского народа была доброй. Мне приходилось слышать от наших людей уважительное «царь Миколка» даже в середине пятидесятых годов. Мне думается, что это была неосознанная ностальгия по тому прошлому жизненному укладу, разрушенному революцией, вызванная неприятием нового колхозного строя, душившего крестьян так, как не душил их «кровавый» царь.

 Отношение к советской власти у кремянцев было сложное. Они не приняли её безоговорочно, как об этом писали раньше в романах о советской деревне.

 Коллективизация в деревне также не вызвала энтузиазма у наших сельчан. Стоит, правда, заметить, что она не была в нашей деревне жесткой. Раскулачивать никого не стали, потому как явных кулаков в деревне не было по той причине, что экономическая жизнь кремянцев определялась равными возможностями, коллективистским духом, осознанным достоинством, а также теми постулатами, о которых я упомянул в самом начале этой главы. Да, конечно, некоторая разница в доходах на душу в личных хозяйствах была. Но зависела она от соотношения трудоспособных членов семьи и иждивенцев. Это соотношение почти никогда не превышало некое критическое значение, при котором семья оказывалась за порогом бедности, а если кому и грозила такая беда, то в деревне были родственники, соседи, которые не оставили бы такую семью в беде.

 Взаимовыручка ещё долго после революции и в колхозе была отличительной чертой кремянцев. Но вот что интересно: коллективистский дух и коллективное хозяйство, то есть колхоз, – это были совершенно разные ипостаси в сознании кремянцев. Колхоз они не любили. Любить его было не за что. До войны, правда, платили за трудодни натурпродуктами, то есть зерном, картофелем, – в зависимости от урожая на кремнистых колхозных землях. А вот после войны затянула советская власть такую экономическую удавку на шее колхозов, а заодно и подсобных хозяйств колхозников, что ощущали её все уже чисто физически. Никакой платы за трудодни колхозники уже не получали. Более того, налоги отбирали у них значительную часть выращенного и откормленного в личных хозяйствах. Два раза в год, весной и осенью, армия налоговых исполнителей отправлялась по районным весям переписывать хозяйства колхозников.

 Переписывали всю живность в подворьях, засеянные или убранные приусадебные «сотки», и по данным переписи устанавливали налоги на личные хозяйства. Внушительный налоговый список – типовая форма – обязательно включал в себя: зерно, картофель, мясо (если была живность сверх одной коровы или сверх одной свиньи), молоко, свиную шкуру (если в хозяйстве был хотя бы один кабанчик), шерсть (при наличии овец), яйца (ну, в каком же дворе не было кур?). Кроме того, присутствовал еще и денежный налог в виде так называемого самообложения и обязательная страховка. Эти деньги мало кто платил, как мало кто выплачивал полностью натуральные налоги. Из года в год переходили недоимки, их включали в текущие налоги, и выплатить всё возраставшее количество продуктов и денег было невозможно для подавляющего числа кремянцев.

 Случалось, появлялись в деревне налоговые исполнители в сопровождении участкового милиционера и пытались вывести с чьего-либо двора кабанчика, а то даже и последнюю корову. Происходило это, как правило, летним вечером (зимой не больно охота по бездорожью и морозам), когда скотинка возвращалась с паши во дворы, – вот тут-то её и подкарауливали исполнители. Ловко заарканивали кабанчика или рогатую скотину и волокли со двора, еще гуще багровея от натуги, – эти добрые молодцы успевали ещё до такой акции «строго предупредить» кое-кого из злостных налогонеплательщиков, взамен подкрепившись доброй порцией самогона под яичницу с салом, потому выглядели всегда багрово.

 Но живность, а также всё народонаселение двора поднимали такой отчаянный визг и рёв, что сбегались на это действо другие, соседские, коровы и свиньи, а также их хозяйки и дети хозяек и всё живое ревело, визжало, орало, вопило, кудахтало и голосило так, что багровые хлопцы бросали несчастную скотинку и быстренько укатывали на своем возке, который неподалеку поджидал их с привязанной к изгороди лошадкой.

 И так каждый раз, когда случались подобные акции.

 Мне кажется, что делалось это для отчета: вот, дескать, провели изъятие живности в счёт уплаты налогов, да народ не дал до конца исполнить долг ответственным исполнителям. А мы тоже, дескать, не железные, не могём видеть и слышать детских слёз и плача солдаток, сами попробуйте!

 Районное начальство тоже были люди. Как они уже выкручивались перед вышестоящим областным начальством, можно было только догадываться, да и то спустя много лет. Приписки в отчетах о выполнении показателей были обычным делом на всех уровнях властных структур. Иначе бы не выжить не только колхозникам, но и тем, кто ими правил. В том, что это было правилом, меня убеждают рассказы моих родителей о временах, когда правили кровавый бал Ягоды, Ежовы и их подручные.

 В наших краях, точнее, в деревнях Старинковского сельского совета, в те лихие времена, когда шёл активный поиск врагов народа, таковых почти что не находили. Конечно, разнарядка была. Но ведь главным оружием против врагов народа тогда был донос. Это оружие действовало безотказно не только против сомневавшихся в советской власти, пусть даже и наедине с другом, но и против самых что ни на есть заклятых её апологетов, вплоть до настоящих героев, а то и дважды настоящих героев одной шестой части суши планеты Земля. Так что разнарядку обеспечивали доносы.

 Доносов в наших краях не было. Не было и Павликов Морозовых.

 Причин на это много.

 Прежде всего – относительная удалённость наших мест от той «цивилизации», что захлестнула в целом страну под названием СССР и Белоруссию в частности. Отсутствие больших площадей пахотных земель и дорог, наличие больших массивов леса и водных преград, главная из которых – река Сож – была не только кормилицей, но и защитницей тех, кто жил за её левым берегом, не способствовало массовому проникновению в эти края новых людей, а, следовательно, новых идей, которые могли разрушить устоявшееся мировоззрение аборигенов. Отдельные приезжие со стороны погоды в деревне не делали, они скорее принимали жизненный уклад местных, чем решались навязывать им своё мировоззрение. Не изменили коренным образом главного, что было в этих людях, ни революция, ни победное шествие советской власти, ни коллективизация.

 Они всегда были себе на уме.

 И когда приезжали уполномоченные НКВД выявлять врагов народа, то таковых в Засожье не оказывалось по причине прямо-таки горячей любви местного народа к «Новейшего Завета Троице»: советской власти, коммунистической партии и величайшему вождю всех трудящихся и отцу угнетённых народов товарищу Сталину. А выражалась эта любовь в таком же горячем приёме, который оказывали местные жители уполномоченным НКВД.

 После беседы в сельском совете с его председателем и секретарём на предмет преданности населения вышеупомянутой троице, уполномоченные НКВД «шли в народ». Естественно, народ был готов к встрече представителей боевого авангарда горячо любимой партии, и проходила она в полном взаимопонимании сторон за добрым столом, «с чаркой и шкваркой». Говорили о чем угодно, только не о Сталине, не о партии и не о товарище Ягоде. Говорили про жизнь. Потому как уполномоченные этой самой «энкеведе» были людьми такими же, как и наши кремянцы. Ну, почти такими. Не было среди них ни местных Макаров Нагульновых, ни присланных двадцатипятитысячников Семёнов Давыдовых.

 Это на Дону, на Кубани, в Украине, да в чернозёмной полосе России и на сибирских просторах, заселенных в годы «столыпинщины», бушевали страсти. Плодородные земли – основной источник хлеба в широком смысле этого слова. Политический хлеб также произрастал на жирных чернозёмах юга России, Украины и Сибири. Потому всё внимание несвятой троицы и наиболее ярых сил её ударного отряда – НКВД – были направлены на закабаление крестьян именно в этих регионах. Гигантские темпы индустриализации и коллективизации страны по принципу «любой ценой» требовали участия в этих мероприятиях огромных человеческих ресурсов. Мобилизовать их троица решила гениально просто: рабочих и творческую интеллигенцию – гулагировать, крестьян – коллективизировать, что по сути своей было одно и то же – рабство.

 К счастью, наши глуховатые в то время места это зло зацепило не самым чёрным своим крылом. Как-то не шибко торопились районные начальники загонять всех поголовно в колхоз. В деревне были даже единоличники. Были у нас хутора: Чернецы, Казачок, Старополье – это километрах в двух-трех от деревни. Жило в них по нескольку семей. Так их в колхоз не сразу загнали. Живут себе люди – ну и пусть живут. Только в 37-м году начали перевозить их дома в Кремянку.

 Заселили они ту часть деревни, что поворачивает вдоль реки и которую затем прозвали Самодумкой. Оно и понятно – люди-то думали немножко по-другому, нежели кремянцы коренные. Кстати, в Чернецах таки одна семья осталась. Помню, после войны уже, этот хутор, стоявший метрах в двухстах от во;лока – дороги, по которой когда-то в зиму волокли лес на недалёкий берег Сожа, туда, где плоты вязали. Жили там старик со старухой после войны, дети их уже разъехались. Эту семью каталиками обзывали. На самом деле они были католики. То есть дед католиком был. В Первую мировую войну оказался он в плену на территории Польши. Пробыл там так долго, что принял католичество. Вернулся домой, завёл семью и поселился с ней на хуторе – всё же католик. Может, поэтому и не стронули эту семью с места.

 Процесс коллективизации моих земляков был постепенным. Видимо, проку от ускоренной коллективизации наших мест ожидалось мало. То есть понимали где-то там, наверху, что не с таких малоземельных районов надо начинать, а там, где отдача от коллективизации будет большой и быстрой, откуда широким потоком польются в закрома Родины зерно, мясо, молоко. Наверно, поэтому не спеша раскачивались в пропойщанском Засожье организационные мероприятия по проведению коллективизации. К тому же сами крестьяне к идее коллективизации отнеслись, мягко говоря, недоверчиво. Приходилось уполномоченным по проведению коллективизации неоднократно растолковывать крестьянскому люду преимущества коллективной формы труда на благо Родины. Народ, конечно, понимал, какие блага получит Родина от такой формы, но и самому народу хотелось что-то получить от своего же труда. Вот это желание как-то не очень отчётливо разъяснялась уполномоченными товарищами, и народ не торопился в колхоз. Тем не менее, в 1930 году были образованы первые колхозы в Пропойском районе.

 А народ кремянковский всегда был в курсе того, что происходило в райцентре, и быстро смекнул, что к чему. Ждать, когда отберут у тебя нажитое непосильным – в прямом смысле – трудом? Может, какие законопослушные немцы или там шведы терпеливо и ожидали бы такого грабежа, но только не кремянцы! И стали сбывать скотинку, кто как мог. И на пропитание себе не жалели, запасались мясцом пусть хоть и на одну зиму, да вволю.

 Но пришлось и кремянцам организовать колхоз.

 Вступили почти что все, так как привыкли делать всё вместе и отвечать за всё тоже вместе. Кулаков, как я уже отметил, в деревне отродясь не водилось, проблем больших с обобществлением не было.

 Общественное добро создавали из добра же сельчан. Однако не всё обобществляли, как описал Михаил Шолохов в «Поднятой целине». Да, лошадей всех, поголовно, согнали в одну колхозную конюшню. Коров же, из оставшихся, забирали только у тех, кто оставил себе двух и более, – одну оставляли кормить семью. Тёлок, у кого были, тоже отобрали. Оно и понятно: общественное стадо надо же формировать. А где его взять? У общества. Свиней не трогали, кроме свиноматок. Свиноматка – дело прибыльное, высокорентабельное, как теперь сказали бы. Через полгода от десятка свиноматок можно целое стадо получить. Вот овец отбирали. Овец тогда в деревне много было. Почти в каждом дворе по несколько – до десяти, а то и более – голов.

 Тут сформировать стадо мелкого рогатого скота было намного легче. Оставили по паре овец, а остальных, будь добр, отдай стране. Птицу не трогали. Во-первых, понимали: птица сильно привязана к своему двору. Куры, к примеру, никогда не примут в своё семейное стадо чужих кур, равно как и сами не водят дружбы с соседскими курами. Разве что петухи непрочь налево сходить, но такие походы в чужой гарем чреваты в лучшем случае временной потерей трудоспособности в деле воспроизводства куриного стада, в худшем – стойкой потерей здоровья и перспективой оказаться на хозяйском столе. Примерно так же ведут себя и гуси – семейными кланами. Так что разумно решили организаторы местных колхозов не обобществлять глупую птицу.

 Вот так, враз, сравняли всех в богатстве, а точнее, опустили уровень благосостояния моих земляков и начали они трудиться теперь на два фронта: на себя и на колхоз.

 Тех же, кто не вступил в течение 1930-1932 годов в колхоз, в декабре 1932 и январе 1933 годов начали репрессировать. То есть отбирать всё имущество и силком загонять в колхоз. В Кремянке такого не было. А вот в соседней Старинке – центре сельского совета – набралось аж двенадцать семей, не пожелавших коллективизироваться. Глав семейств объявили врагами коллективизации, они прошли через гулаговские учреждения и были все реабилитированы только в 1962 году.

 Колхозы в ту, довоенную пору, да и какое-то время после войны, были по принципу: одна деревня – один колхоз. Председателей, как правило, выбирали из своих же мужиков, кто пограмотней. Отец мой имел за плечами четыре класса народной школы, о чем и было написано на его лбу. Он-то и стал первым председателем колхоза с поэтико-политическим названием «День урожая». Почему только один день урожая – трудно понять. День Победы – это понятно без комментариев, День шахтёра – тоже понятно: нарубил 102 тонны угля – получи народ «стахановское движение» в эту честь, да еще и праздник – День шахтёра – в придачу. A вот день урожая – это сродни дню дождя, от которого во многом зависит этот самый урожай. Но рискну предположить, что такое нейтральное название колхоза тоже в духе наших кремянцев. Вы уже заметили, что любви к большевикам и их вождям – Ленину, а тем более к Сталину, они не испытывали. Не стали они называть свой колхоз именами вождей и их приспешников. Возможно, потому, что пока докатилась до нашей деревни коллективизация, все имена знатных большевиков уже были разобраны другими колхозами района. Правда, можно было назвать колхоз именем какого-нибудь пролетариата, если не английского, то, на худой конец, польского – там тоже пролетариат стонал под игом белополяков. Так нет же, придумали: «День урожая» – привлекательно и пролетариям других стран не обидно.

 Поначалу работали в колхозе на совесть так, как привыкли работать на себя. С общественным добром обращались, как со своим. Ведь ещё вчера это было своё. Те, кто пахал в поле или что-то перевозил – старались на своих лошадях работать, кто ухаживал за скотом – старались быть ближе к своей скотинке. Из-за ревностного отношения к бывшей собственности еще долго возникали перебранки между теперь уже колхозниками, пока переболели души, да смирились, наконец, с жестокой несправедливостью. Только смирились ли?

 Всё вокруг колхозное – всё вокруг моё!

 Очень скоро поняли кремянцы: никогда колхозное не будет моим. Колхоз стал для них молохом, пожирающим их труд и ничего не дающим взамен. Всё шло государству: хлеб – через «Заготзерно», картофель – через «Заготкартофель», мясо – через «Заготскот», молоко – через молокозавод, фураж – через «Заготсено». Были еще какие-то «заготы», типа: «заготшерсть», «заготяйцо», куда надо было сдавать шерсть, да яйца, да шкуры свиные – эти уже драли личные хозяйства колхозников посредством налогов. А колхозам надо было еще сдавать определенное количество семян различных культур в районный семенной фонд.

 И сдавали. Всё, до последнего зёрнышка. Начиная с косовицы, и вплоть до 7 ноября – как же, очередная годовщина Великого Октября! – тянулись гужевые обозы в Пропойск с сеном, зерном, картофелем. Потом, когда развились колхозные стада крупного и мелкого рогатого скота, свиней, пошло своими ногами в «Заготскот» и мясо. Молоко же возили на молочный завод круглый год.

 Колхоз ничего не мог позволить себе на развитие основных фондов, воспроизводство стада, закупку инвентаря. Эксплуатировали то, что было отобрано у самих себя: телеги, плуги, бороны, сбрую. Зато почти каждую весну, ещё до половодья, направлялись пустые повозки в Пропойск и везли уже обратно те же семена, потому как сеять было нечем, и сено, уже спрессованное в тюки, так как оставшийся в колхозе фураж скотина съедала раньше, чем трава зазеленеет.

 Ну и как, скажите, прожить бедному крестьянину?

 Справедливости ради, надо отметить, что упомянутое «стахановское движение» в колхозе «День урожая» укрепило колхоз в конце тридцатых годов и вскорости «жить стало лучше, жить стало веселей», и, как рассказывала моя мать, в колхозе какое-то время, перед самой войной, даже получали на трудодни и зерно, и картошку, правда, самую малость.

 Конечно, прожить на получаемое из колхоза за трудодни было невозможно. Семьи в то время были очень большие. Это теперь семья с тремя детьми считается многодетной! А тогда это была неполноценная семья. То есть только начинающая своё развитие. Впереди еще ожидалось, как минимум, трое детей! Восемь человек в семье – это было нормальная семья, а если еще и дед с бабкой? А если в одном подворье селятся семьи двух сыновей, да их родители, да их дети – тут уже высшую математику запускай. А хозяйство – одно. И корова одна – кормилица. Правда, таких семей было мало.

 Те полгектара земли, которые приходились на каждый двор, практически не могли прокормить такие большие семьи. Семьи начали дробиться: сыновние семьи отделялись от родительских и заводили свое хозяйство, благо места много было, да и строиться было легко – лес под боком. И лес помогал людям не только строиться, но и зарабатывать на жизнь, иметь хоть какие-то деньги, в отличие от колхоза, где этих денег и в глаза не видели.

 Колхозные земли – пахотные, луга, пастбища – также не могли обеспечить оплачиваемой работой мужскую часть кремянковского населения в силу своих, как малых площадей, так и низкого плодородия, поэтому и искали мужики, где бы подзаработать какую копейку на стороне.

 Стране требовался лес. Очень много леса. Особенно шахтам Донбасса, которые были основным поставщиком хлеба советской промышленности – каменного угля. Наш лесной край, простиравшийся от левобережья Сожа и до таких же лесных границ Смоленщины и Брянщины, подвергся в годы первых пятилеток нашествию лесозаготовителей, то есть организаторов лесозаготовок. Рабочую силу они набирали из местных жителей. Механизации в те годы было минимум. Это когда появилась знаменитая пила «Дружба», а тогда П-2 – пила двуручная – была единственным пилящим инструментом, коим владела, как минимум, половина населения лесного края. Для вывоза древесины использовалась гужевая тяга, управлять которой умели едва ли не все деревенские жители. И двинулось большинство наших мужиков на заработки: зимой – на валку и трелевку, летом же ... Вот про то, чем занимались летом кремянские мужики, стоит рассказать подробнее.

 Дорог, как и транспортных средств, по которым и которыми можно было доставлять лес к месту назначения, не было. Знаменитые полуторки на роль лесовозов не подходили, подвезти лес к ближайшей железнодорожной станции – в полусотне километров – не на чем. Зато есть готовый великолепный, созданной природой, путь: реки Проня и Сож, входящие в бассейн Днепра, протекающего самой широкой своей частью по Украине.

 Этот путь использовался еще со времен Петра Первого, когда по нему доставлялись в низовья Днепра великолепные дубовые и сосновые брёвна на постройку кораблей, в том числе и знаменитая корабельная сосна, произраставшая по берегам Сожа в районе деревни Старинка, той самой, что в семи километрах восточнее Кремянки.

 Я думаю, что уже в те далекие времена наши мужики сплавляли по этим рекам лес, потому что эта профессия – плотогон – передавалась из поколения в поколение и сохранилась она вплоть до шестидесятых годов двадцатого столетия. И мой отец до избрания председателем колхоза гонял плоты и по Проне, – до войны, когда она была полноводной рекой – и по Сожу аж до Гомеля. Гонял плоты и второй из братьев, уже после войны, Плотогон был брендом, как теперь сказали бы, кремянковских мужчин.

 Зимой из вырубаемых делянок лошадьми волоком на санях-дровнях доставляли лес к затону – большой старице Сожа в широкой ложбине с высоким берегом. Бревна сбрасывались в долину на протяжении всей старицы, а это больше одного километра, и из них наши мужчины вязали плоты прямо на заснеженной земле. Поэтому место это с давних пор называлось – Вяжное. Готовые плоты привязывали к якорям цепями или тросами, и они дожидались весны. Весной прибывала вода, плоты поднимались, часть их выводили на большую воду и - отправлялись плотогоны в плавание. До Гомеля плавания было около двух недель. Возвратившись назад, брали очередную партию плотов, и так до глубокой осени.

 В дополнение к такому древнему способу перемещения древесины со временем появились речные буксиры с баржами. Буксиры подтягивали баржи к высокому берегу Сожа, который был продолжением старицкого берега, сплошь загромождённый штабелями брёвен, и называвшийся пристанью. Эти штабели пополнялись не только зимой, но и летом, особенно после войны, когда появились лесовозы с газогенераторами на базе знаменитого грузовика ЗИС-5. Надрывный вой этих лесовозов, напоминавший вой немецких бомбардировщиков, – а газогенераторы-то были немецкие! – до сих пор нет-нет, да вспоминается. Лесовозы разгружались рабочими вручную, поэтому штабеля были невысокие. Те же рабочие загружали и баржи, спуская брёвна по слегам в трюмы барж.

 Было и еще одно место с похожим затоном, где тоже вязали и плоты, и загружали баржи. Это место называлось Старик, располагалось ниже Пропойска, в трех километрах от Кремянки. Старик – старое огромное, подковообразное русло Сожа, подходившего когда-то вплотную к лесу. Сюда в очень давние времена также свозили лес, вязали плоты, а позже грузили баржи, как и на нашей кремянковской пристани. Здесь тоже верховодили кремянцы, не оставляя шансов подзаработать пропойщанским мужикам.

 Кроме лесозаготовок и лесопогрузок были и ещё работы, связанные с рекой. Пропойск ведь был речным портом, и за навигацию перерабатывал какое-то количество грузов. Погрузка-выгрузка барж случалось на пропойщанской пристани довольно часто. И здесь кремянковские мужики были начеку. Сколотить бригаду «докеров» в любой нужный момент им ничего не стоило.

 Вот такой нелёгкой работой занимались кремянковские мужчины, добывая не такие уж большие деньги, но хоть такие.

 К концу пятидесятых леса стали заготавливать меньше, постоянной работы по погрузке-разгрузке уже не было. Устраивались на оплачиваемую работу, кто как мог, особенно молодые мужчины. Преимущественно в Пропойске. А изредка подходившие по большой воде к пристани баржи загружались лесом подростками, руководимыми уже много поработавшими на своем веку мужиками. Мне тоже пришлось поработать, будучи в девятом классе, на погрузке нескольких барж в том же Старике, что было очень большой удачей – заработать такую уйму денег, аж по тридцать рублей на человека (тех еще, послевоенных) за баржу!

 Но это было уже после войны. А она уже вызревала в чреве Европы, вторая за последние двадцать семь лет.

**Глава четвёртая**

**ВОЙНА**

 Прежде чем разразиться «внезапным» и «вероломным» нападением германского вермахта на нашу миролюбивую советскую страну, война дважды изрыгнула огненные языки свинца и стали с территории этой миролюбивой страны.

 В середине сентября 1939 года состоялся «освободительный поход» Красной Армии в Польшу, чудесным образом совпавший с нападением Германии на ту же Польшу с целью возвращения восточных земель, якобы когда-то принадлежавших Германии. Точно такую же цель преследовала и советская страна, разве что «возвращаемые» земли были на западе от советских границ, получили название Западная Белоруссия и Западная Украина, но Советскому Союзу никогда не принадлежали. А в самом конце ноября того же года срочно понадобилось отодвинуть границу советской страны подальше от колыбели революции, города Ленинграда, в сторону Финляндии.

 Возможно, успешный «освободительный» поход в Польшу так укрепил уверенность руководителей и маршалов Советского Союза в могуществе и непобедимости Рабоче-Крестьянской Красной Армии, что войну против маленькой Финляндии они начали, на зиму глядя, видимо, рассчитывая закончить её так же успешно, возвратив Карельский перешеек, а может, и вовсе бывшее Великое княжество Финляндское в лоно бывшей Российской империи.

 И вот февраль 1940 года. Незнаменитая война с Финляндией неожиданно затянулась и продолжается по сценарию, который не мог присниться первым советским маршалам в самом страшном сне.

 Кадровый офицер Рабоче-Крестьянской Красной Армии капитан Иосиф Сёмкин несколько месяцев не даёт о себе знать ни своим родителям, ни брату, то есть моему отцу. Нет также вестей и от его семьи, которая находится в одном из военных городков в Белостоке, на территории совсем недавно, каких-то пять месяцев назад, занятой советскими войсками. Впрочем, в деревне многие давно ждут вестей от сыновей и мужей, призванных на ту самую, финскую. Вестей от них нет, и это порождает тревожные предчувствия и догадки. Моя мать в это время рожает своего седьмого ребенка (а всего она родила восьмерых детей, второй и третий из них умерли друг за дружкой в возрасте четырёх и двух лет от дифтерита) и отец называет его именем своего погибшего, как он считает, брата. Этим ребенком был я. А через две недели после моего появления на свет закончилась война.

 «Незнаменитая» война закончилась мирным договором. Вести с закончившейся войны пришли в Кремянку в виде извещений о героической гибели двух наших кремянцев в боях против белофинских реакционных кругов, подло спровоцировавших нападение на нашу великую советскую родину. Деревня плакала – вестей от многих кремянцев, проходивших действительную военную службу в то время, не было. Плакали мои дед с бабкой, тётки и вся моя родня. Ближе к маю месяцу вдруг пришли письма от моего дяди, несколько штук, написанных в разное время. Естественно, проверенные военной цензурой. Письма не содержали никаких упоминаний о финской войне и были похожи на суворовские депеши родным: «Жив, здоров, служу. Суворов». А что еще нужно знать родителям? Жив-здоров сынок, и – слава Богу! Все родственники возрадовались, а письма, как оказалось много позже, задерживала полевая почта в Белостоке, где служил дядя. Видимо, было такое указание – задерживать определённое время военную почту, чтобы не просочились сведения о готовящихся каких-то военных приготовлениях. Так что в финской войне дядя не участвовал, но зато сполна получил в следующей, еще более страшной войне. Последовавшая за финской войной германская, хоть и сказалась трагичным образом на судьбе тридцатилетнего командира артиллерийского зенитного дивизиона, всё же оставила ему шанс на жизнь.

 Прошло 15 месяцев со дня окончания одной «скоротечной» кровавой войны, и началась самая кровавая война в истории человечества.

 О том, что Германия напала на Советский Союз, наши кремянцы узнали без того ошеломительного эффекта, который часто показывали в советских кинофильмах. Радио в деревне не было. Но в Пропойске было. А поскольку по воскресеньям многие граждане Кремянки, как правило, посещали Пропойск, то во второй половине дня деревню уже облетела весть о начале войны. Конечно, эта весть произвела нехорошее впечатление на кремянцев. Совсем свежа была в памяти недавняя советско-финляндская война и не вернувшиеся с неё молодые кремянковские мужчины.

 Мобилизацию Пропойской райвоенкомат начал через два или три дня после начала войны. Добровольцев идти на священную войну среди кремянковских не было. Уклоняющихся от мобилизации тоже не было. Зато брали, как теперь сказали бы, резервистов, – всех, кто попадал под призывной возраст, а он был в пределах от 18 до 45 лет. На фронт в два призыва ушли практически все деревенские мужчины, в их числе и мой 42-летний отец. Душераздирающих киношных сцен провожания на фронт не было. Во-первых, потому что привыкли как-то за сорок лет двадцатого века постоянно провожать на войну мужиков, а во-вторых, никто не предполагал, что очередной молох войны будет столь чудовищен и потребует от людей столько жертв. Уходили на войну деловито, чтобы успеть разгромить врага на его же территории.

 Конец июня и начало июля для кремянцев были относительно спокойными. Лишь иногда на большой высоте пролетали самолеты на восток и обратно, вызывая у жителей деревни живейший интерес, но и внушая опасение: а ну-ка, если вдруг бомбу кинет? В десятых числах июля с запада уже явственно доносились глухие раскаты, как будто грома, да всё чаще появлялись одиночные самолеты над Пропойском. А перед рассветом 15 июля над Пропойском появилось множество самолетов, и они начали бомбить город. Рано утром к городу с севера прорвались танки немецкого генерала Гудериана. Они захватили мост через реку Проня и устремились по Варшавскому шоссе на восток. Во второй половине дня город Пропойск был уже занят немецкими войсками из состава 4-й танковой дивизии 2-й танковой группы Гудериана.

 \*\*\*

 Когда стоишь на шоссе Варшава-Москва у верстового столба с отметкой «525» в сторону Москвы на восточной окраине Пропойска и смотришь, как упирается в небо на востоке прямая линия дороги, охватывает необыкновенное чувство. Прежде всего, оттого, что стоишь на горе. Её хоть и срезали частично при строительстве дороги, шоссе всё равно спускается вниз к мосту через Проню и уходит стрелой посередине поймы рек Прони и Сожа и далее лесом на восток.

 Впечатление такое, что стрела уходит в небо. Ты стоишь, зачарованный этим зрелищем, особенно когда тебе всего лишь двенадцать лет и тебе тревожно и любопытно: куда уходит эта дорога, в какие края? Что там, на видимом конце этой стрелы, во что она упирается? Вот возникает на кончике стрелы черная точка. Не сводя глаз с неё, замечаешь, как она растет, медленно приближаясь, пока, наконец, не приобретет очертания грузового автомобиля. Легковых автомобилей в начале пятидесятых годов двадцатого столетия в Советском Союзе было мало. Почти все они ездили по улицам Москвы и столиц союзных республик, реже – в областных городах. Случалось кому-то из москвичей проезжать через Пропойск на своей машине и тогда «Победа», а именно такая марка легкового автомобиля, как, впрочем, и наручных часов, доминировала тогда в сознании советских людей, становилась предметом искреннего восхищения, как подростков, так и взрослых людей. Помню первый увиденный мной в жизни легковой автомобиль, который в конце сороковых годов появился тёплым летним утром на кремянковской улице. Сверкающая зеленая легковая машина плавно летела по улице со стороны Рекотки, мотор её приглушённо пел, именно с таким поющим звуком работали моторы первых советских «Побед». Да, это была «Победа»!

 Мы даже не слышали о том, что у нас выпускаются такие машины, но было ясно, что это наша, советская машина. За ней гналась одуревшая стая собак и босоногих детей. Стоял сумасшедший лай псов, рёв и вопли «победа!» детей, кудахтанье кур и визг свиней. Заслышав этот бедлам, из хат выбегали хозяйки и их старшие дети. Женщины крестились, а дети примыкали к бегущей армии, усиливая её сумасшествие. Побежал и я. «Победа», спустившись со второго «римского» холма в сторону реки, остановилась напротив дома моей бабушки Арины, стоявшего в глубине двора. Из машины легко и непринуждённо возник мой дядя, из другой дверцы – такого же вида мужчина, оба красивые, с мужественными лицами офицеров Рабоче-Крестьянской Красной Армии, каких показывали в довоенных советских кинофильмах.

 Машина стояла некоторое время на улице, пока офицеры запаса пребывали в доме бабушки, где в то время жил с семьёй дядя, и всё это время толпа благоговейно рассматривала «Победу». Вскоре мужчины вышли к машине, и она двинулась к реке. Нам, детям, было позволено помыть машину. Эта божественная работа досталась счастливчикам, живущим рядом с рекой, ибо вёдра появились как по мановению волшебной палочки. Вымытая машина засверкала так, что я до сих пор помню этот неземной зелёный цвет. Глядя на автомобиль, казалось, что ты утопаешь в зелёной бездне его цвета.

 Дядя похватал пацанов, что мыли автомобиль, а в их числе и меня, и мы очутились на заднем сиденье «Победы». Машина промчалась до околицы – нас высадили, наказав не бежать за машиной, а зря. Мы готовы были.

 Позже я узнал, что к дяде, а он работал в Пропойске, приезжал из Москвы его друг-однополчанин.

 А пока вы стояли в начале пятидесятых на высоком побережье Прони и смотрели на уходящую в небо струну шоссе, мимо вас могли проследовать колонны грузовиков с военными номерами, с кузовами, крытыми брезентом. И если повезёт, могла пролететь мимо звенящей песней волшебная «Победа».

 \*\*\*

 Вот по такой дороге в середине июля 1941 года помчалась колонна танков 4-й танковой дивизии 24-го корпуса 2-й танковой группы немецкого генерал-полковника Гейнца Гудериана на самый кончик стрелы, упирающейся в небо.

 Фронт в те дни представлял собой причудливо извивающуюся линию с острыми выступами, как на восток, так и на запад. В окружении находились целые советские армии, плохо управляемые, получающие противоречивые приказы из Ставки Верховного Главнокомандования, так же, как и армии, отступавшие перед «превосходящими силами противника». Удивительно, но в районе Пропойска через три недели после начала войны оказались части двух советских армий: 13-й и 4-й, стоявших в авангарде Западного военного округа, затем фронта, следовательно, полностью укомплектованных и вооружённых новейшими советской техникой и оружием того времени. Это только две армии из четырёх, развёрнутых вдоль тогдашних западных рубежей Белоруссии. Танковые клинья 2-й танковой группы генерала Гудериана и 3-й танковой группы генерала Гота рассекли, перемешали соединения и части армий Западного фронта и устремились на восток, обходя советские войска, оставляя их в своем тылу на расправу второму эшелону немецких войск.

 Пропойск Гудериан взял с ходу. Его танковые соединения растекались по мало-мальски пригодным для немецких танков дорогам, затем вырывались на стратегические дороги, не обращая особого внимания на пытающиеся иногда помешать им части Красной Армии, рассекая, дробя эти части, лишая их оперативного управления, а заодно сея панику и хаос в этих раздробленных частях советских войск.

 Редкие советские части, управляемые толковыми командирами, не бросившие легкую артиллерию, которую можно было тащить в худшем случае на себе, не могли существенным образом сдержать, как принято говорить, танковую лавину Гудериана.

 Когда мы говорим «лавина», то представляем нечто огромное вширь и вглубь, несущееся на нас. На самом деле никакой немецкой танковой лавины не было. Были хорошо организованные, великолепно управляемые, две танковые группы, действовавшие на фронте шириной до 600 километров, и в которых было 1936 танков и танкеток. 22 июня 1941 года этим двум группам противостояли 4365 советских танков, из них 592 машины составляли танки КВ и Т-34, ничего похожего на которые у немцев не было. Таким образом, на один километр фронта приходилось три немецких танка и семь советских, из которых один был Т-34 или КВ. А по боевой мощи советский Т-34 превосходил лучший на то время немецкий танк Pz-4, как минимум, в два раза. О тяжёлом КВ и говорить не приходится – его просто не с чем было сравнивать у немцев.\*)

 Какие уж тут «превосходящие силы противника»?

 Какая немецкая лавина?

 Возникла эта лавина в голове «человека с ружьём» – малограмотного солдата-крестьянина, призванного в предвоенные месяцы в армию, а с началом войны и такого же, спешно мобилизованного, в глаза не видавшего вообще никакого танка, да и с ружьём мало знакомого солдатика; попав на фронт, он при крике «танки!» бросал свое ружьё и мчался с ужасом с позиции, наводя панику и деморализуя остальных. Так и сложилось в очерках военных корреспондентов, в художественных произведениях, а затем в исторических и официальных документах и получившее повсеместное хождение понятие «танковая лавина».

 Танковая группа Гудериана, как и все четыре немецкие танковые группы, состояли из корпусов, дивизий, полков, которые, в свою очередь, состояли из более мелких подразделений, но все они выполняли конкретные задачи в общей стратегической цепи, меняя лишь тактику выполнения оперативных задач по ходу действий. Танковая группа сама по себе мобильна. Но сама по себе мобильность не может обеспечить выполнение оперативных задач без мобильного управления. Штабы Гудериана были подвижны, как и сам генерал. Читая книгу Г. Гудериана «Воспоминания солдата»\*), не перестаёшь удивляться передвижениям командующего среди своих войск. Он постоянно, с помощью танка, автомобиля, самолёта, оказывается там, где намечается либо прорыв, либо, наоборот, замедление в продвижении из-за вдруг организованного сопротивления советских войск, то есть он всегда там, где как раз должен быть командующий именно в это время.

 Вот как описывает генерал Гудериан в своей книге положение войск танковой группы, командующим которой он был, на 15 июля 1941 г.: «Утром 15 июля на мой командный пункт прибыл фельдмаршал фон Клюге. После беседы с ним я поехал в 46-й танковый корпус, в Горки, а оттуда в 47-й танковый корпус, в Зверовичи (12 км юго-западнее Красный), 29-я мотодивизия овладела южной частью Смоленска, 18-я танковая дивизия достигла Днепра севернее Красный. Русские отходили четырьмя-пятью параллельными колоннами по шоссе Орша – Смоленск, 17-я танковая дивизия овладела на восточном берегу Днепра восточными и южными кварталами города Орши. В 17 час. я был у генерала Неринга, командира 18-й танковой дивизии, которая вела тяжелые бои у Гусино. Он доложил мне о значительных потерях, которые понесли его тылы под Добрынь (24 км юго-восточнее Орши), где противник пытался прорвать кольцо окружения в восточном направлении. В 17 час. 40 мин. я направился далее к Смоленску. По пути моя оперативная группа подверглась налету с воздуха; потерь не было. В 19 час. 15 мин. под Смоленском я имел беседу с начальником штаба 29-й мотодивизии, старательным майором Францем, который доложил мне, что дивизия успешно продвигается к Смоленску без больших потерь. Уже теперь давала о себе знать необходимость получить подкрепление в личном составе и материальной части.

 В 23 часа я приехал на командный пункт группы, передислоцировавшийся во время моего отсутствия в Горки»

 И в этот же день, 15 июля, части 4-й танковой дивизия 24-го корпуса находятся в Пропойске! Представляете так называемую «линию» фронта, уходящую на восток: Пропойск – Горки – Красное - Смоленск! Это ж 170 километров по прямой! А по обе стороны от этой «линии» – территории, на которых ещё не ступала нога захватчика...

 16-го июля в Пропойск вошли передовые части 10-й моторизованной пехотной дивизии 2-й танковой группы всё того же Гудериана.

 «16 июля 29-я мотодивизия овладела Смоленском» – пишет Гудериан. И в этот же день «решительными действиями 55-й стрелковой и 219-й мотострелковой дивизий со смелым натиском части 45-го стрелкового корпуса мы выбили гитлеровцев из Пропойска» – рассказывал генерал Л. Сандалов, бывший в ту пору начальником штаба 4-й армии, военному писателю В.Карпову.

 \*)Гудериан Г. Воспоминания солдата.- Смоленск, "Русич", 1999.

 В своей книге «Пережитое»\*\*) Л.М.Сандалов так рассказывает о боях в Пропойске: «Атаки 55-й стрелковой и 219-й мотострелковой дивизий с юга совпали с натиском 45-го стрелкового корпуса с севера, выходившего на Пропойск из окружения. Этими совместными действиями был нанесен огромный урон 10-й моторизованной дивизии Гудериана. Во второй половине июля Пропойск неоднократно переходил из рук в руки». Здесь следует уточнить, что 55-я стрелковая дивизия и 219-я мотострелковая входили в состав 4-й армии, а вот 45-й стрелковый корпус принадлежал 13-й армии.

 \*\*)Сандалов Л.М. Пережитое. - М. Воениздат, 1961.

 Только с четвертого раза немцы окончательно овладели Пропойском. Во время контратак советских войск едва не попал в плен вместе со штабом сам Гудериан. Вот как пишет об этом случае генерал И.М.Чистяков в книге «По приказу Родины»\*\*\*) : «21 июля 1941 г. едва не состоялась вторая встреча Гудериана и Кривошеина. Тогда танкисты Кривошеина ворвались в белорусский город Пропойск (Славгород), где разгромили штаб Гудериана, захватив при этом несколько машин, в том числе автомобиль генерала, и другое штабное имущество. Сам Гудериан за 20 минут до этого покинул расположение своего штаба, направившись в Смоленск».

 \*\*\*)Чистяков И.М. и др. По приказу Родины. - М.,1977.

 Сам Гудериан в своей, упомянутой выше, книге пишет: «...я направился 21 июля в 46-й танковый корпус, чтобы распорядиться о проведении необходимой перегруппировки». Вот только откуда он направился в 46-й корпус, который находился в это время в районе Ельни, в 60 километрах восточнее Смоленска? Гудериан каждый день менял место своего нахождения, так как его ударные танковые дивизии уже взяли Смоленск, но 10-я моторизованная пехотная дивизия застряла в Пропойске, а 1-я кавалерийская дивизия (была и кавалерия в составе танковой группы!) – под Быховом. Так что очень возможно, что генерал Гудериан где-то 20 июля заглянул-таки в Пропойск, хотя в Быхове он был не далее, как 17 июля. Но на то он и Гудериан, который в течение одного дня мог побывать в нескольких пунктах, расположенных в радиусе до 100 километров, а уж в течение четырех дней так и по четыре раза мог бывать в одном и том же пункте, если того требовала обстановка.

 Про разгром своего штаба в Пропойске танкистами советского генерала Кривошеина, командовавшего 25-м механизированным корпусом, Гудериан в своей книге скромно умолчал. Надо полагать, что если бы вместе со штабом погиб и начальник штаба, то генерал Гудериан все же нашел бы место помянуть по такому печальному случаю подполковника барона фон Либенштейна, как и сам этот случай. Но, вот же, не упомянул. Во-первых, потому, что барон остался жив-здоров и после войны даже помог Гудериану написать книгу воспоминаний, а во-вторых, может, потому, что судьба сводила уже однажды этих двух генералов, Гудериана и Кривошеина, еще в 1939 году, когда два хищника – Германия и СССР – разорвали на куски суверенное Польское государство, и, стерев его с политической карты Европы, поделили между собой тайным договором. По этому случаю 22 сентября в Бресте над Бугом состоялся совместный парад дружественных германских и советских войск, который принимали немецкий генерал Гудериан и советский тогда комбриг Кривошеин. Как водится, после парада состоялся банкет, где товарищи по оружию отметили, как следует, успешное завершение очередного (но не последнего) в истории раздела Польши.

 В жизни так бывает: однажды встретившись с каким-то человеком в определенной ситуации, вы непременно снова столкнётесь с ним уже в другом месте, но в похожей ситуации. Любой человек может припомнить в своей жизни такие случаи.

 Как бы там ни было, но передовые немецкие части задержались в Пропойске. Задержало их, конечно, яростное сопротивление советских войск. Для немцев было очень важно удержать Пропойск, так как единственным привлекательным для них путём на восток было варшавское шоссе. Авангард 24-го танкового корпуса, двигавшегося по этому стратегическом шоссе, был уже в это время восточнее Кричева. 10-я моторизованная дивизия, входившая в 24-й корпус, все еще топталась в Пропойске. Переправиться ей через Сож в черте Пропойска, выше или ниже его, было делом крайне затруднительным. С одной стороны, правый берег реки в Пропойске представляет собой узенькую полоску, к которой можно спуститься с высокого обрыва только в одном месте, похожем на глубокий овраг, где и двум подводам с трудом разминуться. К Пропойску же река подходит с востока параллельно варшавскому шоссе среди заболоченных лугов. Левый берег напротив города только небольшими участками был пологим, в основном же он обрывистый и илистый, а течение очень быстрое. Ниже Пропойска также неблагоприятные берега для переправы. На левом берегу начинаются густые леса, тянущиеся далеко на юг и на восток. Усовершенствованных дорог, конечно, не было. А каково танкам совершать марш по узким лесным дорогам, на которых и двум повозкам не разминуться?

\*\*\*

 В начале 18 века, а точнее, ровно 300 лет назад, 29 сентября (11 октября по новому стилю) 1708 года в 10 километрах северо-западнее Пропойска произошла битва русских и шведских войск. Русские войска под руководством самого царя Петра I перехватили у деревни Лесная корпус шведского генерала Левенгаупта, следовавшего на соединение с основными шведскими войсками под водительством самого короля Карла XII, который к этому времени по пути в Украину успел дойти до местечка Мглин под Брянском. После сражения у Лесной остатки войск Левенгаупта так и не смогли переправиться через Сож у Пропойска. Советские историки утверждают, что якобы мост через реку сожгли русские, чтоб Левенгаупт не переправился на левый берег. Я же, со своей стороны, утверждаю, что никакого моста через реку Сож в 1708 году у Пропойска не было по той причине, что быть его вообще не могло. Если его не построили за триста прошедших после битвы у Лесной лет, потому что он не был нужен ни царской России, ни Советскому Союзу, то с какой такой роскоши его должны были построить власти Речи Посполитой до 1708 года? Пропойск располагался на окраине Речи Посполитой, находившейся в не лучших отношениях с Россией.

 Какой смысл был строить мост в сторону извечного врага своего, да ещё и при отсутствии дорог? И, наконец, даже если бы и построили мост, то он был бы деревянным – других строительных конструкций, вроде железобетонных или металлических ферм, тогда в этих краях просто не существовало, – и в первую же весну его снесло бы мощным ледоходом, и на этом история мостостроения в Пропойске закончилась бы.

 Кстати, если бы советские историки смогли в своё время прочесть дневник генерала Адама Людвига Левенгаупта – графа Фалькенштайна барона Рейнхольц-Кирхена, написанный им в том же 1708 году, то нашли бы там такую запись: «Я разрешил генерал-майору Стакельбергу продолжить свой путь к Пропойску, а сам последовал сзади, чтобы лучше всех подгонять. Я заблудился и в темноте совершенно потерял войска и смог найти их вновь у Пропойска не раньше утра. Затем я собрал в лесу людей и повел их за собой. Прибыв в Пропойск, я обнаружил, что город был перед этим сожжен неприятелем, который пощадил только одну церковь и несколько домов, и нет никакого моста, (выделено мной, И.С.) чтобы переправиться через Сож. На противоположной стороне Сожа находилось несколько тысяч неприятельских солдат, одетых в красные мундиры, которые старались помешать нам построить мост и переправиться через реку, и как только кто-то из наших приближался к реке, они начинали стрелять из своих мушкетов. Ниже по течению реки лежал островок, до которого можно было добраться лишь по воде. Но дальше, однако, было невозможно переправиться через реку, из-за того, что противоположный берег был высокий и обрывистый и там, в готовности против нас находился неприятель, а также потому, что спуститься с обрыва вниз к реке под городом можно было только лишь по одной узкой тропке» (перевод П.Коновальчука, г. Москва, 2008).

 Итак, никакого моста через Сож не было, вопреки утверждениям поголовно всех, пишущих на тему сражения у Лесной, что, впрочем, понятно: стоит только одному написать, что «мост был сожжён»...

 Левенгаупт смог найти место для переправы через Сож в двадцати километрах ниже по течению и лесными дорогами и болотами, мостя гати, двинулся на Мглин.

 \*\*\*

 Стоит ли говорить, что с тех времен к 1941 году немногое изменилось в этих местах вообще и в путях сообщения, в частности. Самым большим изменением, конечно, была построенная в середине 19-го века дорога Варшава – Москва, прошедшая через Пропойск, удержи которую Красная Армия именно в Пропойске, – неизвестно, как сложились бы дальнейшие события на московском направлении главного удара немецких войск. Удерживать Пропойск было очень сложно, не подготовившись заранее. Правда, западнее Пропойска местным населением была вырыта многокилометровая глубокая траншея под руководством военного инженера аж в генеральском звании, однако она так и не была использована нашими войсками. Упоминавшийся уже здесь начальник штаба 4-й армии генерал Л.М.Сандалов писал в своей книге «Пережитое»:

 «Больше всего меня интересовало положение дел в 42-й стрелковой дивизии. Она занимала оборону на фронте до 20 километров, и в полосе ее находился Пропойск. Ни противотанковых мин, ни других средств для создания на пути врага серьёзных инженерных препятствий здесь не имелось. Стрелковые взводы и роты едва успели отрыть окопчики. Подступы к реке с запада прикрывались огнем артиллерийского полка. В районе Пропойска один его дивизион стоял на открытых позициях, изготовившись к стрельбе прямой наводкой.<…>

 Неожиданно для себя я встретил в этой же дивизии и члена Военного совета Ф. И. Шлыкова.

 — В километре за Пропойском, — сообщил он, — местное население под руководством бывшего коменданта Брестского укрепрайона генерала Пузырева отрыло многокилометровую глубокую траншею, но ее никто не занимает.

 — Разделяю ваше возмущение, — ответил я. — Но дело в том, что Пузырев подчинен непосредственно фронтовому инженеру и строит оборонительные рубежи по его плану. С войсками начертание этих рубежей не согласовывается.

 По-видимому, виной всему была необыкновенная подвижность фронта. Но факт остается фактом, большинство построенных местным населением траншей так и не было использовано войсками при отступлении...»

 От себя замечу: повозмущавшись, доблестные советские генералы так и не приказали командиру 42-й дивизии занять готовую к обороне позицию, так же, как и подходившей к Пропойску 55-й дивизии со стороны Довска, то есть с запада. Наверно оттого, что не было такого права ни у командующих фронтами, ни тем более, у командармов и комдивов – обороняться, ведь советское Верховное Главнокомандование требовало только контратаковать немецкие войска с целью решающего разгрома врага и – никакой обороны!

 К тому же не было единого централизованного управления войсками. Что толку из того, что одна дивизия зароется в траншею и будет доблестно обороняться, когда соседи справа и слева получают приказ отойти на восток или, вообще не получая приказа по причине отсутствия связи с вышестоящими штабами, самостоятельно отступают?

 Зато когда части советских дивизий по приказу командования фронта не раз выбивали немцев из города, те занимали тот самый готовый рубеж обороны, заботливо подготовленный нашими же людьми, и выбить их оттуда сил не было. Когда окончательно иссякли силы и увеличилась неразбериха с управлением войсками, наши отступили, переправившись через Сож, в отличие от Левенгаупта, прямо напротив Пропойска и чуть ниже, в Старике, о котором я уже рассказывал.

 Но, несмотря на чудовищные условия, в которых сражались советские войска в районе Пропойска (а эти условия были предопределены на всём театре военных действий в начале войны вообще всей политикой советского руководства), Пропойск стал костью в горле немецких полководцев, если судить по признаниям успеха советских войск в районе Пропойска того же Г. Гудериана и даже начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта Ф. Гальдера.

 Война пришла в Кремянку.

 12 июля 1941 года 55-я дивизия 4-й советской армии заняла оборону по левому берегу Сожа от Кремянки до деревни Старая Каменка, что в пятнадцати километрах южнее Кремянки.

 Когда начались бои в Пропойске, большинство оставшихся в деревне жителей бросились искать защиты у леса. «Самодумка» кинулась к своим бывшим пенатам в Чернецах, одна часть «римлян» – в урочище Хрылы, другая часть – в Берестинку, урочище, знаменитое своей глухоманью и обиталищем волков, из-за чего выражение «воет, как волк в Берестинке» было в ходу у кремянцев. Естественно, «рекотчане» ринулись в свою Рекотку – обширный и довольно глухой лесной массив с протекающей в нем живописной лесной речушкой с водой, невероятной чистоты, и совершенно поэтическим названием Голуба. Некоторые кремянцы, не желая покидать без надзора нажитое непосильным, в прямом смысле, трудом, вырыли окопы неподалеку от дома: кто ближе к реке, кто – к лесу. Наша семья с началом боёв перебралась в деревню Немильна, в восьми километрах юго-восточнее Кремянки, но там уже было много беженцев из Пропойска, поэтому перебрались в соседнюю с Немильной деревню Клины. Там жила семья моей тёти по матери, где мы и нашли приют.

 А наш дом в Кремянке оказался в центре переднего края обороны наших частей, переправившихся через Сож с севера возле деревни во второй половине июля, и занявших оборону вдоль западной линии деревни. Еще раз напомню, что сплошной линии фронта в ту пору не было. Бои шли в Пропойске, севернее и южнее Пропойска, а вот восточнее, то есть в Кремянке, была пассивная оборона. Деревню с запада опоясывала траншея, которую занимала немногочисленная пехота. Артиллерии было мало, она занимала позиции в лесу за деревней, но стрельбы не открывала – мало было снарядов. Так что боев в Кремянке не было. Из Пропойска немцы обстреливали деревню снарядами, так как траншея хорошо просматривалась с воздуха, да и наверняка и в бинокль, так как маскировка ярко-желтой песчаной насыпи траншеи на открытой местности всё же себя выдавала. Поскольку во дворе нашего дома расположился наблюдательный пункт 107-го полка 55-й дивизии, то в дом вскоре попал немецкий снаряд. Дом сгорел. Сарай же, в котором, собственно, и располагался НП, для чего в западной стене сарая вырезали внушительную брешь, не пострадал. Да и вообще, в Кремянке во время немецкого наступления сожжено было всего два-три дома.

 Когда возникла угроза окружения левобережья Сожа от Пропойска до Кричева, красноармейцы 7 августа 1941 года ушли из Кремянки на юго-восток.

 Больше их кремянцы не видели вплоть до 1 октября 1943 года.

 Немецкие войска переправились через Сож всё в том же Старике, как в наиболее удобном для переправы месте. Там была паромная переправа еще в девятнадцатом веке, о чем свидетельствует на карте 1856 года в этом месте пометка «паромъ».

 Естественно, отступая, наши паром сожгли, но немцев такая досада не остановила: переправившись, они колоннами двинулись по лесным дорогам, опять же, существовавшим с незапамятных времен, на Кремянку и Клины. В Клинах и увидел впервые немцев мой брат Алексей, в ту пору одиннадцатилетний мальчишка, с ватагой таких же, испытывающих жгучий интерес к войне пацанов. Он рассказывал мне, как любопытные мальцы буквально вертелись под ногами у немецких солдат, оценивая по своим меркам их оружие и обмундирование и не испытывая какой-либо неприязни со стороны солдат вермахта. Это весьма любопытный факт, если исходить из оценки звериной сущности немецко-фашистских захватчиков.

 В Кремянку передовые отряды немцев вошли со стороны Старика и через луг со стороны шоссе Пропойск – Кричев, но не колоннами, а рассредоточившись, настороженно – все же рубеж обороны просматривался, хотя никакого сопротивления они и не встретили. Немцы прошли всю деревню, но никаких действий по расправе над мирными жителями не чинили, так же, как и над их домами и имуществом. Заметив у реки несколько окопов и приняв их за армейские, залегли и начали что-то выкрикивать, но из окопов никто не вылезал. Тогда солдаты бросили в один из окопов гранату. Немедленно из других окопов вылезли те самые жители, что не пожелали далеко уходить от своих домов, изрядно напуганные. А в окопе, в который бросили гранату, погибли пожилой мужчина и его дочь. Это были первые среди мирного населения жертвы нашествия немецких оккупантов на нашу деревню.

 В тот день, когда в Кремянку вошли немцы, моя мать была там, оставив нас, детей, в Клинах у сестры. В Кремянке оставалась корова, надо было ее найти. Коров в деревне пасли по очереди, не смотря на то, что рядом, в Пропойске, шли бои, а почти все кремянцы ушли в лес. Некоторые, как «самодумцы», что раньше были хуторянами, коров своих захватили с собой. Но довольно много коров осталось в стаде. Паслись они на противоположном берегу Сожа, куда и отправилась мать искать свою корову. Она уже нашла её, как вдруг увидела идущих лугом немецких солдат, которые в свою очередь заметили мать. Немцы окружили мать и начали что-то расспрашивать, из чего она поняла только «киндер», «млеко», «гут», «матка». Несколько немецких слов у матери было на слуху. Старший сын, то есть мой старший брат Иван, накануне войны окончил школу, где учил немецкий язык. Видимо, мать интересовалась, как будет по-немецки то или иное слово. Поняв, о чем её спрашивают, ответила, что у неё пятеро детей и молоко нужно им, и – вот, корову домой ведёт. Немцы поняли, одобрительно загоготали, дали матери шоколадку – для «киндеров» и предложили взять еще одну корову, на что мать ответила, что у нее одна корова, а те, дескать, не мои. Немцам это понравилось, потому что они сказали «гут», тут же переведя это как «карашо» и отпустили мать вместе с коровой.

 Немцы не задержались в деревне, ушли на восток. Не было в деревне Кремянка на момент прихода немецких войск ни грабежей, ни насилия над мирными жителями, большинство из которых, впрочем, спрятались в лесу, угнав туда же домашний скот и прихватив кое-какой скарб.

 В советских художественных фильмах «про войну» показывали, как гонялись в занятых ими деревнях немецкие солдаты то за поросенком, то за курами или гусями, причём так, как будто это была не регулярная армия, а банды уголовников, бесчинствовавших по своим понятиям. Наверняка, как и в любой армии, были такие солдаты и в немецкой армии. Но через Кремянку наступала 10-я моторизованная дивизия 2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца (или, как можно встретить в некоторых источниках, – Хайнца) Гудериана, военного человека классического немецкого типа, «усовершенствованного» достижениями на то время военной науки и техники. Ну и конечно, очень неглупого человека.

 Думаю, что и солдаты его армии были воспитаны в таком же духе. На такое заключение меня наводит не только книга Гудериана «Воспоминания солдата». Первоначальный вариант воспоминаний советского полковника Д.А.Морозова\*\*\*\*) , бывшего в 1941 году помощником начальника артиллерии 55-й стрелковой дивизии, той самой, что держала оборону напротив Пропойска, содержит в себе очень интересный факт захвата моста через реку Проня восточнее Пропойска в ночь на 18 июля 1941 года ротой 107-го полка этой дивизии. Захватив мост, рота в составе тридцати человек удерживала его почти всю ночь, задержав на это время продвижение большого количества немецких войск по «варшавке» на восток, что само по себе уже было большим успехом. Но рота пала в бою, спаслись только двое раненых солдат. А 23 июля, уже под Чериковом, воинами 55-й дивизии был взят в плен немецкий офицер, который рассказал, что в том бою на мосту было убито сто восемьдесят немецких солдат и офицеров и девяносто ранено. Далее пленный обер-лейтенант рассказал, что командир немецкой 10-й моторизованной дивизии приказал похоронить доблестных советских солдат, а перед тем их тела положили вдоль дороги и мимо со склонёнными знамёнами проследовали на восток части немецкой дивизии.

 Были и такие немецко-фашистские захватчики.

 В этом смысле Кремянке повезло.

 \*\*\*\*)Морозов Д.А. О них не упоминалось в сводках.- М. Воениздат, 1965.

После того как немцы ушли на восток, деревня оставалась некоторое время опустевшей.

 Ближе к середине августа вернулись кремянковские жители из лесных чащоб в свою деревню. Жили в тревожном ожидании чего-то, что должно было произойти. Но ничего не происходило. Жизнь вошла в обычное русло. Те сельчане, чьи дома сгорели, нашли приют у родственников. Наша семья поселилась у бабушки Арины. Стоял август – пора было убирать застоявшиеся луга и поля. Свою извечную работу делали споро. Вмиг убрали луг, принялись за жниво, свезли все в колхозное гумно, молотили, сушили, веяли – делали все, как в колхозе. Призыв товарища Сталина жечь хлеб на корню, не оставляя оккупантам ни грамма зерна, нашими кремянцами то ли не был услышан, то ли был неправильно понят, но были убраны и обмолочены и зерновые, и даже лён, что сеяли в Хрылах.

 Наступало время убирать картошку, а власти в деревне всё не было. Все, кто стоял у руля власти – руководители и депутаты сельского совета, председатели колхозов – ушли на фронт. Однако порядок колхозный в деревне сохранялся: ждали, что же будет дальше. Но, сложа руки, не сидели. Уборка, сев озимых шли своим, колхозным, чередом.

 В первой половине сентября в Кремянку пожаловала немецкая власть. В сопровождении женщины-переводчицы приехал из Пропойска представитель немецкой администрации. Без всякой охраны, потому что о партизанах в этих местах ни немцы, ни наши даже не были наслышаны.

 Как-то быстро собрался народ на собрание – надоело ждать неизвестно чего, – на котором был избран староста и назначены полицейские. Сами же кремянцы предложили избрать старостой Павла Евсеенко, человека, которому доверяли. В полицейские после бурных обсуждений выдвинули троих сравнительно молодых мужчин, по каким-то причинам не призванными на фронт, причём, двое из них сами выказали желание служить в полиции.

 Наученные советской властью, шустрые кремянцы согласились с представителем уже немецкой власти проголосовать за кандидатов в новую власть, но также высказали предложение оформить новую власть протоколом. Представитель той самой «немецкой демократии, которая была при Гитлере», хоть и был с виду интеллигентный человек, никак не мог уразуметь, чего хотят жители далеко не европейской деревни. Когда ему переводчица растолковала, он сказал, что в деревне теперь будет самоуправление, то есть жители сами будут себе властью в лице избранных представителей. Эти представители будут доносить до народных масс политику немецкого «нового порядка». Все жители должны слушаться старосту и все свои жизненные вопросы решать через него. А староста, если ему не по силам решить некоторые вопросы, будет их решать через управу, что находится в Пропойске. Староста должен навещать управу, получать инструкции и отчитываться перед бургомистром волости, то есть бывшего района.

 На том и порешили.

 Какие такие инструкции получал Павел Евсеенко в управе, сейчас трудно сказать. Но вот что интересно.

 Колхозное имущество, а также лошадей и коров раздали по дворам, обязав при этом сдавать молоко на тот же Пропойский молокозаводик, куда его сдавали и до войны, по тем же, советским нормам. Обязали также сдавать какую-то часть зерна, из выращиваемого на колхозных землях, на то же самое «Заготзерно», что было и до войны. По существу, немецкая администрация использовала все те методы и учреждения, что работали при Советах. И наверно, правильно делала, раз это работало и не требовало особых усилий по наведению пусть и «нового», но порядка. Никаких других налогов на кремянцев немецкие власти не устанавливали. Может, просто не успели за два года что-то своё внедрить, но что было – то было. Я пишу это по сохранившимся в моей памяти рассказам о жизни «при немецкой власти» моих земляков и близких мне людей.

 Кремянцы продолжали работать по-колхозному, только немногие уединились в собственном хозяйстве, но это были люди с врожденным чувством собственников. К тому же они как-то выпадали из характерного кремянского типа людей своей замкнутостью, даже нелюдимостью, что, в общем-то, понятно – бывшие хуторяне.

 У кремянцев работать по-колхозному, на мой взгляд, были две причины.

 Во-первых, не верили тому, что немцы пришли надолго.

 От предков в генах людей был заложен некий алгоритм войны: приходили захватчики, хозяйничали некоторое время, затем изгонялись, и устанавливалась своя власть, пусть не всегда справедливая, но своя.

 Во-вторых, в лихую годину люди всегда объединялись, так легче противостоять общей напасти. Колхоз в условиях оккупации был идеальной организацией для выживания подавляющего большинства семей, оставшихся без мужчин.

 Был ли жёстким «новый порядок» в Кремянке?

 По крайней мере, не жёстче, чем при Советах.

 Но было военное время, и была боязнь в чём-то провиниться, за что по головке не гладила хоть советская, хоть немецкая власть. Тем более что представители новой власти жили постоянно в деревне, знали каждого, как облупленного, и ничего им не стоило доложить, «куда следует». Из троих «полицаев» только один был «злой», как говорили кремянцы. Он довольно пунктуально исполнял свой полицейский долг, за что его жители не любили и побаивались связываться с ним. Двое других не так рьяно служили, хотя по пьяному делу могли наломать дров. Забегая вперёд, скажу, что судьбы этих людей сложились по-разному. Самого молодого, не отметившегося какими-либо нехорошими поступками перед односельчанами, партизаны уже в 1943 году хорошенько выдрали сыромятным кнутом так, что сидеть не мог долго. «Злого» партизаны застрелили в том же году, за третьим они тоже охотились, скорее всего, они бы «кокнули его, сволочь он был», но он удрал к немцам под крыло в Пропойск, там служил при управе, а когда пришла Красная Армия – ушёл вместе с немцами. После войны его нашла контрразведка «Смерш», и так как крови на нем не было, осудили на двадцать пять лет, которые он и отсидел от звонка до звонка.

 Староста был очень лояльный к людям человек, не зря его предложили односельчане избрать на эту компрометирующую советского человека должность. Он умел улаживать недоразумения, если они возникали у немцев, никогда не требовал сверх того, что было установлено властями, более того, мог убедить власти в невозможности выполнения некоторых требований. После прихода «красных», то есть Красной Армии, Павла, не смотря на то, что он был избран старостой народом, определили в штрафной батальон, из которого он не вернулся. Смыл своей гибелью вину перед Советской Родиной. Вот только соизмерима ли его «вина» с таким наказанием? И его ли вина была в том, что он стал старостой, как и многие тысячи таких же обречённых, испивших не по своей воле властную чашу «народного самоуправления»?

 Так же наказали и самого молодого «полицая», но тому повезло: вину он искупил пролитой в боях кровью и вернулся домой в числе победителей.

 И сколько «находили» доблестные и бесстрашные «смершевцы» таких «проштрафившихся» на освобожденных территориях!

 Выгодное это было дело.

 Как выгодно было создавать в годы довоенных пятилеток концентрационные лагеря из «врагов народа», дармовым и изнурительным трудом которых эти пятилетки выполнялись в четыре года, так выгодно стало создавать «штрафные батальоны» из «изменников родины», жизнями которых затыкались самые страшные амбразуры войны. Под одну метлу попадали все: и действительно виновные, предавшие Родину, служившие врагу так, что вызывали у того отвращение к ним, и другие, виноватые лишь в том, что не умерли, нет, «не сдохли» с голода и не дали умереть своим детям – вынуждены были «работать на немцев».

 Поздней осенью 1941 года вернулся домой в деревню мой отец, Сёмкин Александр Иванович.

 В 1940 году отца, проработавшему к тому времени уже 10 лет председателем колхоза, который он, по существу, взрастил, сформировал как действующее хозяйство нового, «социалистического типа», назначили председателем межколхозного правления по строительству гидроэлектростанции на притоке Сожа – реке Ельня.

 Спустя шестьдесят восемь лет я оцениваю это событие как выдающееся. Это какую голову надо было иметь на плечах человеку с четырьмя классами народного училища, чтобы возглавить инженерную должность руководителя строительства – вдумайтесь – гидроэлектростанции! Да, это был не Днепрогэс. По моим оценкам, основанным на созерцании гидротурбин, долгое время после войны валявшихся на берегах речки Ельня, которая протекает через деревню Старинка – центр сельского совета, в который входила и Кремянка, – мощность этой гидроэлектростанции могла составлять примерно двести киловатт. Турбин валялось три штуки. Их размер позволял предположить мощность каждой, минимум, в сто киловатт, из которых одна должна была быть резервной. В том месте, где должно было быть воздвигнуто второе слагаемое коммунизма, а именно, в сельском центре советской власти – деревне Старинка, речка Ельня протекает в естественном углублении, образованном возвышениями по обоим берегам, что создавало хорошие условия для создания водохранилища с наименьшими затратами на его возведение, хорошим запасом гидроресурса и сравнительно небольшой площадью затопления. Место для Старинковской межколхозной ГЭС было выбрано удачно. Не знаю, где делались инженерные расчеты, но коль были завезены на стройку турбины и генераторы, значит, проект был. Генераторы с началом войны вывезли на восток: всё-таки большая ценность, чтобы оставлять её врагу – это тебе не «человеки», сами на восток не уйдут.

 Оставалось совсем немного до построения коммунизма в отдельно взятых трех колхозах (если помните, пролетарский вождь Ленин утверждал, что «коммунизм есть советская власть плюс электрофикация всей страны»), но нежданно-негаданно грянула давно ожидаемая война, и коммунизма в нашем и двух других колхозах не случилось.

 Председателя межколхозного правления по строительству ГЭС, то есть начальника стройки, призвали на фронт, присвоив ему звание старшины – ну как же, начальствующий состав, да ещё и член партии, такими кадрами не разбрасываются – и отправили с такими же мобилизованными второго призыва в начале августа под Могилев, в Чаусы, где формировались части для создаваемой армии. Вооружать призванных защищать Родину с оружием в руках было нечем. Все армейские склады Западного фронта уже были в руках немцев, поэтому большинство призванных должны были обрести оружие на поле боя, то есть завладеть оружием павшего товарища. Сейчас уже точно не помню из рассказов отца, в войска какой армии он попал, кажется, 24-й. Эта армия попала в окружение под Ельней, что в Смоленской области (везло отцу на Ельни!), её дивизии, малочисленные и плохо вооружённые, были рассеяны по лесам, но всё же сражались, пытаясь вырваться из окружения, но, в конце концов, сражаться стало нечем и некому. Командир дивизии, в которой служил отец, приказал, даже не приказал – посоветовал, оставшимся немногим бойцам самостоятельно, небольшими группами и поодиночке, выходить из окружения или кто – куда, а сам сел в «кукурузник», который за ним прислали из Москвы, и улетел, – так рассказывал отец. Что за птица был генерал, коль улетел на специальном самолете в Москву, не знаю. Может, отец и называл его фамилию, но я не запомнил. Думаю, не для расстрела присылали из Москвы за генералом самолёт.

 К середине октября сорок первого ряды генералов в Рабоче-Крестьянской Красной Армии сильно поредели. Многие десятки их погибли в первые три месяца войны, были взяты в плен, пропали без вести, были расстреляны «органами» за действительную, а чаще, мнимую, вину в том, что не закидали шапками «подлецов» типа Гудериана (любимое выражение Сталина: он даже в своих приказах требовал «разбить подлеца Гудериана», на самом деле выдающегося полководца-танкиста, равных которому в Красной Армии не было – ведь именно Гудериан научил будущих советских командармов-танкистов воевать так, как они воевали на заключительном этапе войны).

 Видимо пришла пора давать Красной Армии одного битого генерала за двух небитых.

 Больше месяца плутали бойцы по лесам Смоленщины. Перейти линию фронта не удалось никому. Слишком плотно стояли немецкие войска на направлении главного удара, собираясь начать генеральное наступление на Москву. В итоге отец добрался до своей Кремянки уже в ноябре месяце. Интересно, что его нигде не задерживали: таких, как он, было много и немцы в ту пору особо не обращали внимания на одиночных мужчин, пробирающихся в свои родные места. Более того, осенью сорок первого немцы отпускали военнопленных по домам, если они были призваны из близлежащих местностей. Так, несколько кремянковских мужчин пришли домой из плена из-под Могилёва с немецкими пропусками-аусвайсами ещё в сентябре месяце сорок первого.

 В сентябре того же года в деревню вернулась моя тётя, сестра матери Анна Яковлевна, с двумя дочерьми, пяти и трёх лет – семья моего дяди Иосифа Ивановича, о котором я уже упоминал. Да, дядя Иосиф был братом моему отцу, а его жена, тётя Аня, приходилась сестрой моей матери – вот такие замечательные родственные связи объединяли две семьи.

 То, что сделала тётя Аня, добравшись из Белостока, куда за год до войны получил назначение дядя Иосиф, на родину в Кремянку, да с двумя малышками на руках, да кружным путем, через железнодорожную станцию Крупки на востоке Минской области, да за три с половиной месяца, достойно отдельной повести о настоящей женщине. Сейчас даже трудно представить, как молодая женщина, обременённая двумя детьми и необходимыми вещами, неоднократно пересаживаясь с поездов на грузовики и наоборот, подолгу ожидая оказии на разбитых станциях и просто на дорогах, под постоянными обстрелами и бомбёжками, проехала почти всю Белоруссию с запада на восток, пока окончательно не застряла в Крупках, которые уже захватили немцы, кстати, танкисты всё той же 2-й танковой группы генерала Гудериана.

 Из Крупок, где пешком, где на лошадях – было и такое, подвозили – тётя Аня добралась до Кремянки.

 Иначе, как подвигом, такое путешествие не назовёшь.

 В доме бабушки Арины стало тесно, и наша семья перебралась к деду Ивану – у того дом был побольше, а находился он наискосок через улицу от сгоревшего нашего дома.

 Немцы появились в Кремянке ещё раз в конце осени. Приехали на подводе, которая сразу же вернулась в Пропойск. То была инспектирующая поездка представителей военных властей по ближнему Засожью, входившему в Пропойской район. Властей интересовало, как живёт население, что можно востребовать с него (ага, сейчас вам кремянцы выложат на блюдечке с голубой каемочкой!) нет ли партизан в лесах (откуда им тут быть, да мы и не знаем, что это за партизаны такие!), как служат новому порядку староста и полицейские. Исполнив обязанности, дав наставления старосте и полицейским, представители выразили желание поехать в деревню Добрянка, что в семи километрах выше по течению Сожа от Кремянки. Поручила местная власть в лице старшего полицейского миссию по доставке представителей немецкой власти в означенный населенный пункт моему одиннадцатилетнему брату Алексею, вертевшемуся неподалёку. Запряг кобылку бурую малец и повез немцев сначала в Добрянку, затем в Сычин. А это, я вам скажу, треугольник! Пока немцы инспектировали деревню Сычин, Лёшка дал дёру на своей кобылке домой, в Кремянку. Поступок опрометчивый, да что с мальчишки возьмёшь. Затаили ли немецкие инспектора злость на строптивого мальчишку – неизвестно. Им ещё надо было завершить круг через Клины на Пропойск. Кого-нибудь опять назначили возницей. Но, как рассказывал мне брат, дома страху все натерпелись: а вдруг вернутся искать беглеца!

 Осень и зиму сорок первого года кремянцы пережили сравнительно безбедно.

 Те необременительные налоги, которые были установлены немецкими властями, не оказывали разорительного действия на сельчан и они жили совсем неплохо для военного времени. Конечно, такому положению дел сильно способствовало география, о которой я уже рассказывал. Партизан в окрестностях, как Кремянки, так и других деревень, не было ни в 41-м, ни в 42-м годах. Соответственно, не было в наших краях карателей. Гарнизона в Пропойске, как такового, тоже не было, разве что небольшое количество нестроевиков для поддержания порядка. За всю войну в Кремянке немцы и были «может, пару раз», исключая наступление и отступление. А вот в таких лесных деревнях, как Немильна (вот уж действительно не мила она была немцам) они так ни разу и не появились.

 Некоторые акции оккупанты всё же устраивали. Но проводились они силами самоуправления, то есть старостой и полицейскими. Когда немецкая армия начала замерзать лютой зимой сорок первого, в оккупированных населённых пунктах немцы организовали сбор теплых вещей для солдат доблестного рейха.

 Не минула такая акция и кремянцев.

 До коллективизации почти в каждом дворе были овцы. Естественно, одним клоком шерсти не довольствовались хозяева овец. Шкуры тоже шли в дело, на шубы, например. Выделывали, дубили овчины большей частью сами же, благо, пример был все там же, в Пропойске. А шили шубы, конечно, пропойщанские мастера-евреи. И добротные же были шубы! Кожушки, просто шубки, шубы и вовсе даже тулупы. Это в зависимости от степени холода и вида выхода. Ежели, к примеру, в мороз, да в лес по дрова, то кожушок в самый раз. На повседневную, буднюю, носку – тут просто шубка подойдет. Вот в Пропойск по морозцу пройтись хоть в церковь, хоть на базар – шуба просто незаменима. А тулуп – это если вы сына жените, как правило, зимой – в другое время разгуляться некогда, – да ещё при этом невесту он присмотрел (хорошо, если сам, а то ведь и сосватать могли только неделю назад, жених и в лицо-то невесту смутно представляет) в деревне километров так за четырнадцать, то в чём, как не в тулупе, заявиться жениху в родительский дом невесты? Сразу видно: жених завидный.

 Ну и, конечно, валенки в доме были у каждого члена семьи свои. Но если валенки, кожушки и шубки изнашивались сравнительно быстро, то шубы и тулупы переходили из поколения в поколение.

 Была такая роскошная шуба и в нашей семье.

 Так вот, когда «наши полицаи» начали собирать по деревне валенки и шубы, конечно, поднялся шум и гам: кому хотелось на пороге зимы остаться раздетым и разутым? Если и отдавали, то не самое лучшее, и «стражи нового порядка» особо не усердствовали, особенно, если сдача «теплых вещей» подогревалась дополнительно бутылью самогона. Но вот одному из стражей сильно приглянулась наша замечательная шуба. Просто шубку он уже реквизировал. И перед шубой не устоял. Тоже был не дурак. Мать категорически воспрепятствовала изъятию семейной реликвии, буквально бросаясь на грабителя с топором, который лежал тут же, под лавкой. Но винтовка в руках полицейского – это тебе не булыжник в руках пролетария. И мать удержали от расправы над супостатом отец и бабушка. «Дурмач» – а именно так дразнили в деревне этого полицая – довольный, упёр шубу. Вы думаете, он сдал эту шубу рейху? Дудки, он щеголял в ней сам. Правда, только в Пропойске, в деревне же носить её побаивался.

 Когда этого коллаборациониста в сорок шестом осудили на двадцать пять лет, мама была довольна – это и за её шубу.

 Летом 1942 года отец построил с помощью моих деда и старших братьев небольшой дом вместо сгоревшего в августе сорок первого, и мы переселились из дома деда Ивана в свой дом.

 Лето и зима сорок второго года были похожи на колхозные будни: люди работали по установившейся колхозной системе на полях, лугах, огородах. Кроме того, привлекалась рабочая сила по заказу оккупационных властей, в основном, на лесозаготовки. Платили за эти работы преимущественно советскими деньгами, позже – оккупационными марками.

 Советская литература, кино, школьные учебники истории, описывая и показывая героическую борьбу белорусского народа во время войны с фашистскими захватчиками, во главу угла оценки этой борьбы ставили немотивированные зверства фашистов по отношению к мирному населению, а в ответ на эти зверства вскипала волна благородной ярости против оккупантов и разрасталась всенародная, священная война. Механизм народного сопротивления по такой оценке был прост, как правда, которую и по сию пору пытаются отстаивать апологеты коммунистической партии, к слову сказать, никогда не воевавшие в партизанах. Известно, что самые безапелляционные суждения о чем-либо выносят те, кто не имеет никакого отношения к этому. Выходило так, что возникавший откуда-то секретарь парткома (райкома, горкома, обкома), еще недавно улепётывавший на служебной машине от приближавшихся к райцентру (просто городу, областному центру) немецко-фашистских войск, теперь, правда под другой фамилией и мало кому знакомый, начинал с необыкновенной легкостью собирать страждущих воевать в тылу врага. Легко находилось оружие, отряд как-то удобно устраивался в лесу, откуда-то появлялись провиант, одежда и всё необходимое для войны. Отряд начинал воевать.

 С кем?

 С немецко-фашистскими захватчиками.

 Согласитесь, очень убедительно.

 На первый взгляд.

 Долгое время после войны на экранах огромного Советского Союза демонстрировался фильм «Секретарь райкома», поставленный, если не ошибаюсь, в 1943 году на киностудии «Мосфильм», бывшей в то время в эвакуации в столице Советского Казахстана Алма-Ате (Алматы, если кто не знает). Более чудовищной, бездарной лжи о партизанском движении на оккупированной территории представить невозможно.

 Но!

 «Из всех искусств важнейшим для нас является кино!»

 Фильм смотрели миллионы людей в советском тылу, его показывали на фронте в часы затишья. Ему верили, как верили в то, что это повсеместно, что общими усилиями – на фронте и в тылу – непременно разобьем врага. Что ж, легче было воевать на фронте, надрываться в тылу – верилось в победу.

 А что же на самом деле?

 А на самом деле война в тылу врага развертывалась медленно, со скрипом. Не так-то просто было собрать отряд, не везде много было оружия и боеприпасов, чтобы можно было нанести существенный урон врагу, не подвергая смертельной опасности население, защитить его в случае ответных карательных акций со стороны врага.

 Как же велась борьба с врагом в его тылу, то есть на оккупированной территории?

 Хорошо, когда где-то недалеко, через лес проходила железная дорога. Можно было подорвать следующий на фронт эшелон и нанести существенный урон врагу, по затратам усилий и ресурсов несоизмеримый с таким же результатом на фронте. Например, для уничтожения одного танка на фронте с помощью самолетов-штурмовиков необходимо было сделать в среднем десять самолетовылетов. Эта статистика была одинакова и для советских штурмовиков и для немецких. Один небольшой фугас, грамотно заложенный на критическом участке железной дороги, то есть на высокой насыпи среди болота, на железнодорожном мосту через водное препятствие, в глубокой выемке, способен был вывести из строя три-четыре десятка танков, следующих поездом на фронт – целый полк!

 Неплохо было, когда через лес проходила стратегическая дорога, вроде той же «варшавки» – есть что минировать и подрывать.

 В крупных городах легче было найти врага. Там и гарнизоны поболее, и войска с фронта на краткосрочный отдых наведываются, и пополнение транзитом на фронт направляется. Опять же, предприятия разные работают, железнодорожные депо и мастерские – есть, где реализовать страстное желание бороться во вражеском тылу, а по существу – на своей же земле, чтобы она горела под ногами оккупантов.

 Есть над чем подумать.

 Если что-то горит массово, большими площадями, то этот пожар можно потушить встречным огнем такой же или большей мощности. Так тушат лесные и степные пожары.

 Начинали борьбу попавшие в окружение и оставшиеся в тылу отдельные группы бойцов Красной Армии, если группу возглавлял преданный присяге командир. У таких командиров не было другого выхода. Вот они-то и становились секретарями подпольных райкомов, горкомов и обкомов. Они создавали партизанские отряды в сельской местности, подпольные группы в городах, которые активно действовали в первое время, пока немецкая военная администрация не разобралась, кто есть кто, и уже в 1942 году подпольное движение в более-менее крупных городах Белоруссии было практически уничтожено.

 В первый год войны забрасывались во вражеский тыл в районы важнейших стратегических коммуникаций и в окрестности центров управления немецкими войсками специально обученные и оснащенные отряды чекистов, как, например, знаменитый отряд Медведева под город Ровно в Украине. Строго говоря, это были не партизаны, а специальные части вооруженных сил, действовавшие в специфических условиях вражеского тыла. Управлялись они из центра, задачи им ставились, согласованные с общими фронтовыми или армейскими задачами на том или ином направлении, и это было правильно – воевать должна была и воевала армия.

 А вот истерические призывы партийных и советских вождей Белоруссии во главе с Пантелеймоном Пономаренко, тайно драпанувших из Минска в ночь на 25 июня 1941года, а 1 июля сочинивших директиву о том, как жечь землю под ногами завоевателей, а также «уничтожать врагов, не давать им покоя ни днем, ни ночью, уничтожать их всюду, где удастся настичь, убивать их всем, что попадется под руку: топором, косой, ломами, вилами, ножами... При уничтожении врагов не бойтесь применять любые средства – душите, рубите, жгите, травите фашистских извергов»\*\*\*\*\*) – не возымели никакого действия на подданный им народ.

 Вдумайтесь в эту до идиотизма циничную «директиву». Как почти все выдававшиеся коммунистические директивы, она непрофессиональна. Партийные главари предвоенного времени – это малообразованные, – «из рабочих и крестьян» – шустрые проходимцы, которые не успели или не захотели умереть в боях за власть Советов, посылая в бой за неё других, ещё более свято веривших в правое дело, своими «директивами», смыслом которых являлось «И как один умрём в борьбе за это». Революционная волна подняла наверх дремавшие глубинные здоровые силы поверившего ей народа, которые потом, в большинстве своём, и погубила «в борьбе за это». Но непотопляемый мусор взял на себя функции здоровых народных сил, не имея к этому ровным счетом никаких данных: ни веры, ни ума, ни души. Так появились полуграмотные партийные, советские, военные вожди, «профессиональные революционеры», но непрофессионалы в делах, которые они возглавляли: кагановичи, калинины, ворошиловы, пономаренки, тимошенки, дыбенки и имя им – легион, не умеющих ничего толком делать, зато призывать, направлять, давать указания, директивы по образованию и подобию своему – непревзойдённые мастера.

 Хотите ещё образчики их мастерства обращения к народу?

 Пожалуйста, – вот вам отрывок из страстного, полного отчаяния обращения командующего Западным фронтом красного маршала Тимошенко ко всем жителям оккупированных врагом территорий, через месяц после упомянутой партийной директивы: «Атакуйте и уничтожайте немецкие транспорты и колонны, сжигайте и разрушайте мосты, поджигайте дома и леса... Бейте врага, мучьте его до смерти голодом, сжигайте его огнем, уничтожайте его пулей и гранатой... Поджигайте склады, уничтожайте фашистов, как бешеных собак...»\*\*\*\*\*) .

 Это обращение в никуда!

 Это, во-первых. И уже по этой причине оно ничтожно.

 \*\*\*\*\*)Цитирую по книге: М.Солонин, 23 июня: "день М". - М. "Яуза", 2007.

 Можно подумать, что немецкие средства массовой информации немедленно донесли эти вопли до жителей оккупированных немцами территорий.

 Ну, тогда листовки – с самолётов!

 Не смешите советский народ. К шестому августа сорок первого года, когда было написано это «обращение», едва ли нашлось у Рабоче-Крестьянской Красной Армии хотя бы звено самолетов для разбрасывания листовок на оккупированных врагом территориях.

 Во-вторых, атаковать и уничтожать неприятельские транспорты и колонны, сжигать и разрушать мосты (хотя бы и при отступлении, за собой) – это задача армии, в данном случае войск Западного фронта, бывшим в самом начале войны самым мощным по вооружению, технике, личному составу после Юго-Западного, а по боеспособности на единицу протяжённости фронта – самой мощной группой войск, не имевшей равной себе на театре военных действий Второй мировой войны.

 В-третьих, «мучить врага голодом до смерти» после речи товарища Сталина 3 июля 1941 года\*\*\*\*\*\*) не было необходимости, потому что, по идее, враг уже должен был сдохнуть с голоду за прошедший месяц, как раз к моменту обращения маршала Тимошенко, после того, как товарищ Сталин призвал советский народ: «При вынужденном отходе частей Красной Армии... (вынужденном? – а кто вынудил и почему?) не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, (куда? – все дороги забиты вынужденным отходом частей Красной Армии!), хлеб сдавать под сохранность государственным органам (которые первыми драпали из рай-облцентров, заслышав гул самолетов противника) для вывозки его в тыловые районы (на чём? – на грузовиках, на которых уехали государственные и партийные органы в обнимку с домашними фикусами в кадках?). Всё ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться» (вот так: ни килограмма хлеба противнику, ни грамма хлеба себе – всё должно «безусловно уничтожаться»!).

 В-четвертых, уничтожать врага «пулей и гранатой» – это как? Наладить производство в деревенских сараях и городских квартирах «пуль и гранат»?

 Ах, да!

 При «вынужденном отходе частей Красной Армии», последняя озаботилась снабжением «жителей оккупированных врагом территорий» и оставляла на несожженных складах горючее, там же «пули и гранаты»; на дорогах, полях и в лесах – танки, автомобили и тягачи уже без горючего и там же – заправленные «пулями» винтовки, а также и гранаты...

 \*\*\*\*\*\*)И.Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. - М., Госполитиздат, 1949.

 Много лет, десятки лет большевицкая пропаганда вдалбливала в наши юные советские головы, что подобные директивы, выступления и обращения были необходимы, что они мобилизовывали советский народ на всенародную, отечественную войну с фашистскими захватчиками. Мы верили этому, не задумываясь, не анализируя сущность этих призывов и того, кем, откуда и как эти призывы раздавались.

 Вдумайтесь: вождь призывает своих подданных, брошенных удравшей от противника армией на произвол судьбы, истребить все запасы хлеба и продовольствия, да еще и организовывать партизанские отряды и яростно (с голоду, что ли) бить врага вместо непобедимой Красной армии.

 Директива тайно сбежавшего из Минска Пантелеймона Пономаренко призывала народ, который он бросил, браться за режущий и колющий сельхозинвентарь и такую же кухонную утварь, бросаться на вооружённых до зубов извергов, резать, колоть и душить их мозолистыми руками, и должна была положить начало народному характеру войны, похожему на выступления русских крестьян против французов в войне 1812 года. Партийный лидер тогдашней Белоруссии опередил на два дня своей директивой выступление товарища Сталина и не догадался призвать народ жечь хлеб, но товарищ Сталин исправил промашку товарища по партии.

 Маршал Тимошенко, конечно, знал лучше, чем секретарь ЦК КПБ(б) Пономаренко, как сражаются красноармейцы с «превосходящими силами противника». Знал, хоть и не в полной мере, сколько было брошено «пуль и гранат» на поле боя сдавшимися в плен или просто бежавшими с поля боя красноармейцами. Поэтому и призывал уничтожать врага «пулей и гранатой», подразумевая, что эти брошенные «пули и гранаты» найдут своих хозяев, исходя из принципа «в хозяйстве и пулемёт пригодится». Так оно и было отчасти.

 Но, не смотря на жесткие указания, горячие призывы и визгливые директивы, народ идти в партизаны не спешил.

 Народ присматривался, выжидал.

 Партийным вождям было наплевать на народ. Начиная с 1917 года, они целенаправленно уничтожали народ по ленинскому принципу: в революционной борьбе пусть выживет десять процентов людей, но зато эти десять процентов построят невиданное, справедливое общество свободы, равенства и братства. Разумеется, в эти десять процентов входили сами вожди – от мала до велика – и те, кто наиболее преданно служил их идее.

 Но девяносто процентов тоже не хотели умирать, и впервые за почти два с половиной десятилетия народ получил право выбора из двух зол, определить свою судьбу без «руководящей и направляющей силы», определить необходимость, способы и время борьбы с худшим злом.

 Главная задача народа – не исчезнуть с лица земли. Выжить.

 «Народ бессмертен» – назвал одну из своих книг замечательный писатель Василий Гроссман, на мой взгляд, лучший из советских писателей, кто первым отважился писать страшную правду о войне.

 Народ обязан быть бессмертным, иначе исчезнет с лица земли человек.

 Даже если один народ идет войной на другой народ с целью его уничтожения, второй обязан выжить. Какой ценой – решит сам народ. Но сам себя он не имеет права уничтожить, лишая самого же себя продовольствия, например. Инстинкт самосохранения присущ индивидууму, но над обществом властвует закон его сохранения более высокого свойства. Во время опасности, угрожающей существованию народа, действует закон сохранения духовной человеческой энергии, и работает он так же, как и закон сохранения энергии физической. Важно не нарушить этот естественный закон неразумным вторжением в его течение.

 Неразумным вторжением я называю провоцирующие действия, как катализаторы ускорения процесса. В химических реакциях катализаторы, как правило, ускоряют процессы реакций, давая требуемый результат. В процессах, действующих в человеческом обществе, формирующих общественное сознание, духовную энергию действуют высшие силы, высшая энергия, направленная, прежде всего, на сохранение этноса, и этой высокой, тонкой энергии должна соответствовать практическая деятельность общества. Вся же деятельность советского общества до войны была направлена на борьбу с самим собой. В общественном сознании укоренилась неизбежность классовой борьбы, подогреваемая чудовищными идеологическими установками типа: «с развитием социализма классовая борьба обостряется», которые на практике приводили к поиску «врагов народа» среди народа и в итоге – прямиком к геноциду. Высокая энергия общественного сознания истощилась. Опасно низким уровнем энергии общественного сознания обладали все слои общества, включая, может быть, даже в большей степени, армию. Результат – чудовищный разгром армии в 1941 году и поражения в 1942-м, приведшие врага на берега Волги от её истоков и до самого устья у Каспийского моря.

 Можно ли было ожидать от того народа, к которому «обращались» его политические и военные вожди, – «друзья народа» – что он ринется с дрекольем в руках защищать знамёна, которые олицетворяли безумные идеи «мирового господства пролетариата», какового господства уже наелось большинство этого народа в бараках, коммуналках, колхозных дворах архипелага по имени ГУЛАГ?

 На это можно было надеяться только по причине животного страха, абсолютной растерянности и банальной глупости. О чём и свидетельствуют своим содержанием все эти директивы и призывы.

 Но закон сохранения энергии действует!

 Энергия может трансформироваться, превращаться из одного вида в другой, перемещаться во времени и пространстве, перетекать в ответную энергию.

 Почти два года понадобилось, чтобы энергия сознания напавшего народа трансформировалась в энергию осознания защиты побиваемого народа. Напавшие способствовали этому процессу тем, что начали вести «глупую политику», по выражению Сталина, на захваченных территориях. «Глупая политика» немецких захватчиков заключалась в таком же геноциде, который проводил Сталин против своего же народа.

 Народ кремянковский в точности следовал извечной схеме поведения своих предков, живших на пограничье двух человеческих мироустройств, в условиях беспрестанных войн, которые вели эти два мира: мир скифо-азиатов и мир индо-европейцев. Уникальность моих земляков заключается в том, что они не считали себя ни теми, ни другими. Я с удивлением узнал только в школе, может, в классе третьем, что я, оказывается, белорус. Точно таким же открытием это было и для моих сверстников.

 Белорусы, эти не скифы и, по их мнению, не балты, были буфером между двумя мирами: первые считали их арийцами, вторые – азиатами, и поэтому им доставалось от тех и других, и они научились выживать.

Я уже упоминал в начале этой книги о своеобразном характере кремянцев. Его нисколько не портили их независимый нрав и обостренное чувство собственного достоинства. Не сомневаюсь, что если бы немцы начали творить в деревне такие бесчинства, что описываются во многих источниках и, как теперь известно, во многом спровоцированные «органами», наши кремянцы не стали бы отстраивать в сорок втором, сгоревшие в сорок первом, дома – уж точно ринулись бы в партизаны и без истеричных призывов партийных вождей.

 А пока на дворе стоял сорок второй год, в деревне не происходило ничего такого, что омрачало бы жизнь кремянцев, но все же была война, она держала народ в напряжении, но и держала всех в порядке, заставляла быть готовыми ко всему, что бывает на войне.

 Они выжидали отмеренный им самим течением войны срок.

 Но вот «При немецкой власти мы жили хорошо» – фраза, которую я неоднократно слышал после войны в своей деревне, не даёт мне покоя. Как же так? Ведь в войне, считалось, погиб сначала каждый четвёртый житель Белоруссии, потом, правда, передумали и решили: каждый третий. И было множество «хатыней», сожжённых вместе с жителями. Если в Белоруссии в 1941 году насчитывалось более восьми миллионов человек вместе с жителями присоединённой в 1939 году Западной Белоруссии, то погибло больше двух миллионов шестисот тысяч человек. Из них на фронтах – около одного миллиона человек. Следовательно, как минимум, погибло полтора миллиона человек мирных жителей. Я здесь привожу нижние пределы всех цифр. Возможно, когда, по словам Янки Купалы, «прыдзе новы, а мудры гiсторык, а ён прыдзе, ужо ён iдзе...», этот историк подсчитает действительные, с точностью до одного человека, – а я уверен, что это давно уже можно было сделать, – цифры потерь белорусского народа во второй мировой войне и, более того, он подсчитает, скольких потерь можно было бы избежать, не будь идиотских призывов «душить, рубить, жечь, травить, мучить голодом» вместо тех, кто должен был это делать по долгу и обязанности своим, кого народ кормил-поил, а сам, скорее, мучился от голода в колхозах, на стройках пятилеток и в прочих гулагах.

 Ни в коей мере не обеляю захватчиков. Тот, кто начинает войну, всегда не прав. От Александра Македонского – до Мишико Саакашвили. В любой войне есть неправая и правая сторона. Неправая сторона всегда несет больше смертей и разрушений, ибо за их счёт она достигает намеченной цели. Правая сторона должна защищаться всеми возможными средствами. Во времена Александра Македонского против захватчиков чаще всего не было ничего другого, как «применять любые средства – душите, рубите, жгите, травите...».

 Вполне было допустимо во времена Наполеона Бонапарта «уничтожать их всюду, где удастся настичь, убивать их всем, что попадётся под руку: топором, косой, ломами, вилами, ножами...», что и продемонстрировали французским захватчикам русские крестьяне в войне 1812 года. Но в век технического прогресса, когда «правая» сторона, обладая двукратным превосходством в живой силе и трёхкратным – в первоклассной военной технике, позорно бросает эту технику, разбегается кто куда, а то и вовсе сдаётся в плен, то надеяться, что брошенный армией народ возьмется за топоры и вилы и делать то, что не смогла или не захотела делать прекрасно вооружённая армия, можно было только либо убеждённым циникам, либо отъявленным негодяям. И теми, и другими были большинство из вождей советского народа. То, что делали они с этим народом в предвоенные годы, оправдывая его нечеловеческую жизнь необходимостью подготовиться к отпору германскому фашизму – конкретному, заметьте, врагу – и сделать всё с точностью до наоборот, понять и простить невозможно. Наверно, поэтому «при немецкой власти мы жили хорошо». Потому что был кусок хлеба. Была своя земля, хоть и продолжала считаться «колхозной», своя лошадь, домашний скот и необременительные налоги. То есть то, чего никогда не было – ни до войны, ни после неё – при советской власти.

 Но вот однажды я задаю вопрос своей матери: «А согласились бы вы жить при немецкой власти всё время?»

 Ни на мгновение не задумавшись, она восклицает, всплескивая руками: «Ой, что ты, Боже упаси, – нет!»

 Не хлебом единым жив человек!

 Вот поэтому к весне сорок третьего года, когда маятник войны качнулся на запад, начала вызревать идея сопротивления врагу.

 Кремянцы выждали положенный срок и взялись за оружие, когда не взяться за него было уже невозможно. Созрели объективные предпосылки к этому, включая настойчивую работу эмиссаров НКВД и разведки Красной армии по созданию партизанских отрядов в ближнем немецком тылу и координации их действий с планировавшимся наступлением Красной армии.

 В таком подходе к делу «развёртывания всенародной борьбы в тылу врага» есть хоть какое-то рациональное зерно в отличие от истеричных директив и призывов в первые месяцы войны.

 Справедливости ради, надо сказать, что кое-кто уже в сорок первом начал готовиться к сопротивлению. Пробирались в свои родные места окруженцы, выздоравливали спрятанные на хуторах раненые бойцы и командиры, иным не давал покоя комсомольский долг. В числе этих последних был мой старший брат Иван. 22 июня 1941 года после выпускного вечера в Пропойске он вместе с мужской половиной класса пытался убедить военкома записать его на фронт. По молодости лет, а именно 22 июня сорок первого ему исполнилось только семнадцать лет, поэтому на фронт его не взяли. Действительно, чего захотел: на фронт брали по первой мобилизации мужиков 1905-1918 годов рождения. Не взяли его и во второй призыв в августе сорок первого из Краснополья, куда перебрался военный комиссариат Пропойского района. Зато призвали отца – он попадал по возрасту в этот призыв.

 Поскольку Иван был комсомольцем, до него раньше, чем до других дошло проникновенное «братья и сёстры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Выполняя директиву «друга молодежи», Иван начал с самого мощного оружия коммунистов – агитации односельчан. Это впоследствии стало называться подпольной работой. Охотников воевать вилами и топорами не нашлось, и Иван начал собирать оружие. Хотя боёв в Кремянке не было в сорок первом, оружие – винтовки образца 1891-1930 годов – в окрестных лесах и лугах почему-то попадалось. Больше всего, правда, в местах боёв на реке Проня и по берегам Сожа вблизи Пропойска. Вот туда-то и направил свои поиски Иван и его пропойщанские единомышленники, с которыми он успел за некоторое время связаться. Как-то в феврале сорок второго года запряг он бурую лошадку (именно такая кобылка досталась нашему хозяйству из колхоза) в санки и повёз с дедом Иваном и средним братом Алексеем, которому в ту пору было 12 лет, зерно на мельницу в Пропойск.

 На берегу Сожа, на том месте, где по преданию нашей соседки бабы Кати «заложили кремянцы Пропольск», стояла мельница, жернова которой крутил двухтактный дизель, каким-то образом попавший в Пропойск, я думаю, еще во времена Первой мировой. Он и после Второй мировой продолжал ещё работать вплоть до начала шестидесятых, когда Пропойск, то есть уже Славгород, подключили к государственной электрической сети и надобность в старинном «дизельке» отпала. Впрочем, тогда же отпала и надобность в самой мельнице: муку начали молоть на мощных мелькомбинатах и её можно было купить в магазине. Но мельница еще долго помнилась кремянцам. Мы ходили в школу мимо этой мельницы и она, похоже, никогда не останавливалась. Из выхлопной трубы, горизонтально торчавшей из стены мельницы, вылетали кольца дыма и слышались деловитые глухие выхлопы, похожие на стрельбу из скорострельной зенитной пушки.

 Вот на эту мельницу и повезли дед Иван с внуками молоть зерно.

 Да у Ивана-внука были свои виды на эту поездку.

 Когда разгрузили сани и перенесли мешки с зерном поближе к жерновам, Иван-внук, оставив Ивана-деда с братом на мельнице, направил кобылку вдоль берега Сожа к месту впадения в него Прони. Недалеко от этого места располагалась Пропойская (с ударением на «а») кремнедробилка. То есть это был заводик по производству мельничных жерновов. Кремня – основного компонента для жерновов – по берегам Сожа было в изобилии. В одиннадцати километрах выше Пропойска по прямой, а если считать по течению реки, то и в двадцати, находился целый карьер этого кремня, где его черпал экскаватор, прямо в баржу, которую потом тащил буксир в Пропойск к этой самой кремнедробилке. После дробления кремня на мелкую фракцию, кремневой крошкой покрывали цементные кругляши и получались прекрасные камни для жерновов, которые потом грузили на другую баржу, и тащил её следующий буксир вниз по Сожу, потом по Днепру – в Украину. Понятное дело: зерна в Украине было много, а вот кремня на жернова – поди, сыщи в чернозёмах.

 Но началась война, заводик, само собой, бросили. Немцам жернова, наверно, не были нужны и они заводик так и не запустили. А место, где стояли заводские корпуса-сарайчики, было довольно глухое. От воды – метров сорок, Сразу же за сарайчиками начинается почти отвесная стена-берег, которая тянется вниз по течению Сожа километра два, а вверх по течению Прони с полкилометра до варшавского шоссе. Никому не было никакого дела до заброшенной кремнедробилки, и лучшего места спрятать что-нибудь найти было трудно. Вот там и прятали собранные по берегам Прони и Сожа винтовки будущие народные мстители. На эти винтовки кто-то из пропойщанских навёл брата, за ними он и направился от мельницы на своей бурой кобылке, запряженной в санки. Дело это заняло всего четверть часа – рысью километр туда и обратно. Дед и не заметил отсутствие внука.

 Рожь смололи, мешки погрузили на сани и отправились домой, в Кремянку. Всё было хорошо, винтовки лежали на санях под сеном, сверху – мешки с мукой. Но когда подъезжали к Кремянке, навстречу показался обоз из нескольких саней с немцами и полицейскими. Вполне киношная ситуация. Такая сцена присутствовала почти в каждом советском фильме про партизан, заставляя сердца зрителей трепетать от переживаний за «наших». Но в фильмах всегда обходилось благополучно для партизан. Обошлось и для деда с внуками. В тот день немецкие власти в Пропойске организовали вторую инспекционную поездку в Засожье, правда, посетили только деревню Добрянку, откуда и возвращались. Когда сани поравнялись с обозом, то к немалому удивлению Ивана, передними санями, на которых были немцы, правил... директор Старинковской семилетки Максим Клименко! Он совсем недавно встречался с Иваном, и они обсуждали состояние подпольной работы в Кремянке и Старинке и в том числе способ переправки винтовок из Пропойска в Кремянку. А тут – нате вам! – сам же Клименко везёт немцев навстречу этим самым винтовкам! Иван, конечно, похолодел, но успел заметить, как Клименко моргнул ему. Тут уж знаток немецкого языка напряг свою память и выдал немцам тираду, из которой те довольно легко поняли, что и откуда везут гросфатер и его внуки, а также заверения в почтении к господину офицеру и его спутникам. Немцы даже не стали тыкать штыками в мешки с мукой, хотя в кино это обязательно сделали бы.

 С тем и разминулись.

 Когда, наконец, привезли муку домой, разгрузили и добрались до винтовок, обычно выдержанный и спокойный дед, вышел из себя. Но быстро понял, что не надо в это дело посвящать домочадцев и оружие спрятали на погребе – не выбрасывать же, это еще хуже! Волей-неволей наш дед стал участником подпольной группы в Кремянке. А винтовки пригодились весной 1943 года, когда был сформирован партизанский отряд во главе с тем самым директором школы Клименко, которого тогда немцы, проезжая из Добрянки деревню Старинку и сменив лошадей, через старосту просто обязали доставить их отряд в Пропойск.

 А теперь представьте, если бы немцы и полицаи, особенно полицаи, ведь они были местными и, как и что спрятать прекрасно знали, как прекрасно знали и самого Ивана, и его комсомольский статус, и его антинемецкие настроения, хорошенько проверили сани. В феврале сорок второго года немецкие оккупационные власти уже хорошо были осведомлены о действиях партизан на территории Белоруссии и имели вполне определенные инструкции о том, как поступать в случае выявления «партизанских бандитов». Конечно, семья деда Ивана, в которую в данном случае надо включить всех, кто жил с ним, а это бабушка, их две дочери – мои тётки, двое детей старшей дочери Татьяны и, конечно же, семья его сына – моего отца – всего тринадцать человек могли поплатиться жизнью за те пять винтовок, которые вёз брат Иван под мешками с мукой. Ясно, почему Белоруссия потеряла в войне каждого третьего жителя? Если не считать погибших белорусов на фронтах в регулярной армии, то погиб, как минимум, каждый четвёртый мирный житель Белоруссии, то есть минимум полтора миллиона человек.

 Теперь задайте сами себе вопрос: а сколько неприятельских солдат было уничтожено партизанами Белоруссии за годы войны? Главный «партизан» Белоруссии Пантелеймон Пономаренко, тот самый, драпанувший по-тихому из Минска 24 июня 1941 года сначала в Витебск, оттуда – в Москву, где и стал главным партизаном, то есть начальником Центрального штаба партизанского движения на всей территории, занятой противником, оценивал потери немцев от действий партизан в Белоруссии в 300 тысяч человек. Не будем ему верить на слово. Существует объективный принцип завышения потерь противника, зависящий от многих обстоятельств, который присущ всем воюющим сторонам. Обстоятельства эти самые разные: от банальных приписок, добросовестных ошибок, здоровых фантазий до политического расчета с целью убедить своих граждан в успехах своей армии, вынужденно отступающей, но при этом наносящей врагу «громадные потери в живой силе и технике». Принято считать, что во время боевых действий потери в живой силе и технике противника завышаются в два, а то и в три раза. Мы будем снисходительны, и уменьшим цифру товарища Пономаренко в два раза и, таким образом, она превратится в 150 тысяч уничтоженных партизанами Белоруссии немецко-фашистских захватчиков.

 Теперь разделите 1,5 миллиона на 150 тысяч, и вы получите на одного уничтоженного партизанами фашиста 10 жизней мирных жителей. Эта цифра соотносится с немецкой установкой расстреливать 10 человек за одного убитого немца!

 Разумеется, далеко не все полтора миллиона человек были именно расстреляны фашистами за партизанские действия, помощь и связь с партизанами. Многие из мирного населения погибли от бомбёжек, артобстрелов, как немецких, так и, большей частью, советских, умерли от голода, от болезней, связанных с нечеловеческими условиями жизни в оккупации. Но соотношение-то – вот оно! И здесь есть над чем подумать, прежде чем упиваться «горящей землей под ногами оккупантов» в Белоруссии. Она-то горела, но каким бесценным топливом поддерживался этот пожар!

 Впрочем, жизнь человеческая в стране победившего социализма цены не имела.

 И, тем не менее, в умах и душах людей зрело убеждение о необходимости сопротивления. Так уж устроен человек: насилие, творимое советской властью даже в такой форме, которая выпала на долю Засожья, не могло долго восприниматься так, что оказывалось: при немцах жить стало лучше, чем при советской власти. Какая ни какая, но это была своя власть, привычная, с которой можно было и поспорить, хоть и загреметь потом на Соловки. А с этой и не поспоришь. Но время шло, и надо было что-то делать.

 И здесь следует остановиться на роли моего старшего брата Ивана в организации подполья в нашей деревне Кремянке.

 К концу сорок первого – в первой половине сорок второго в Кремянке и окрестных деревнях появилось довольно много мужчин, призывавшихся в РККА накануне войны, а также мобилизованные первым и вторым призывами, но попавшие в окружение и брошенные командирами на произвол судьбы; были отпущенные немцами из плена, были и бежавшие из плена. Среди них были и наши, кремянковские мужики, и залечившие раны в глухих лесных деревнях красноармейцы, чьи дома и семьи находились далеко на востоке. Были и такие, которые по разным причинам не были призваны ни в первый, ни во второй призыв. Созрела критическая, боеспособная масса мужчин, которая уже просто не могла не взяться за оружие. В сознании не только этих людей, но и их родных и близких, большинства жителей и Кремянки, и окрестных деревень накопилась энергия протеста, возродился дух предков – дух сопротивления нашествию.

 Убежденный комсомолец Иван собрал сначала группу из пяти своих сверстников-комсомольцев, а затем вовлёк в эту опасную подпольную организацию наших тогда еще совсем молодых тёток, а с течением времени и тех самых односельчан-мужчин, которые либо попали в безнадёжное окружение, либо бежали из плена. Среди них были такие молодые ребята, уже побывавшие в огне войны и ужасе плена, как старший лейтенант Степан Студнев и старший сержант Иван Евсеенко – наш дядя по матери, а также сержант Василий Савельев, рядовой Семён Ходунов и другие. Интересно, что сержант Василий Савельев был участником финской войны, вернулся с неё с орденом Красной Звезды, в начале войны с Германией был опять мобилизован на фронт, попал в окружение и в конце сорок первого пробрался в деревню.

 Комсомолец Иван был из тех, о ком после войны создавали мифы, но мифы вполне заслуженные. Его порой безрассудные поступки из тех, что после войны были огероизированы, могли привести к печальным последствиям, как для него самого, так и для всего нашего рода, который он втянул в подпольные игры со смертью. Конечно, в лихие времена должны быть такие вот «застрельщики», будоражащие и подвигающие людей на поступки, позволяющие в будущем не стыдиться за себя.

 Но если в такой роли выступает вчерашний школьник, воспитанный на коммунистических лозунгах, то это очень опасно не только для него самого, но и для жизни многих окружающих его людей. Наличие рядом людей, умудрённых жизненным опытом, в том числе и военным, таких, как наш отец, дядя Иван, да и дед Иван, ориентировало комсомольца Ивана со временем на правильные и осторожные действия, но мальчишества, подкрепленного ложным комсомольско-коммунистическим пафосом, в нём было много. Этот пафос, присущий его поколению, погубил многие молодые жизни в бессмысленных «подвигах», воспетых позже коммунистической пропагандой. Забегая вперёд, скажу, что и Ивану это едва не стоило жизни, когда в одну из вылазок на «варшавку» в конце мая сорок третьего, уже в составе группы партизанского отряда, он с криком «За Родину, за Сталина!» бросился вперёд на охрану небольшого моста, рассчитывая таким образом захватить мост силами диверсионной группы и взорвать его, так как подобраться незаметно к нему не было никакой возможности.

 Немцы открыли пулеметный огонь, и одна из пуль попала ему в голову. Партизаны успели подхватить сражённого фашистской пулей молодого бойца и скрыться с ним в лесу. Его тащили за ноги волоком, бегом. Голова его колотилась обо всё, что попадалось ей на пути, партизаны не обращали на это внимания, так как думали, что боец молодой не просто поник головой – она у него напрочь пробита, и он мёртв. Немцы не стали их преследовать, партизаны притащили бездыханное тело юноши в деревню Клины, переправившись каким-то образом через Сож. В Клинах тётя Анисья, мамина сестра, приняла тело племянника, с трудом узнав его окровавленную, грязную голову. Рана на голове была забита землей и мхом, что, видимо, спасло голову от потери её содержимого по дороге с боевого задания. Иван не коченел, значит, был жив. В деревне был лекарь, который лечил скорее животных, чем людей, потому как лечил преимущественно карболкой. Ею он и замазал после промывки рану на голове у Ивана. Никакого другого лечения, кроме обработки карболкой, Иван не получал.

 Рана гноилась, долго не заживала, но карболка и настой какой-то травы, которой промывалась рана, всё же делали свое дело, и рана постепенно затягивалась. Молодой организм был крепок необычайно. Через пару недель его уже смогли перевезти в другую, более безопасную деревню, Немильну – о ней я уже упоминал. Там немцев ни разу не было, надеялись, что и не будет. Удивительно, но Иван быстро начал поправляться и в конце лета уже, как ни в чём ни бывало, рвался опять «на бой кровавый, святой и правый». Да кто ж его теперь пустит! Но в отряде был за ротного политрука вплоть до освобождения Кремянки 1 октября 1943 года.

 Мне сейчас легко иронизировать в адрес своего брата, ему скоро уже 85 стукнет. Он хоть и сдал, но всё ещё обливается по утрам холодной водой. Ранение на нем, конечно, сказалось, но его оптимистическая натура сохранила в нем способность с юмором воспринимать жизненные перипетии, и он прожил жизнь типичного холостяка, преданного раз и навсегда избранному делу – борьбе за освобождение человечества. Он дитя своего времени, выросший на призывах ЦК ВКП(б), прошедший все возможные коммунистические университеты, и всю жизнь искренне старавшийся воплотить «заветы Ленина в жизнь». Коммунистической партии не изменил по сей день и считает, что светлое будущее человечества связано именно с коммунизмом\*).

 \*)Увы, через месяц после своего 85-летия Иван Александрович умер во сне...

 Не знаю, как бы поступал я, будучи на его месте, но наверно, большой разницы между нами не было бы. По крайней мере, в то, военное время.

 А пока, летом 1942 года, в составе Кремянковской подпольной группы из бывших воинов-красноармейцев была создана боевая диверсионная группа, которая выходила на диверсии на участки «варшавки» Довск–Пропойск и Пропойск–Чериков. Не могу сказать, насколько эффективны были эти диверсии по выводу из строя инженерных сооружений и транспортных средств противника, но такие вылазки были. Никто свыше не ставил этой группе конкретных задач по какому-то определённому плану – действовали самостоятельно, по мере возможностей и наличия подрывных средств. Возможностей подорвать мост, как наиболее уязвимое инженерное сооружение на таком стратегически важном шоссе, каким была «варшавка», было очень немного. Немцы, во-первых, усиленно охраняли мосты и также более-менее уязвимые участки дороги, а во-вторых, лес на 100 – 200 метров по обе стороны дороги был спилен, и подобраться к полотну дороги можно было только ночью, если повезёт. Удача иногда улыбалась подпольщикам: удавалось подрывать и грузовики, и телефонные опоры воздушных линий связи, и скоро немцы, почувствовав результаты вылазок наших подпольщиков, усилили охрану объектов.

 Надо было укрупнять силы и подпольщикам.

 К весне 1943 года стратегическая инициатива начала переходить к Красной армии. Курская битва летом сорок третьего утвердила свершившийся факт удержания стратегической инициативы советской стороной. В воздухе, что называется, носился дух победы, энергия победы, которая проникала и за линию фронта и вселялась в души и сердца людей, оставленных на захваченной врагом территории. Конечно, этим воспользовалось и руководство советских вооружённых сил. В тыл целенаправленно начали забрасываться группы из подготовленных людей со всеми полномочиями по организации партизанских отрядов. Эмиссары НКВД и Центрального штаба партизанского движения делали своё дело, и в марте месяце 1943 года был организован партизанский отряд номер 43 на базе кремянковской подпольной группы. Тогда же в отряд вступили и бывшие окруженцы, оставшиеся на хуторе Силино Поле, что на север от Кремянки, за Сожем, а в марте сорок третьего с помощью всё того же неугомонного комсомольца Ивана переправившиеся в Кремянку. Это был небольшой, но хорошо вооружённый и боеспособный отряд, бойцы которого практически все уже воевали и были биты.

 А битый воин – это даже больше, чем два не битых партизана.

 И пусть не так уж много громких боевых дел на счету этого отряда, но организация в нём была вполне армейской; на рожон бездумно не лезли – делали, что могли в таких условиях, и конечно, внесли посильный вклад, как в копилку Победы, так и на её жертвенный алтарь: уроженец Кремянки старший лейтенант Степан Студнев погиб 31 мая 1943 года в бою за освобождение узников Пропойской тюрьмы. Сорока трёх узников освободили, переправили за Сож в партизанский лагерь, но заплатили за это несколькими жизнями партизан.

 \*\*\*

 Перечитываю изданную в 1999 году книгу из серии «Память» – Историко-документальную хронику Славгородского района. Не буду касаться «преданий старины глубокой», присутствующей в книге, так же, как и послереволюционного и довоенного периодов. Оставим их на совести историков. Хотя мудрым историкам еще не скоро представится возможность объективно описать и «старину глубокую» и более близкие исторические периоды. Я же выскажу свое восприятие описанного в книге периода 1941–1945 г.г. в той части, что касается подпольного, а затем и партизанского движения на Пропойщине (ударение на «и») и, в частности, в моей деревне.

 Но сначала несколько слов общей оценки Историко-документальной хроники.

 Конечно же, нельзя пройти мимо такого события – издания серии «Память», которой охватываются исторические хроники всех районов Беларуси от древних времён и до наших дней. Безусловно, полную историческую хронику даже отдельно взятого района невозможно отразить в одной книге. По-видимому, в такого рода изданиях необходимо отражать наиболее характерные и значимые события, а также людей, принимавших участие в этих событиях, выстроив на хронологической канве и нравственно-этическую картину жизни района на примерах его лучших представителей. С этой точки зрения книга в значительной степени оправдывает своё назначение.

 Больше всего в книге уделено внимания войне 1941-1945 годов, и это легко объяснимо. Много документов, имён, разумеется, не всех, кто достоин был быть внесен в эту книгу памяти, – это благородное дело еще долго будет продолжаться. Жаль, что так поздно спохватились на такое доброе дело. Основная масса участников войны, тех, чья память хранила столько и такое, что, наверно, понадобился бы не один том Историко-документальной хроники района, уже ушла из жизни ко времени составления хроник.

 Немногие из воевавших на фронте ли, в партизанах ли, и живущих ныне, уже в преклонном возрасте. На их память, точнее, достоверную память, надеяться уже нельзя. Во-первых, по причине их преклонного возраста, когда память уже подводит, а во-вторых, – и это главное! – за всю свою жизнь они столько наслышались о том, как замечательно они воевали, какие подвиги совершали, что искренно поверили в то, что так и было с ними на самом деле. На протяжении многих десятилетий проводились встречи ветеранов войны с молодыми поколениями – пионерами, школьниками, комсомольцами, на которых совершенствовались мифы о войне советского народа с немецким фашизмом, о массовом героизме, и о личном героизме рассказчиков, который, может быть, и не выпячивался ими, но само собой подразумевался, и, в конце концов, в который рассказчики верили и сами. Поэтому, когда в книге написано: «...устраивали диверсии на железной дороге...», то это не значит, что результатом этих диверсий были летящие под откос немецкие эшелоны с живой силой и техникой; когда рассказчик описывает, как партизаны ставили мины на стратегически важном шоссе, то это вовсе не означало, что на мине не могла подорваться повозка местного крестьянина, везущего, к примеру, в Пропойск зерно на мельницу; когда автор воспоминаний говорит: «...громили полицейские гарнизоны в деревнях», то, скорее всего, это была партизанская акция по устранению зарвавшихся одного-двух местных полицейских, если, конечно, партизанам удавалось их поймать. Конечно, были и взорванные немецкие эшелоны, могла, конечно, подорваться и вражеская автомашина на шоссе, были и разгромленные не только полицейские «гарнизоны», но и вполне немецкие, хорошо вооружённые гарнизоны. Только это было не столь массово, как представляется в мифах о войне. То есть я хочу сказать, что в определённых обстоятельствах возникает такое информационное поле, попав в которое, человек искренно верит в то, что «это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моём».

 Вот вам пример.

 В 1972 году мне как-то повстречался уже довольно пожилой человек, но сохранивший приметы былого «совпартработника» районного масштаба, оставшийся без семьи и жилья, – не сложилась жизнь в семье дочери: выгнала, после того, как продал свой дом после смерти жены и переехал к ней, – и скитавшийся по частному жилому сектору Минска в поисках такого же одиночества противоположного пола. Кроме того, что он был на пенсии, так он состоял в одном из райкомов партии города Минска нештатным лектором и выступал перед пионерами и школьниками с рассказами о комсомоле, партии и Ленине, которого он якобы видел своими глазами. В общем, ценный для партии кадр. Я много раз беседовал с ним; беседы происходили в доме старушки, у которой я снимал комнату. Заслуженного пенсионера познакомил кто-то с жизнерадостной бабушкой, и он не прочь был остановить на ней свой выбор. Он действительно был заслуженный, поскольку пенсия у него была персональная, то есть получал он больше, чем максимально возможные в ту пору 132 рубля. Шуструю и весьма сообразительную старушку его пенсия вполне устраивала, но ей хотелось впридачу ещё чего-то большего, – несмотря на её шестьдесят семь, она была до мозга костей женщиной, – этакого мужского чего-то. Но мой знакомец мог утолить её ожидания только вербально, в основном, на тему борьбы коммунистической партии и советской власти за народное счастье в период между восьмым и двадцать четвертым съездами коммунистической партии, современником которых он был. Надо сказать, собеседником он был очень компетентным, а во мне он нашел благодарного слушателя в отличие от потенциальной невесты. Но таковым я оставался до того момента, когда он открыл мне свою особо хранимую в сердце тайну, предварительно убедившись, что очень доверяет мне, и эту его тайну я тоже буду хранить в своём сердце. Тайна сия заключалась в том, что мой приятный собеседник, оказывается, был тем самым единственным солдатом-пулемётчиком из кремлевского пулеметного отряда, помогавшим Владимиру Ильичу Ленину переносить с места на место брёвна на коммунистическом субботнике в мае 1919 года в Кремле! Ко времени наших бесед по советской стране уже бродили толпы престарелых коммунистов, на пару с Лениным таскавшими брёвна на знаменитом субботнике в Кремле, и вдохновенно рассказывавшие об этом подрастающему поколению.

 Вот поэтому я и думаю, что и оценка войны и, в частности, партизанского движения в районе, могла бы быть не такой, как показана она в книге «Память».

 Но время для этого ещё не пришло. А, скорее всего, безвозвратно упущено.

 \*\*\*

 Завершая оккупационный период жизни кремянцев, особо хочу выделить тот факт, что за всё это время в деревне не было ни одного случая доноса на кого бы то ни было, хотя та же деятельность комсомольцев ни для кого не была секретом, да и то, что комсомольцы и коммунисты в оккупацию спокойно жили в деревне – факт, не вписывающийся в общепринятую после войны картину жизни белорусского народа под игом оккупантов. Странно, но в засожских деревнях, более отдаленных от Пропойска, чем Кремянка, были факты доноса на односельчан с последующими расстрелами, как доносимых, так и доносивших. «Пропойские немцы» не любили доносчиков, и если не первый, то второй «кнут» им был обеспечен.

 Кремянка была под носом у немцев, может, поэтому им труднее было заметить что-то неладное в ней, ну а местным «коллаборационистам» не к лицу была подлость, хоть поиздеваться и могли. К примеру, в адрес моего отца, когда он уже пришел в Кремянку из окружения, раздавались злорадные упреки из стана одного из добровольцев-полицейских, вроде: «А-а-а, коммунисты, дождались, и на вас нашлась сила!». Но дальше слов дело так и не пошло. Может, оттого, что мать моя в ответ на прямую речь отца главного в деревне полицая принародно ответила, как отрезала: «Да, мы коммунисты, а вы – фашисты!». И фашисты заткнулись. Это очень яркий эпизод, характеризующий кремянцев, как сообщество людей с нравственными принципами, включающими в себя и такие, как: «сами разберёмся», «из избы сор не выносить» и им подобными жизненными установками. Даже в таких условиях, когда, казалось бы, можно было развернуться некоторым сумрачным душам, всё же сдерживал их тот самый нравственный уровень жителей-кремянцев, о котором я уже рассказывал. Ну, вспомним ещё раз случай с этим же полицаем, чей отец только что злорадствовал в адрес моего отца, – тем самым, которого моя мать едва не зарубила топором, когда он забирал её шубу. Что стоило ему, «при исполнении», застрелить её? А вот не посмел же!

 После войны, когда, бывало, случались какие размолвки между сельчанами, то никогда не пускались в ход убийственные аргументы типа: «а вот ты в войну...» или «да твои родственники в войну...». Даже тех, кто себя и скомпрометировал, особенно не допекали. Хотя, конечно же, большой любви к ним не испытывали.

 Удивительно еще и то, что в послевоенных разговорах на тему возмездия за перенесённые моральные, в основном, страдания кремянцев от деятельности некоторых «коллаборационистов» чаще всего звучал такой мотив: «Ну, чего уж теперь, война-то кончилась, да и никого они не убили, так только – пугали». И не свидетельствовали против тех, кто, действительно, по дурости подался в полицаи. Во всяком случае, это были не те, пышущие злобной ненавистью к советской власти и всему советскому, полицаи, как было принято изображать в советской литературе и советском кино. Ну что делать, если в Кремянке НЕ любили советскую власть так, как было принято изображать в художественной литературе, в кино, и средствах массовой информации!

**Глава пятая**

**ОСВОБОЖДЕНИЕ**

 К концу июля сорок третьего становилось всё явственней приближение фронта к берегам Сожа, но уже с востока. Всё чаще над деревней пролетали самолеты на восток. Кремянцы уже научились определять по направлению звука и его тону, чьи самолеты летят – летали преимущественно немецкие. Однажды, в конце июля, неожиданно над деревней появился немецкий «Фокке-Вульф» – это уже потом, после войны, я узнал, что это был «Фоке-Вульф - 189», более известный в войсках, как «рама», а в кремянковском народе именуемый «дряба» – на очень низкой высоте, так что никто не успел и опомниться, как «дряба» зашла на конец деревни и с рёвом понеслась вдоль неё над домами, поливая их зажигательными пулями из крупнокалиберных пулемётов. Дома начали вспыхивать один за другим. Пока горели крыши, люди успевали что-то спасти из небогатого своего имущества. Но не все спаслись сами: два человека были убиты сброшенной бомбой, женщина и девушка – связная партизанского отряда. Это были следующие две, но не последние жертвы войны в Кремянке среди мирных жителей.

 Мне в это время было уже почти три с половиной года, и я хорошо помню и самолёт, и пылающую деревню и, что интересно, ожидание, когда же, наконец, загорится наш дом, который был построен вместо сгоревшего в 1941 году! Когда «дряба» начала жечь дома, мы, дети, шесть человек в возрасте от трёх до семи лет – по двое из трёх семей одного рода – прятались в окопе, вырытом в нашем саду, который сразу же за сараем спускался вниз по косогору. Вход в окоп был прикрыт крышкой от ящика из-под снарядов. Как только самолёт приближался, мы ныряли в окоп и закрывались зеленой крышкой – она хорошо была видна на фоне желтого песчаного бугра над окопом. Самолет удалялся, и мы выскакивали из окопа и бежали на улицу смотреть, чей дом подожгла на этот раз «дряба», но наш всё стоял. Так повторялось несколько раз, пока нас не заметил лётчик этой чёртовой «дрябы». И едва мы успели нырнуть в окоп, как в крышку врезалась фашистская пуля. Крышка не загорелась, самолет больше не летал – это он, гад, напоследок по нам саданул, – мы помертвели и больше не вылезали из окопа, пока из леса не прибежали партизаны, в том числе мои отец и дядя, не чаявшие уже увидеть нас живыми, и не вытащили нас из спасительного убежища. Дом наш почему-то остался целёхоньким, хотя стоял в одном ряду с соседскими, что сгорели, но на брёвнах его стен остались следы от попавших в него пуль. Вот и думай: то ли дважды не горит на том же месте, то ли пули зажигательные были с браком (песок вместо фосфора – рот фронт, камрад!), но нам повезло. Повезло и бабушке – я уже писал, что её дом и несколько других домов стояли в глубине от общей, красной, как говорят архитекторы, линии застройки и «дряба» не стала делать специальный заход на них. Но дом деда, стоявший наискосок от нашего в каких-то 20 метрах, сгорел. Помню огромную кучу раскалённых углей, не подпускавших к себе обжигающим жаром. Впрочем, было несколько несгоревших домов, как и наш, стоявших на одной линии. А может, самолет был какой-то дурацкий, недаром его так не любили в войсках. Немцы использовали его больше как самолёт-разведчик, который мог часами висеть над позициями советских войск, фотографируя их, а на прощанье мог по-тихому сбросить парочку бомб, которых никак не ожидали наши бойцы, но попадали они в самые уязвимые места наших позиций. А вскоре после «рамы» налетали «Юнкерсы», и начиналась настоящая, адовая бомбежка. Так рассказывали наши деревенские фронтовики.

 Почему так поступили немцы в отношении Кремянки, чем она им приглянулась – не знаю, но то, что самолёт был послан с Быховского аэродрома – а самолёты, поднимавшиеся с Быховского аэродрома на восток, почти всегда низко и медленно пролетали над нашей деревней – специально сжечь Кремянку, сомнения не вызывает. Других деревень Засожья немцы не стали жечь: то ли зажигательных патронов не хватило, то ли Курская битва требовала всё больше самолётов – она как раз в самом разгаре была. Впрочем, говорили, что это в отместку за то, что партизаны Засожья к июлю сорок третьего года уже насолили немцам, вот и пал выбор на Кремянку в наказание. Вполне в фашистском духе.

 Для кремянцев же начались, пожалуй, самые трудные дни войны. Необходимо было искать какое-то пристанище, разгребать пожарища в поисках чудом уцелевшего домашнего скарба, да и вообще, решать вопрос: оставаться ли в деревне или податься в лес. Посовещавшись, решили копать землянки в поле за деревней. И хотя до леса оставалось не так уж и много, почему-то решили «строиться» в поле. Так и выросли, точнее, вырылись, землянки на давнишнем загуменьи – стоял когда-то ряд гумен параллельно сараям, в ста метрах от них. Уязвимость такого поселения была очевидна, зато легко было наблюдать из окопов, что же делается в деревне и, в частности, на собственных подворьях, и сгоревших и уцелевших, ведь в поле перебрались все: а вдруг опять прилетит фашист.

 Сидеть без дела не в характере кремянцев. Самолёты больше не прилетали бомбить, но часто пролетали очень низко над Кремянкой на восток, тяжело нагруженные бомбами. Обратно летело меньше. Оно и понятно: господство в воздухе завоевывали советские лётчики. Кремянцы начали строить времянки, кто мог. Но основное мужское население было на фронте. Да и из партизан не уйдешь строить себе избушку – сочтут дезертиром. Строили старики, кто мог, конечно, держать топор в руках.

 Ближе к осени стало ясно, что вот-вот придут красные – так звали в деревне бойцов Красной армии. Не наши – красные! Мне кажется, это кое о чём говорит. Народ не принял красных в качестве «своих» еще со времён гражданской войны, равно как и белых. Несмотря на то, что многие деревенские парни служили в армии, отдельные стали даже офицерами, само понятие силы, как «красные», осталось враждебно сознанию кремянцев. То есть армия была своя, вроде бы даже и защитница, но ведь бросившая же их беззащитными в сорок первом, потому и «красная»! Вот такие парадоксы сознания кремянцев. Вспомните: «Ну, что, коммунисты!..» – и ... ничего!

 Так вот, в сентябре уже явственно слышалось какое-то ленивое глухое урчание на востоке, с каждой неделей становившееся всё отчётливее. В небе буквально с утра, уже с востока, проносились стаи краснозвёздных «ястребков», как называли их кремянцы, узнавая по характерному, радостно звенящему звуку их моторов. Откуда-то с высока иногда доносилось стрекотание швейных машинок – у тёти Ани была такая, «Зингер» называлась, она её не бросила даже, когда из Белостока почти три месяца добиралась с двумя детками до Кремянки в сорок первом, такая это была ценная вещь. Воздушные бои приближались к Кремянке.

 Жить в деревне кремянцам стало страшно – очень уж открытое место.

 Поэтому из окопов, что были вырыты на загуменьи, перебрались наши жители в довольно глухое урочище километрах в трёх от деревни и именуемое Хрылы, где и вырыли благоустроенные, по сравнению с предыдущими, землянки, благо леса вокруг хватало. Само же урочище Хрылы представляло собой довольно обширный, вытянувшийся открытый участок среди соснового леса, но расположенный в ложбине. И до войны, и в войну, и после неё – это было колхозное поле, одно из трёх свободных от леса относительно больших участков земель, использовавшихся колхозом как пахотные. Поле в Хрылах было обрамлено мелким лиственным перелеском, а кое-где и кустарником вперемежку с небольшими ложка;ми, которые выкашивали кремянцы, кто пошустрее, дважды: ранним летом – благоухающее лесное разноцветье, а осенью – густую зелень отавы. За перелесками и ложка;ми начинался сначала густой смешанный, а по мере возвышения местности – сосновый лес. Все эти перелески и леса по осени были наполнены громадным количеством грибов, в них можно было найти все виды грибов, произраставших в белорусских лесах. Глубокой осенью появлялись опята и рыжики, за которыми – это я помню уже после войны – ездили на телегах, снабжёнными большими, плетенными из лозы кошарами. Привозили полные, с верхом.

 Вот в таком месте нам предстояло пережить обратное прохождение фронта, теперь уже с востока на запад.

 После Курской битвы Красная армия, развивая успех, два месяца гнала немцев на запад и 1 октября 1943 года части 50-й армии Центрального фронта были уже в Кремянке. И опять фронт остановился на той же линии, что и в начале августа 1941 года – по левому берегу Сожа и Прони. На плечах отступавших немецких войск ворваться в Пропойск не удалось: слишком быстрое было отступление немцев, но город уже был подготовлен к обороне. Армии пришлось остановиться, подтянуть тылы, собраться с силами.

 Стало холодать, и кремянцы из Хрылов потянулись к жилью, кто куда. Некоторые вернулись в свои уцелевшие дома. Наша семья перебралась в деревню Старинка, там жили родственники бабушки – матери отца, где мы и нашли приют. Старинка совершенно не пострадала за время войны, все дома были целы и многих кремянцев приютили сердобольные старинчане.

 Опять в нашем доме, построенном вместо сгоревшего в сорок первом, разместился командный пункт одной из частей 50-й армии. Леса, примыкавшие к деревне, на этот раз кишели техникой: танки, артиллерийские орудия, автомашины – сплошь американские «студебеккеры», и даже с «катюшами», установленными на их шасси – всё это надежно укрывалось сплошными кронами сосен. Этот участок фронта, ставший в октябре сорок третьего уже Белорусским, пришелся как раз напротив Пропойска. Чтобы взять Пропойск в лоб, нечего было и думать. Местность, как я уже описывал её, здесь не для ведения активных боевых действий, тем более, осенью – полное бездорожье. Поэтому левый фланг 50-й армии начал во второй половине октября охват Пропойска с северо-востока, а южная соседка 50-й армии, 3-я, своим правым флангом начала боевые действия юго-восточнее Пропойска во второй половине ноября, когда Сож окончательно замёрз, и можно было по льду легко переправиться на правый берег.

 Из исторических источников известно, что Гитлер большое значение придавал в конце сорок третьего года линии обороны немецких войск на Восточном фронте, в которую входил участок река Проня – река Сож, и опорному пункту Пропойск на этой линии. Интересный факт: командир немецкой 267-й пехотной дивизии генерал Шрёдер дал Гитлеру слово рыцаря зимовать в Пропойске, а весной сорок четвертого перейти в наступление. Выгодное местоположение Пропойска и мощные инженерно-технические оборонительные сооружения на большую глубину на север, запад и юг от Пропойска придавали уверенности гитлеровскому генералу. Я уже рассказывал в самой первой главе, как был освобождён Пропойск. Бои в этих местах были кровопролитнейшими. Но не могу не сказать о том, что щедрое кровопролитие очень часто, если не всегда, в конце сорок третьего было результатом непродуманного наступления, как командования армии, так и, по цепочке, во всех звеньях командных действий, вплоть до ротных атак. Желание достичь успеха любой ценой владело всеми: от командующего армией до командира роты. Во что бы то ни стало преодолеть междуречье, дойти до Днепра и форсировать его зимой – такая была поставлена задача войскам Верховным Главнокомандованием. Стратегически это, наверно, было правильно.

 Весной, да и летом, в поймах Сожа и Днепра не разгуляешься. Желание продвинуться как можно дальше на запад после Курской битвы было столь огромным, что казалось, ещё немного, ещё чуть-чуть и покатится враг без оглядки до Днепра, а там, глядишь и ... И стелились солдатские тела снопами на полях за Пропойском. Пятидесятая армия так и не смогла достичь берегов Днепра. Остановилась на линии по шоссе Могилев – Довск, понеся очень большие потери. Генерал Шрёдер закрепился на берегах Днепра, но летом 1944 года в ходе операции по освобождению Беларуси 267-я пехотная дивизия вермахта была окружена и разбита, а сам генерал-лейтенант Отто Шрёдер был взят в плен. Вот чем закончилось слово рыцаря. Нет, чтоб застрелиться, так предпочёл позорный плен, «рыцарь».

 Когда я уже написал эти строчки о боях за Пропойск, мне пришло письмо по электронной почте из Соединенных Штатов Америки. Там сейчас много моих и земляков-пропойщан, и одноклассников, и однокурсников по институту – мы нашлись благодаря сайту «Одноклассники» в Интернете. Мой одноклассник, с которым мы уже установили устойчивую связь, прислал мне свои отрывочные воспоминания о боях за освобождение Пропойска, которые буквально совпадали с моими. В них были такие строчки: «В соответствии с проведенной Гомельско-Речицкой наступательной операцией 10-30 ноября 1943 года войсками 3-й и 50-й армий был освобожден Пропойск. Потери были огромные.

 Наши войска охватывали Пропойск с севера через деревню Рабовичи - впереди открытый луг и река Проня; с юга через Рудню - впереди река Сож и нижний луг. Географически у немцев огромное преимущество, впереди всё заминировано и проволочные заграждения. Эти мотки из проволоки я помню, их затем все использовали сооружать заборы. Потери у русских были огромные, они смогли ещё дойти до шоссе Могилев – Гомель. И фронт стал на 7 месяцев.

 Пропойск стал прифронтовым городом. Начались бомбёжки немцами по скоплению наших войск. Наша сохранившаяся банька, в которой мы жили, стояла в углу между еврейским и русским кладбищами. Там прятались в кустах наши орудия, и немцы в первую очередь летели бомбить их позиции. Ночью они сбрасывали осветительные ракеты и начинали бомбить. Мы вначале пытались убегать из баньки, но затем перестали. Прямого попадания не произошло – Бог миловал. Только часто слышны были удары осколков по стене. После войны я обратил внимание на стены: они все были поковыряны осколками... Так мы поневоле стали детьми войны».

 Я не мог не вставить эти строчки сюда. Они – результат пережитых в детстве и осмысленных с возрастом событий, одинаково выпавших на долю мою и моих сверстников. Как видите, оценка этих событий у нас совпадает. Пётр – так зовут моего одноклассника – родился и жил в Пропойске. По его рассказам, когда немецкие войска начали приближаться к Пропойску, его семья переправилась через Сож – тогда ещё действовала паромная переправа в Старике – и двинулась на подводе в поисках пристанища в Засожье. Они остановились сначала в деревне Клины, затем добрались до тихой Немильны, где нашли приют на какое-то время. Когда фронт покатился на восток, они вернулись домой в Пропойск, но дом их сгорел, они переоборудовали под жильё баню, где жили больше двух лет и дождались освобождения. Вот как рассказывает об этом эпизоде войны сам Пётр.

 «Освобождение! Прошло ведь 65 лет, а всё так помнится, особенно экстремальные случаи. При подходе советских войск к Пропойску немцы приказали гражданскому населению покинуть Пропойск. Дедушка (по отцу) смог заиметь полуслепую лошадь, и мы с небольшими пожитками покинули Пропойск. Нас с матерью было пять душ, дедушка с женой и его дочь с двумя детьми – всего десять человек. Дедушке тогда было 65 лет, и он был главным. Уехали из Пропойска по направлению на запад. Остановились в деревне Большая Зимница, там кто-то сжалился принять беженцев. Затем были в деревнях Малая Зимница и Добрый Дуб. В общем, там, где кто сжалится над такими, как мы.

 Мы были в беженцах, как цыгане: то в Большой, то в Малой Зимницах. Как-то мы в очередной раз переезжали на лошади по просёлочной дороге, кругом слышна канонада. Взрослые заволновались: куда же ехать, чтобы уйти от неё. Но уйти мы уже никуда не могли - снаряды начали рваться уже рядом. Поднялся шум и крик женщин. Одна кричит, что нужно ехать на деревню Добрый Дуб, другие - в обратную сторону. Тогда дедушка принял верное решение – бросить лошадь на дороге и соскочить вниз в огромную воронку. В этой воронке нас оказалось 10 душ. Всё кругом грохотало. И вдруг женщины начали кричать и кинулись к дедушке. Оказалось, что осколок от взорвавшегося рядом снаряда, падая вниз, попал дедушке на колено и разрубил его. Осколок подобрали, он ещё был горячий, а колено перевязали. Три семьи отделались только большим испугом. Видимо, мы в тот момент оказались между двух огней. Затем канонада начала удаляться, и мы выползли из воронки. К нашему удивлению, лошадь не сдвинулась с того места, где её оставили. Видимо, она привыкла к войне. После этого мы поехали в Пропойск. По этой же дороге потянулись крытые армейские повозки с ранеными – кругом стоны и кровь... Не дай Бог войны нашим детям и внукам».

 Замечу, что, пустившись из Пропойска в беженцы, попала семья Пети «из огня да в полымя». Именно в этих местах, юго-западнее Пропойска, под поселком Журавичи, шли самые кровопролитные бои в ноябре сорок третьего года и где полегли многие мои земляки. В самом же Пропойске таких боёв не было – немцы покинули городок под угрозой окружения его советскими войсками.

 После таких совершенно фантастических передряг семья моего будущего одноклассника вновь вернулась в свою баньку в Пропойск, где пережила ещё и ужасы прифронтового города.

 Подобные истории могла бы рассказать едва ли не каждая пропойщанская семья, особенно дети, даже если им в ту пору было около четырёх лет – детское сознание такие события запечатлевает навечно. Меня же в этой истории моего одноклассника поразило то, что немцы приказали населению покинуть Пропойск перед началом его обороны. Что это – забота о мирных жителях местечка? Или жители могли как-то помешать обороне важного стратегического пункта?

 Когда освободили Пропойщанское Засожье, то практически всех партизан тут же призвали в армию – они пополнили части 50-й армии. На этот раз брали всех, кого не успели мобилизовать в сорок первом, а также подросших за эти два года до 18 лет парней. Из призванных в октябре сорок третьего кремянцев четырнадцать человек полегли в боях недалеко от дома родного – северо-западнее и западнее Пропойска в течение ноября-декабря этого же года. Такая же судьба постигла и многих призванных мужчин из других деревень Засожья: Старинки, Добрянки, Немильны, Сычина, и деревень правобережья Сожа, освобожденных в октябре-ноябре сорок третьего до начала боев западнее Пропойска. Совершенно необученных солдат бросали в бой, как в мясорубку. По рассказам очевидцев этих боёв, снег на полях был сплошь красным от крови. Не щадили советские командармы-генералы своих солдат. Ни в роковом сорок первом, ни в почти радостном сорок третьем. Воевали большой кровью.

 И что интересно, 50-й армией, так щедро расходовавшей свой личный, человеческий, состав, командовал небезызвестный генерал Болдин – человек, занимавший в первые дни войны пост первого заместителя командующего Западным фронтом. Он стал известен в начале войны тем, что возглавлял так называемую ударную конно-механизированную группу (КМГ), состоявшую из двух танковых и одного кавалерийского корпуса и действовавшую на гродненском направлении Западного фронта. КМГ насчитывала в своем составе 1597 танков и примерно сто тысяч человек личного состава\*). Провоевала эта страшная сила под руководством генерала Болдина так, что: «На пятые сутки войны... войска... разрозненными группами разбрелись по лесам»\*\*). Почему-то Сталин его не расстрелял вместе с командующим фронтом генералом Павловым и пятью другими генералами. И не застрелился Болдин, как это, говорят, сделал командующий Военно-воздушными силами Западного фронта, разгромленных, точнее, сожжённых на аэродромах в первые два дня войны.

 \*)"1941 год - уроки и выводы". М.; Воениздат, 1992.

 \*\*)Болдин И.В. Страницы жизни. М.; Воениздат, 1961.

 Сталин назначил вышедшего из окружения с одной из «разрозненных групп» генерала Болдина командующим сначала 19-й, а затем в ноябре того же, 41-го года, – 50-й армией. Командующего этой армией в сражениях под Москвой в 1941-1942 г.г. неоднократно «отмечал» в своих приказах Г.К.Жуков за «...совершенно недопустимое отношение к сбережению личного состава»\*\*\*), а также указывал лично генералу на недопустимость бросания танков в бой «без подавления системы огня противника» – Жуков считал это авантюрой. Но «сталинские генералы», – а такими были малообразованные (2 класса церковно-приходской школы!), но преданные лично вождю высшие командиры, – любой ценой («мы за ценой не постоим!») стремились выполнить провозглашённую еще в первые дни войны главную установку вождя: атаками и контратаками разбить наголову противника! И не думали о «сбережении личного состава».

 \*\*\*)Г.К.Жуков в битве под Москвой. Сборник документов. М.; Мосгорархив, 1994.

 Особенно старались такие генералы отличиться во время наступления, последовавшего за Курской битвой. Конечно, они не могли ослушаться директивы Верховного Главнокомандующего: дойти осенью сорок третьего года до берегов Днепра и, более того, не дать закрепиться противнику на этом мощном водном рубеже. Обескровленные армии пополнялись призывниками с освобождённых территорий и командующие армиями не очень-то церемонились с новобранцами, посылая их совершенно необученными, как и в ноябре сорок первого, буквально на убой. И опять у генерала Болдина были большие потери, намного большие по сравнению с той же армией Горбатова, соседкой 50-й армии слева. А ведь 3-я армия генерала Горбатова сумела-таки достичь Днепра в ноябре месяце, заслужив похвалу Ставки и Командующего 1-м Белорусским фронтом Рокоссовского!

 Помню день, когда стало известно о гибели брата матери – дяди Ивана. Мы к этому времени, а было начало декабря, уже вернулись в Кремянку из Старинки, где, как потом говорили, были в беженцах. Нет, не «похоронкой» пришла эта страшная весть о гибели двадцатичетырёхлетнего молодого и красивого, только весной этого же, сорок третьего года, на «красную горку», женившегося человека. Весть эту принесли его однополчане, те самые вчерашние партизаны, которых месяца полтора назад призвали вместе с дядей Иваном в армию, и дравшиеся там же, под деревней Журавичи; их, раненных, перевозили через деревню в медсанбат – он располагался в лесу юго-восточнее Кремянки. Наша семья, как и почти все кремянцы, уже вернулись в свою деревню, и жили, кто в уцелевших домах, кто в землянках. Был солнечный безоблачный день (как впоследствии выяснилось, 1 декабря 1943 года). А накануне бушевала вьюга – всё было, как у Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась ...». Стояла тишина, будто никакой войны и не было. Журавичи, где шли жестокие бои, находились на расстоянии 35 километров от Кремянки и все предыдущие дни конца ноября мы слышали канонаду, доносившуюся с запада. Сейчас же было тихо. И вот, среди этой тишины вдруг что-то происходит такое, что заставляет нас, детей, испуганно замолчать, даже маленькую сестрёнку, родившуюся в конце января сорок третьего, и с которой мы теперь возились, как с живой куклой. Во дворе под окнами много людей: отец, мать и вся моя родня. В хату входит плачущая мать, мы замираем, а она произносит: «Деточки, дядю Ваню убили».

 Я отчётливо помню дядю Ваню лишь в одном эпизоде. Когда нашу деревню тогда, в июле, закончила жечь проклятая «дряба», первым, кто прибежал к нам, детям, сидевшим в окопе в саду, был дядя Ваня. Он вывел нас из горящей деревни, туда, где не было дыма. Меня он нёс на руках. Я крутил головой, потому что был сплошной дым, дядя прикрывал мне глаза ладонью и очень быстро шагал. Остальные дети бежали рядом с моим отцом. Дядя мне казался тогда и позже, когда вспоминался этот эпизод, необыкновенно сильным, прямо каким-то сказочным богатырем. Он и на самом деле был очень мужественный человек. Его любили не только в нашем роду, но и в деревне. Он был последним ребёнком в семье моего деда Якова после трёх сестер и, естественно, был любимцем. Ваня рос почти что «вождем краснокожих», оставил в детстве и отрочестве много проказ, но при этом был необыкновенно добрым человеком и его проказы остались в памяти людей продолжением его достоинств. Он закончил семилетку, работал в колхозе и Пропойске, был призван в армию в 1938 году, участвовал в походе на Польшу, то есть в ту её часть, которую у нас называли Западная Белоруссия; в начале сорок первого должен был вернуться домой, но тогда уже задерживали демобилизацию старослужащих, и 22 июня он встретил войну в Бресте. Их часть немцы быстро разгромили, рассеяли, окружили. Укрыться под Брестом было негде, лесов там нет, бойцов пленили. В первые дни войны немецкие солдаты вполне дружелюбно относились к пленным советским солдатам. Может быть, из чистого любопытства, а может, ещё свежи были в памяти парад немецко-советских войск и совместная дружеская попойка по случаю удачного завершения подела Польши? Во всяком случае, красноармейские книжки у пленных не отбирали и охраняли их не строго, и Ивану с его способностями и дерзким характером ничего не стоило убежать из условного лагеря. Он примкнул к отступающим войскам – тогда отступали все, сломя голову, но по дороге на восток его пленили вторично. На этот раз немцы не были такими дружбанами, но и тут сказался характер моего дядьки: он бежал опять, но скоро попался – немцы уже научились ловить беглецов. Расстреливать его не стали, хотя за побег уже заранее объявляли расстрел. Иван чем-то приглянулся немцам: он был из той породы людей, которые вызывают симпатию даже у врагов. Но наблюдать за ним стали пристально. Вскоре ему предложили вступить в «Восточный легион» – так называли тогда формировавшиеся из советских военнопленных части для отправки на восточный фронт воевать против большевиков. Дядя согласился, будучи уверенным, что из такого легиона ему проще будет удрать к своим. Очередной свой побег он великолепно исполнил на станции Березина, что в городе Бобруйске, по пути следования на борьбу против большевизма. Из Бобруйска он пешком благополучно – опыт уже был приличный – добрался до Кремянки, где и влился в подпольную группу, организованную его племянником и тёзкой, то есть моим старшим братом. Дяде было двадцать два, он был старше племянника на пять лет, да к тому же был сержантом, но полностью подчинился юному руководителю подполья. Так же, как и отец, который был вообще старшиной. Конечно, эти двое опытных людей оказывали большое влияние на бесстрашного комсомольца, иначе бы он мог наломать таких дров, что кремянцам мало бы не показалось от его подполья.

 Уже будучи в партизанах, дядя женился на местной красавице Ноне, так звали девушку по имени Надежда. В Кремянке было много красивых девушек, то есть лучше сказать, не было некрасивых девушек. Их девичья, женская красота была какой-то северной, что ли. Вот когда я слышу: «полочанка», «полоцкая княжна», вообще слово «полоцкая», у меня возникает ассоциация с кремянковскими женщинами. Это в основном русоволосые, не то, чтобы круглолицые, но слегка так, зато «кровь с молоком», сероглазые, и плотного, но не лишённого изящества телосложения. Но среди кремянковских красавиц встречались и совершенно выбивавшиеся из этого основного типажа деревенских девушек. Это были либо темноволосые, с тонкими, правильными чертами лица, темноглазые, с изящной статью, либо чуть ли не блондинки, голубоглазые, с нежной кожей и типичной для блондинок леностью в фигуре. Девушка Нона, то есть Надя, была красива невероятно: чёрные длинные косы, точёная тонкая фигура; выразительные темные, большие глаза; красивые, правильные, черты лица, великолепные белые зубы – помните знаменитую советскую актрису Тамару Макарову?

 Так вот, Тамара Макарова отдыхала в тени кремянковской Нонки. Вот на такой девушке и женился мой дядя Иван. Красивейшей пары в деревне, наверно, ещё не было. Они прожили вместе всего полгода, успели вторично зарегистрироваться (первый раз их зарегистрировал командир партизанского отряда – были такие полномочия у партизанских командиров образца 1943 года) после прихода советских войск, благо в деревне Старинка тут же возник орган советской власти – исполком Пропойского районного совета депутатов трудящихся в лице председателя и секретаря. В октябре дядю призвали в армию, 29 ноября он погиб в бою, а в середине января сорок четвёртого Надежда родила дочку, о которой дядя знал только то, что у него будет ребёнок, а дочка только повзрослев, узнала, что у неё был такой замечательный отец. Всё это я описал со слов своего старшего брата, который был ровесником своей будущей дядины. Да и будучи уже старшим школьником, хорошо помню тётю Надю, всё такой же красивой, как рассказывал брат. Надежда долго хранила верность своему мужу. Даже в условиях тотального дефицита мужчин после войны ей многие предлагали руку и сердце, не столько наши, их мало осталось в деревне, сколько заезжие молодцы – никакой надежды никому! Она вырастила дочку, выучила; дочка уехала в Братск строить то ли Братскую ГЭС, то ли ещё что-то из великих строек Сибири – Надежда осталась одна. Красота её долго не давала покоя мужчинам, но Надежда в «порочащих связях замечена не была», и только уже в более чем бальзаковском возрасте соединила свою жизнь с одним вдовцом после его долгих и настойчивых уговоров.

 Фронт остановился до лета 1944 года, до начала операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Всё это время через деревню проходило большое количество военных и хотя в нашем небольшом доме жила ещё одна семья, дом которой сгорел, военные находили у нас ночлег. Сколько их перебывало в нашем доме! Некоторые задерживались у нас на несколько дней, когда на фронт маршем направлялась какая-либо воинская часть и она останавливалась на отдых в деревне. Тогда здесь разворачивалась армейская походная кухня, бойцы приносили в котелках обеды и всегда подкармливали детей. Я до сих пор не могу забыть вкус супа на тушёнке (американской, естественно) и большими кусками моркови в нём, которая, своим цветом привлекала больше, чем собственно суп. С тех пор, если мне доводилось варить суп – а это случалось то ли в студенческой жизни в общежитии, то ли в каких походах «на природу», – я всегда нарезал морковь в суп крупными кусками. По-другому суп я не представляю.

 А ещё в моей памяти запечатлелись несколько лиц бойцов (мы не говорили: солдаты, мы говорили: бойцы), которые жили у нас некоторое время. Помню смуглого, красивого бойца с лицом, не похожим на привычные для меня лица кремянцев. Это был узбек. Он догонял свою часть, как и его товарищи. Через Кремянку проходили и небольшие группы солдат, своим ходом добиравшиеся до частей назначения, снабжавшиеся сухим пайком. Часто этого пайка не хватала на время их путешествия – части не стояли на месте, их приходилось догонять. Тогда уже подкармливали бойцов наши матери, делились всем из тех запасов, что оставались на зиму. Справедливости ради, замечу, что кремянцы и здесь оставались на высоте: они успели собрать за предыдущую осень и припрятать и картошку, и капусту, и свёклу, и обязательно просо на пшено. Так что зиму сорок третьего – сорок четвёртого мы не слишком голодали. Голодать мы начали в следующую зиму, когда установилась окончательно советская власть и у нас начали забирать «всё для фронта, всё для победы». Помню, мама кормила обедом этого бойца-узбека. Наше меню традиционно, и в войну, и после неё, состояло из капустных щей или борща из квашеной свёклы, на второе – картофельное блюдо, – это была или крупно порезанная картошка с большим количеством фасоли и белых грибов и небольшим количеством жидкости, или же нарезанная кружками картошка, заправленная салом и тушённая с теми же грибами в чугуне в русской печи (блюдо и сегодня желаемое!).

 Напомню, что грибы не были для нас деликатесами – сушёные белые грибы и опята были повседневной пищей, такой же, как картошка или капуста. Третьим блюдом был молочный пшённый суп, опять же, стомившийся в русской печи и оттого необычайно вкусный. Этот суп был своего рода десерт. Меню наших блюд различалось лишь наличием в них мясных ингредиентов, а это уже зависело от того, были ли они в наличии вообще. После того, как бойцом-узбеком были съедены щи, мать поставила на стол картошку со словами «кушайте теперь вот нашу бульбу», а заодно поставила и миску с молочным супом. Наш боец, съев картошку, встал и горячо стал благодарить мать за такой вкусный обед. Мама удивлённо спросила: «Так а чего ж вы суп не ели?» На что боец ответил: «А вы мне не сказали, что это надо есть». Мать долго потом вспоминала этот случай и всё восхищалась, какие же добрые и «антеллигентные» эти люди – узбеки.

 Помню двух бойцов, должно быть, связистов – у них была походная радиостанция. Я с тех пор запомнил слова: антенна, радио и – о, великое и неповторимое! – услышал впервые звуки музыки из фантастического железного сундучка, а также удивительный человечий голос, который говорил о том, что наши войска освободили ряд населённых пунктов. Я не понимал большей частью ничего из того, что говорил какой-то дядька из железного сундучка. Сам факт, что говорил сундучок, был недоступен детскому пониманию. Взрослые-то давно уже знали, что это такое – радио. Эти ребята-радисты и их чудо-сундучок настолько врезались в мою память, что уже в четвёртом классе я решил, что стану радистом, и в будущем в значительной степени исполнил эту свою мечту. А бойцы-радисты ещё и пели сами хорошо, должно быть, радио их многому научило, в том числе и песням. Пели они на два голоса и этим заслужили особое уважение кремянцев, поскольку умение правильно и, следовательно, «красиво» петь – это неотъемлемая черта истинных кремянцев.

 Весна и лето сорок четвертого практически ничем не отличалась от предыдущих военных лет: всё так же работали на полях, а теперь ещё и на фермах. Колхозных лошадей и коров, полученных в начале оккупации в личное пользование, сдали обратно в колхоз, туда же присоединили стадо коров, отбитых партизанами при перегоне стада немцами в Германию летом сорок третьего. Колхоз заработал, как и до войны. Только работниками были сплошь женщины и подростки. Но если перед войной на трудодни получали по несколько десятков граммов зерна на трудодень – в итоге выходило пуда два-три, то теперь и этого не было. Эта бесплатная работа продолжалась до начала шестидесятых. Единственной наградой за труд были выделение покоса для личного скота, возможность привезти из лесу дрова на колхозной лошади домой и, если повезет, засеять с помощью колхозной лошади полосу земли за деревней.

 Вот когда началась настоящая каторга для кремянцев.

**Глава шестая**

**ЦЕНА ПОБЕДЫ ИЛИ «МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ»**

 Весь сорок четвертый год и четыре с декадой месяца сорок пятого шла война, и никто не роптал, вытягивая из себя последние жилы. На радостях и сорок пятый прошел в таком же трудовом ритме. Впрочем, радостным сорок пятый был «со слезами на глазах» – в Кремянку с фронтов и из партизан не вернулся 81 мужчина: отцы семейств, сыновья, братья. В деревне редко можно было найти семью, в которой не ждали бы своих близких ещё долго после окончания войны.

 А отпускала их домой война неохотно.

 Не потому что не хотели увидеть своих родных, вдохнуть неповторимый воздух кремнистой кремянковской земли, окунуться в родной Сож, нет, не потому. И не по своей воле неохотно. Те, кто остался жив во вселенской мясорубке, уже дали о себе знать, но таких было немного. Их ждали, и они возвращались в течение лета сорок пятого года. Некоторых задерживали в войсках – понятно, всю армию одним махом не распустишь по домам, – и возвращались эти некоторые даже в апреле-мае сорок шестого года.

 Те, кто погиб в конце сорок третьего, когда уже освободили Кремянку, в сорок четвертом и в сорок пятом, возвращались в родную деревню скорбными похоронками – полевая почта уже работала исправно и приносила аж двадцать восемь раз скорбно-торжественное сообщение: «Ваш муж (сын)<…> погиб смертью храбрых в боях за свободу, честь и независимость нашей Родины».

 О погибших в сорок первом, сорок втором и до октября сорок третьего, а таких было восемь человек, сообщили, когда в Пропойске уже восстановил работу райвоенкомат и в него начали поступать сведения из Главного управления кадров Красной Армии, а это где-то в марте-апреле сорок четвертого года. Всё это время, с момента освобождения Кремянки, люди надеялись на лучшую судьбу своих близких.

 Хуже всего было с погибшими или пропавшими без вести в сорок первом и вплоть до освобождения Кремянки.

 Из сорока пяти человек, пропавших без вести на фронтах германо-советской войны, на 1941-й год приходится двадцать семь человек. Ровно шестьдесят процентов. На сорок второй год не приходится ни одно пропадание без вести. Большинство из призванных в первую мобилизацию уже либо погибли, либо пропали без вести в сорок первом. Лишь немногие «счастливчики» продолжали воевать. Трое пропали без вести в 1943 году ещё до октября месяца. После первого октября 1943 года – дня освобождения Кремянки – начался новый призыв. Для некоторых он был повторным. За два года оккупации подросли уже для призыва те, кому к 15 июля 1941 года не исполнилось 18 лет – теперь это было молодое пополнение наступающей Красной армии. Начиная с октября 1943 года, из призванных в это время в армию кремянковских мужчин пропали без вести: до конца 1943 года – пять человек, в 1944 году – десять человек. В сорок пятом без вести пропавших уже не было. В победном году советские воины всё больше погибали смертью храбрых, так как пропасть без вести советскому воину уже было труднее, чем немецкому, – это был не сорок первый год.

 Пропавших без вести долго не относили к павшим смертью храбрых, за них не полагалась пенсия по случаю потери кормильца, и многие кремянковские вдовы долго не получали её на детей, пока шли разборки, уточнения, подозрения: а не сдался ли в плен, часом, кормилец. Органы, занимавшиеся подобными расследованиями, исходили из «презумпции виновности» бесследно исчезнувших с лица земли советских воинов. Помню бедствующую семью пропавшего без вести в июле сорок третьего Денисенко Павла. По просьбе его отца – деда Фёдора – мой старший брат Иван, тот самый, окончивший уже в 1949 году государственный университет в Минске, в начале пятидесятых годов несколько раз писал письма в «высокие инстанции» – президиумы Верховных советов БССР и СССР – с просьбой об установлении пенсии на малолетних детей его сына Павла. Ответы приходили со стандартным текстом: «...установить пенсию по случаю потери кормильца оснований не имеется». Настырный бывший партизан не удовлетворился такими ответами и написал письмо аж самому «вождю и отцу всех трудящихся всего мира» товарищу Сталину. И что вы думаете? Пенсия за пропавшего на фронте без вести воина была установлена его детям, и, более того, была выплачена также сумма за три месяца предшествующих времени установления пенсии. Это спустя девять лет после гибели воина! Деревня была потрясена, но быстро пришла в себя, как это обычно бывало в Кремянке в подобных случаях. Успокаивающим мотивом было рассуждение: «кремянцы могут и не такое...».

 После окончания войны вернулась в Кремянку лишь четвертая часть от призванных на фронты страшной войны. Почти половина из них вернулись инвалидами, и некоторые вскоре умерли не столько от ран, сколько от непосильного труда, окончательно подорвавшего их здоровье. Бывших фронтовиков рядового и сержантского состава никак не трудоустраивали: вернулся с войны – иди на трудовой фронт по месту своей прежней работы – это в лучшем случае! В случае с Кремянкой – в колхоз. Демобилизованных офицеров как-то устраивали. В первую очередь, тех, кто имел какую-то специальность до войны. Их устраивали в райцентре возрождать местную промышленность, руководить какими-то районными службами, производственными предприятиями местной промышленности, небольшими коллективами артелей. Всего в Кремянку вернулось шесть демобилизованных офицеров: один майор, два капитана, один старший лейтенант и два лейтенанта. Эти люди заслуживают того, чтобы о них рассказать подробнее.

 В четвёртой главе я уже упоминал о своем дяде-тёзке. Вот он-то и вернулся в родную деревню майором. Вернулся он почти через год, в апреле сорок шестого года, и я хорошо помню его возвращение. Оно было последним в нашей деревне.

 А 22 июня 1941 года дядя, командир зенитного артиллерийского дивизиона 479-го зенитно-артиллерийского полка оказался на острие нацеленной на Белосток стрелы на оперативной карте командующего 7-м армейским корпусом вермахта. Дивизион входил в состав Белостокского бригадного района противовоздушной обороны и располагался в трёх километрах западнее Белостока. Возможно, те высшие военные чины, что составляли план заграждения границы, рассчитывали на то, что зенитные орудия создадут сплошную стену огня и немецкие самолеты, едва перелетев границу СССР, рухнут, поверженные советскими зенитками. Но немцы почему-то напали на нашу миролюбивую страну одновременно авиацией и танками. Поскольку на момент нападения действовал строжайший приказ не открывать огня по немецким самолётам, то пришлось отбиваться зенитному артдивизиону от танков, потому что других средств борьбы с немецкими танками на границе почему-то не оказалось. Немецкие самолеты бомбили советские военные аэродромы и города в тылу советских приграничных войск, а зенитно-артиллерийский дивизион ПВО почти на границе вынужден был сражаться с немецкими танками. До 27 июня дивизион, отступая, чтобы не быть окружённым, вел бои и с танками, и с самолётами, пока не надоел немцам, и в районе Волковыска он в числе других частей 10-й советской армии был подвергнут одновременно мощной наземной атаке танками и артиллерией и бомбёжкой с воздуха. Этой атакой соединения немецких 4-й и 9-й армий завершали окружение и разгром советской 10-й армии в Белостокском выступе. Командный пункт артдивизиона был разбит, его командир тяжело ранен и контужен. В таком состоянии капитан Иосиф Сёмкин был взят в плен. Он не пропал без вести, как десятки его односельчан, но прошёл все круги ада гитлеровских концлагерей.

 Началась его концлагерная эпопея с концлагеря Заксенхаузен – небольшого городка близ Потсдама – будущего города-побратима Минска. Через некоторое время капитан Сёмкин с группой военнопленных совершает побег из концлагеря, но вся группа вскоре была поймана, и после жестокого избиения беглецы, испытав «прелести» лагерного карцера, были отправлены в другой лагерь – Бухенвальд, недалеко от города немецких интеллектуалов Веймара, где он и пробыл до конца войны.

 В последнее время в Интернете встречаются рассуждения любителей «нового взгляда» на историю Второй мировой войны, вдохновителей её планов и целей, методов и способов воплощения планов и достижения целей. Как правило, свой «новый взгляд» устремляют в историю люди не только не воевавшие, но даже не имеющие общего представления о той мировой трагедии, что происходила в середине ХХ столетия. Так появляются рассуждения о чуть ли не курортной жизни заключённых в нацистских концлагерях, и в частности, в Бухенвальде. Мой дядя не любил рассказывать о войне вообще и о нацистских концлагерях в частности. На мои неоднократные просьбы рассказать об этом он отвечал: «Не дай тебе Бог не только пережить, но и услышать о том, что пережил я». Думаю, что это будет лучшим ответом всем тем «знатокам» истории Второй мировой войны, которые пытаются как-то смягчить или, наоборот, ужесточить историю там, где этого совершенно не требуется. Что же касается жизни в Бухенвальде, то она очень хорошо описана в книге, которую издал подпольный интернациональный комитет по восстанию в Бухенвальде, одним из руководителей которого от советских военнопленных был мой дядя Иосиф. Книга была издана тиражом в сто экземпляров вскоре после восстания узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года, после того, как Веймар заняли союзные американские войска. Мало сказать, что это потрясающий документ. Его содержания достаточно, чтобы навсегда объявить немецкий нацизм вне человеческого сознания. Эта книга спасла моего дядю от репрессий, которым подвергались советские военнопленные уже со стороны своей Родины, будучи априори «изменниками», «предателями» и прочим исчадьем зла для той «Родины», которая и устроила им такую судьбу на поругание фашизму. Дядю быстро «провели» по смершевской цепочке: никаких «порочащих связей» за ним не числилось. Более того, оказалось, что буквально накануне войны ему было присвоено звание майора, которое ему и было объявлено и выданы погоны. Звание надо было отработать, и майора Иосифа Сёмкина привлекают служить в комиссию по репатриации советских узников концлагеря Бухенвальд на Родину. Это было очень правильное решение: кому, как не одному из руководителей подпольного комитета узников Бухенвальда можно было поручить такое, как потом оказалось, ответственное дело. Многие бывшие узники Бухенвальда обязаны моему дяде тем, что не загремели прямиком из Бухенвальда в какой-нибудь Воркуталаг, а то и подалее.

 После того, как работа по репатриации узников была закончена, майора Сёмкина демобилизовали. Он приехал в Кремянку перед самой Пасхой в апреле 1946 года. Никаких «трофеев» дядя, естественно, не привёз. Хотя ему и полагались какие-то «трофеи», но дядя их просто не стал искать, другими словами, грабить уже разграбленное. Да и в любом случае – это было не в его характере – он бы не стал возиться с тем барахлом, которое привозили домой из Германии многие победители.

 Вскоре после приезда и непродолжительного отдыха районные власти трудоустроили дядю на должность технического руководителя в районный промышленный комбинат – райпромкомбинат, – где он возглавил разработку месторождения глины в окрестностях Пропойска и наладил выпуск кирпича – самого необходимого материала для восстановления разрушенного города, да и на печи в деревнях кирпич требовался в немалых количествах.

 Впоследствии дядя работал на различных «руководящих должностях», как принято было писать в характеристиках работников районного масштаба, но на самый верх районной иерархии не стремился. С его характером он не удержался бы на районном олимпе – он не терпел разгильдяйства, непрофессионализма в работе и, конечно, не боялся ничего и никого, что в те времена было, как говорится, чревато. Поэтому возможностей раскрыться такой талантливой личности в маленьком Пропойске не было. Конечно, его роль в подпольной деятельности в Бухенвальде была учтена «компетентными органами» и дяде даже вручили погоны майора – звание, которое он должен был получить накануне войны. Но факт пребывания в плену висел над ним дамокловым мечом всю его оставшуюся активную жизнь.

 Судьба двух капитанов, ушедших на фронт восемнадцатилетними пацанами и вернувшихся зрелыми воинами – капитанами! – сложилась после войны по-разному.

 Капитан Александр Андросов вернулся в Кремянку в 1947 году из Одессы. Он воевал в заключительной части войны на 4-м Украинском фронте. С юга Украины он и привез в Кремянку молодую красивую жену. Но украинкой, на мой взгляд, она не была, так как говорила на русском языке без акцента и даже без мягкого «г», от которого редко кто избавляется, прожив жизнь, скажем, в Одессе. Районная власть устроила их в нашу Кремянковскую начальную школу: Александра – директором, а его жену Антонину – учительницей начальных классов. То, что Александр Егорович не был учителем – это понятно. Командиром – да, был, и, наверно, неплохим. Потому что порядок в школе он навел железный, что было крайне необходимо для обучения такой разновозрастной публики, которая составляла контингенты с первого по четвертый классы. У него было много наград: помню, среди них был орден Красного Знамени – это была высокая награда. Александр Егорович – наш директор (к тому времени я уже учился во втором классе) – награды надевал только по праздникам, как, впрочем, и все кремянковские фронтовики. Много позже я узнал, что это было общее явление по всей нашей необъятной стране. Конечно, вид орденов и медалей наводил на мальчишек всех возрастов священный трепет, поэтому Александра Егоровича слушались беспрекословно даже самые отъявленные великовозрастные лоботрясы. «Лоботрясами», правда, они были в школе, зато дома тянули всю мужскую работу вместо погибших отцов. Антонина Павловна – жена директора – по профессии была учительницей начальных классов. Ей было гораздо легче учить детей грамоте, как говорили тогда в деревне, чем её супругу. Александру хорошо удавалась физкультура, рисование и, пожалуй, математика – всё же, хоть и ускоренное, но офицерское училище он же закончил! Александр проработал в школе шесть лет, потом его направили на работу инструктором райкома партии. К тому времени у супругов уже было двое детей. Еще через несколько лет они уехали на постоянное местожительство в Крым.

 Капитан Григорий Андросов – однофамилец Александра Егоровича – личность в Кремянке легендарная. Во-первых, потому, что имел деревенскую кличку – Ленин. В начале сорок пятого года после очередного ранения Григорий заехал на несколько дней домой по пути из госпиталя на фронт. Голова его была побрита наголо и наблюдательные кремянцы тут же заметили поразительное сходство земляка с великим вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным. Кличка «Ленин» закрепилась за Григорием и очень хорошо подходила ему: коренастый, хорошо сложенный, с крупной, красиво очерченной бритвой «Золлинген» головой с «ленинским огромным лбом», он казался воплощением мужественности и непобедимости советского воина.

 Во-вторых, Григорий был едва ли не самым молодым капитаном Красной Армии и уж, наверняка, самым молодым командиром батальона. Четыре года назад восемнадцатилетним мальчишкой он был призван на фронт, провоевал от звонка до звонка, и не где-нибудь, а в пехоте, на передовой, что само по себе редчайшее явление, прошел все ступени пехотинца-командира: рядовой, сержант, краткосрочные курсы младших лейтенантов, взводный, ротный, наконец, комбат в 21 год. Согласитесь, явление даже в условиях такой всепожирающей войны не рядовое. Он был много раз ранен, два раза – тяжело. Тем не менее, оставался в строю, возвращался из госпиталей в свою часть, где воевал и его старший брат Иван. Они оба вместе уходили на фронт, вместе воевали всю войну и вернулись домой целыми и ... хотел написать невредимыми, как в сказке. Ранения были и у Ивана, но на Григории не было живого места. На его груди – «золотистых орденов – не сосчитать», как пелось в песне семидесятых годов, а под ними – рубцы и шрамы, так же, как и на спине и даже на лице.

 Последний раз я видел это украшенное косым шрамом мужественное лицо, когда мне было девять лет, в сорок девятом году, но до сих пор оно стоит у меня перед глазами. Оба эти братья были сыновьями бабы Кати, о которой я уже упоминал вначале как о толковательнице происхождения названия города Пропойска, который она называла Пропольском. Баба Катя приходилась кумой моей матери, а Иван и Григорий – крестниками. У самой бабы Кати было всего шестеро сыновей. Муж и трое сыновей воевали на фронтах. Муж и старший сын погибли Дома наши стояли напротив, через улицу и общение между их обитателями было весьма тесным. Когда в июне сорок пятого Григорий вернулся с войны – это был праздник и в нашем доме. В то время крёстных матерей еще чтили и уважали наравне с родными матерями, равно как и крёстные проявляли заботу о своих крестниках. Григорий привез из Германии кобеля – чистокровную немецкую овчарку, несколько мешков «немецкого добра», как у нас говорили, среди которых оказалось пара мешков редкого саксонского фарфора (это я уже много позже узнал, что саксонского и редкого), почти полностью перебитого к огромной радости множества деревенских детей, которые долго еще игрались позолоченными и разрисованными обломками тысячелетней германской империи. Но самой большой радостью для нас, детей, были подарки в виде красивых, добротных тетрадей, блокнотов, карандашей, записных книжек – всего и не перечесть, – которых Григорий привез тоже целый мешок.

 Наверно, мешки были единственной тарой, которую Григорий сумел раздобыть в поверженной Германии, потому что другую, более надежную тару, уже разобрали до него офицеры более высокого звания. А генералам и маршалам даже товарные вагоны положены были. Ну, может, не совсем положены, да кто ж возразит, ежели какой генерал, а то и маршал не захочет, чтобы саксонский, к примеру, фарфор не побился в пути следования на родину. Я хорошо помню, что Григорий смеялся, когда бабки причитали по поводу красивой разбитой посуды и пытались связать проволокой треснувший саксонский шедевр, как я теперь понимаю, супницу: «хоть полюбуемся на такое диво». Но то, что Григорий привез в Кремянку в качестве трофеев все эти тетради, блокноты, карандаши и прочие школьные и канцелярские штучки, говорит о многом в его пользу.

 Какое-то время капитан запаса Григорий Андросов использовал свое право навоевавшегося человека на отдых, но его деятельный характер, сложившийся и окончательно закалившийся в горниле войны, требовал конкретных действий. Естественно, районные власти не могли обойти вниманием такого заслуженного воина, и предложили ему на выбор несколько должностей Пропойского масштаба. Григорий Васильевич не выбрал ни одну. Он умел воевать и только воевать. Никакой другой мирной специальности, кроме как «колхозник», он не имел. Его может, и не пугала перспектива превратиться в руководителя какой-нибудь районной базы, артели или на худой конец, председателя какого-нибудь колхоза, но его молодая душа еще рвалась на поля сражений. Ей нужно было «упоение в бою» и радость победы. Ничего этого уже не было. Был лишь лежавший в руинах и сожжённый в очередной раз в своей большой и нелегкой истории Пропойск, то есть уже Славгород, и нудная, непривычная повседневная работа, лишённая риска, азарта и, главное, грома победы.

 Григорий попытался найти занятие по душе где-то на стороне: он то уезжал куда-то, то возвращался. С каждым возвращением он становился все мрачнее, неразговорчивее. Однажды – это было уже года через четыре после войны – он уехал в очередной раз и уже больше не возвращался. Ходили разные слухи о его судьбе. Где-то уже во второй половине пятидесятых годов один наш деревенский отчаянный любитель приключений рассказывал, что Григорий организовал где-то в России группу из таких же, как он, неприкаянных молодых бывших офицеров, которая собиралась вершить «большие дела». В чем заключались эти «большие дела» – рассказчик не знал или не хотел рассказывать. Но для свершения таких дел необходимо было оружие, которое группа (или, как теперь квалифицировали бы ее, организованная преступная группировка) решила добыть не где-нибудь, а на Тульском оружейном заводе. Якобы был почти осуществлен дерзкий план вывоза на знаменитой «полуторке» с территории завода по подложным документам партию автоматов, но в последний момент бдительный часовой на выезде заподозрил что-то в накладных и поднял тревогу. «Полуторка» рванула вперёд, но была обстреляна часовыми с вышек пулемётами.

 Все, кто был в кабине и кузове «полуторки», были убиты. В числе их был и организатор дерзкой акции Григорий. История очень напоминает сцены многих фильмов, поставленных гораздо позже времени действия этого рассказа, в которых действующими лицами выступали бывшие офицеры-фронтовики. Допускаю, что в этом рассказе моего земляка не все соответствует действительности, но то, что Григорий подался в такую группу и, в конце концов, был убит в перестрелке с милицией – факт, имевший место.

 Таких Григориев были тысячи по всей нашей необъятной Родине. Вчерашние школьники, прошедшие страшный ад войны и волею Всевышнего оставшиеся живыми, научившиеся искусству воевать и быть абсолютно нечувствительными к войне, как среде существования, не нашли себе иного применения в мирной жизни. И не по своей вине. Их еще не сформировавшуюся довоенную психику очень быстро сформировала война, сформировала жёстко, намертво сцементировала в нужном формате: враг – убей его! Этих юношей, убивавших врагов, и, главное, посылавших, будучи командирами, на смерть своих же сверстников, война лишила главного – она заморозила их души. Именно на долю вчерашних мальчишек, быстро становившихся офицерами, выпала самая жестокая действительность войны. Их, таких молодых, но заматеревших офицеров, нельзя было сразу выбрасывать из армии, они должны были пройти реабилитационный период, будучи какое-то время на службе. С ними должны были работать психологи, оттаивать их души, готовить к другой жизни. Понимаю, что эти рассуждения из области фантастики в то время. Даже больше того, из области вредной буржуазной теории, к которой примыкала тогда и психология. Стране требовались рабочие руки для восстановления порушенного войной народного хозяйства и никого не заботило психологическое состояние вчерашних юных офицеров. Да что там сорок пятый год! Может, скажете, в афганскую войну в восьмидесятые годы или еще позже, в чеченскую – уже в России – дело поствоенной реабилитации было поставлено на научно-практическую основу? Как бы не так! Многие «афганцы», а потом и «чеченцы» повторили судьбу Григория Андросова, юного комбата Советской Армии, и, не исключено, выдающегося генерала в будущем, останься он на службе в армии после войны. В любом случае, мой низкий поклон его памяти.

 Старший лейтенант Николай Выдров в сорок первом также уходил на фронт совсем молодым парнем. Так же, как и наши парни-капитаны, прошел всю войну, начиная рядовым солдатом, и закончил ее командиром роты, старшим лейтенантом. После войны работал бригадиром в колхозе, потом в райцентре в «небольших начальниках», как тогда у нас говорили.

 Лейтенанты Василий Ильенков и Алексей Уткин были призваны в действующую армию после освобождения Кремянки. До призыва побывали в партизанском отряде. Возможно, поэтому быстро стали офицерами. Вернувшись с войны, также были трудоустроены: Алексей работал, насколько мне помнится, в управлении пожарного надзора в Пропойске, а Василий – председателем сельского Совета, а потом также переехал в Пропойск.

 Всего же за войну офицерами стали, как минимум, десять человек кремянцев, что не так уж и мало из примерно ста двадцати человек, воевавших на фронтах великой войны. Напомню, восемьдесят один из них погиб, в том числе четыре офицера. Вот такую цену заплатила моя деревня за победу только человеческими жизнями.

 \*\*\*

 Война закончилась, и война продолжалась в душах людей. Еще долго при приближении звуков самолета мы инстинктивно вжимали головы в плечи. В окрестных лесах валялось множество снарядов, мин – целыми штабелями лежали снаряды в лесу, сразу же за деревней по дороге на Высокие Ляды. Я хорошо помню эту лесную дорогу, на которой также лежали огромные снаряды. Их никто не убирал, телеги объезжали их, едва не задевая колесами. А рядом с дорогой, между соснами лежали штабелями такие же снаряды. Вокруг штабелей был рассыпан артиллерийский порох. Мы, дети, сгребали его в подолы своих рубашек и убегали подальше от страшного места. Сначала мы просто поджигали порох, но забава эта вскоре прискучила. И мы начали запускать твердотопливные ракеты. Благо, что свободного пространства вокруг деревни было достаточно и наши опыты по ракетным комплексам, состоявших из чудовищных конструкций, не приводили к пожарам в деревне. Однако подобные опыты жёстко пресекались, в буквальном смысле, оставшимися от войны мужчинами, да и матерями «безбатьковичей». Зато почти каждый вечер в окрестностях деревни раздавалась пальба – множество патронов, немецких и советских, находили мальчишки в лесу, затем, разложив их рядами, слегка присыпали песком и разжигали костер, а сами прятались в отдалении. Через некоторое время раздавалась такая пальба, будто на деревню напали, естественно, немцы. Первое время многие жители инстинктивно бросались прятаться в огороды. Потом привыкли. Трудно, правда, было привыкнуть к аналогичной пальбе в печи. После того, как у одной хозяйки в печке взорвалась пара поленьев – как в них попали патроны, так никто и не узнал, – этот метод отместки кому-либо или просто озорства, получил распространение. Но всеобщее тщательное обследование дров перед топкой в печи положило конец таким проказам. И, тем не менее, игры с боеприпасами продолжались ещё долго, до середины пятидесятых годов, и за это время несколько пацанов лишились, кто кисти руки, кто глаза, кто того и другого, кто просто пальцев на руках, а отдельные и вовсе стали инвалидами по нынешнему разумению. Замечу, что отсутствие глаза или пальца на руке в деревне как-то плохо увязывалось с понятием инвалид. Вот, например, у Василя (не буду называть фамилию) оторвало снарядом, от которого он пытался что-то там отвинтить, кисть левой руки. Конечно, культя ему доставляла некоторые неудобства. Но владел он ею виртуозно. Лазил по деревьям, плавал, косил траву, колол дрова, и вообще, хозяин был хоть куда. Но особенно доставалось от неё кому-нибудь в драке. Драка в деревне в ту пору – необходимое и, можно сказать, достаточное условие для поддержания общественного порядка и высоких нравов. Война учила, с одной стороны, ценить людей, а с другой – эту цену беречь и отстаивать. Вопреки одной строчке песни из известного кинофильма «Белорусский вокзал».

 Почему я так подробно, со ссылками на источники, с цитатами, рассказал здесь о войне вообще и то, как она протекала в нашем Засожье?

 Моё поколение – это и последние свидетели войны, и её жертвы.

 Война, прокатившись по судьбам малолетних детей, оставляет свой след на всю их жизнь, гораздо более глубокий, чем у детей с более-менее сформировавшейся психикой, в какой-то степени познавших мир, уже понимавших, говоря словами поэта, что такое хорошо, и что такое плохо.

 Взрослым людям война принесла страдания, несоизмеримые со страданиями детей, которых они защищали с оружием в руках на фронте или спасали их в лесах – в шалашах, в окопах, затем согревая в землянках на пепелищах сожжённых хат. Течение войны давало людям надежду, что война закончится, возвратятся с фронта мужья, отцы, братья, если ещё не пришли на них похоронки. Если приходили – а горе было подспудно ожидаемо, – сил переживать его в одиночку не хватало, переживали все, потому что оно было общим и долгим – четыре года. Горе от войны и радость от её окончания перемешались, уравновесили психику людей. Надо было строиться, поднимать детей – жить. Будни строек послевоенных лет и десятилетий постепенно притупляли боль пережитого и потерь близких, хотя забыть полностью войну не давала начавшееся буквально через год-два после победы нагнетание угрозы новой войны. Люди, пережившие войну, вновь почувствовали ее горячее дыхание. Десять послевоенных лет страна жила и работала в режиме военного тыла. Следующие десять лет шла изнурительная борьба, похожая на войну, за мир во всем мире. Поэтому через двадцать лет после войны угроза новой войны как-то не воспринималась так остро, как через пять лет после её окончания.

 Следующие двадцать лет были годами тоски по войне. Эхо прошедшей войны надрывно заполняло телевизионный и радиоэфир, киноэкраны, театральные и эстрадные подмостки, потоком пошли мемуары не только известных, выдающихся маршалов и генералов войны, но и малоизвестных офицеров, видевших эту войну изнутри, горевших в её адском пламени и чудом уцелевших. «Никто не забыт, и ничто не забыто» – эта поэтическая фраза стала девизом второго послевоенного двадцатилетия. Заезженная на всех уровнях государственной иерархии, она превратилась, в конце концов, в циничное прикрытие чиновничьего равнодушия, как к судьбам живых участников войны, так и к памяти павших.

 А что же мы, те, кому к началу войны было год-два?

 Нас вырастила война.

 Мы долго не знали, что такое хорошо. Плохо – долго было нормой для нас. Война и её последствия сформировали наше сознание, её образ записан в клетках нашей сущности.

 Поэтому мы испытываем неосознанную тягу ко всему, что связано с той войной.

 Поэтому мы остро воспринимаем неправду о войне. Но и преувеличенная правда о войне ранит нас так же, как и пренебрежительная.

 Нас не обманешь.

 Мы её чувствуем, правду о войне, и откликаемся на неё.

 Мой одноклассник по Пропойской школе № 1 живет сейчас в Соединённых Штатах. Спустя пятьдесят два года мы нашли друг друга с помощью Интернета и начали переписываться с ним. Удивительно созвучно, сочувственно, лучше сказать, откликаются наши души на темы войны и послевоенной жизни. Наши оценки прожитой жизни абсолютно идентичны. Жизни моих сверстников, видевших, прочувствовавших войну, похожи.

 Мы – замирающее эхо последней мировой войны.

**Глава седьмая**

**ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ**

 Сорок пятый год можно считать почти полностью военным. Ведь война Советского Союза с Японией хоть и продолжалась меньше месяца, но закончилась она только в сентябре. Так что мирной жизнь в сорок пятом году не назовешь. Но надо было разгребать пожарища и строиться. В Кремянке первым делом, конечно, восстанавливался колхоз. Надо было добывать хлеб. Теперь уже не только для себя, но, в первую очередь, – для государства. Весной сорок пятого засеяли уже почти все довоенные посевные площади. Пахали на лошадях, оставшихся еще с довоенных колхозных времён и частично не реквизированных наступавшей Красной армией по причине непригодности тянуть армейскую лямку. Взамен реквизированных армейцы оставили колхозу в сорок четвёртом году выбракованных из армии лошадей, большей частью имевших ранения. Таких лошадей я раньше не видел – среди них были чистопородные лошади – красавцы, которых специально разводили на советских конезаводах для красной кавалерии. Но в колхозе толку от них не было никакого: ни в телегу не запрячь, ни, тем более, в плуг. Они требовали ухода, которого в колхозе им дать не могли, и к весне сорок пятого осталось всего несколько «военных» коней, остальные не выдержали за зиму колхозного фуража из сена-соломы. Тем не менее, поля были вспаханы. Дедушки в белых холщёвых одеждах с лубками\*) через плечо, как на первых советских червонцах, выстроились шеренгой, затем помолясь, взяв полные горсти зёрен ржи, размашистым ударом зерна о бечеву веером рассеяли зерна по вспаханной земле. Шаг вперед, взмах – следующая горсть зерна ложится в точно в предназначенный ей сектор. Почти торжественные шаги сеятелей и взмахи их рук выполняются синхронно, зёрна ровным слоем покрывают землю.

 \*)Лубкой называлось у нас большое лукошко, сделанное из липовой бечёвы (лубка) с холщовым дном.

 Почти в середине ХХ века совершается процесс, технология которого не отличается от той, что применялась двадцать веков назад, – вот до какого «прогресса» довела людей война. Колхозные поля, правда, пахали какие-никакие, но лошади. А вот собственные участки земли пахали сами, то есть на себе. К ворчику\*\*) плуга привязывали постромками водило\*\*\*), в которое впрягалось пять-шесть солдаток, за плугом шел опять же дед или всё умеющий подросток. Вот так, в свободное от работы в колхозе время, так сказать, на досуге, засевались приусадебные участки. Это совершенно безотказная 1 л.с. – «людская сила» – после войны работала еще долгое время, пока не восстановилась в Пропойске машино-тракторная станция – МТС – и не прислала в колхоз древний «фордзон», который высвободил часть лошадей, благодаря чему картинку типа «Бурлаки на Волге», но в колхозно-женском исполнении, стало возможным видеть всё реже.

 \*\*)Ворчик (орчик) - деревянная поперечина с крюком посередине, цеплявшаяся к дышлу плуга, за её концы привязывались постромки для упряжки лошади (слово одного корня с "орало")

 \*\*\*)В данном случае отрезок жерди, к которому привязывались постромки от ворчика вместо коня.

 Но вот посажена и колхозная картошка, и приступили только что пришедшие с фронта редкие кремянковские фронтовики к сооружению школы, которую очень быстро и построили за лето. И первого сентября школа была набита учениками «под завязку». Чтобы вы могли представить контингент школьников Кремянковской начальной школы первых послевоенных лет, расскажу подробнее о нём.

 Школа не работала с 1 июня сорок первого по 31 августа сорок пятого годов. Те из деревенских ребят, кто перешёл в четвёртый класс в июне сорок первого, пошли в этот класс 1 сентября сорок пятого, имея за плечами, как минимум, четырнадцать лет и огромный жизненный опыт много повидавших на свете людей. По существу, это были взрослые не по годам, молодые мужчины с тремя классами школы, основательно подзабытыми за время войны. В первый класс должны были идти и те, кому исполнилось в сорок пятом семь лет, и те, кто должен был пойти в первый класс в сорок первом, кому к сентябрю сорок пятого исполнилось уже двенадцать лет. Эти двенадцатилетние пацаны мало чем уступали в жизненном опыте пятнадцатилетним. А между двумя этими крайними возрастными группами первоклассников было еще четыре группы с разницей в один год. Вот такой был первый класс в 1945 году в Кремянковской начальной школе. Добавьте к этому число больше сорока и смело беритесь за обучение этой оравы «первоклашек», если вы к этому времени успели окончить курсы учителей младших классов, а у самих – хорошо, если десятилетка за плечами.

 Вы даже можете возглавить и учить всю эту школу, если успели за войну стать из вчерашнего школьника капитаном и командиром, по крайней мере, роты. Учтите также и то, что вам придётся вести одновременно два класса в одном помещении. После занятий вам придётся проверять горы тетрадей с немыслимыми каракулями двенадцати– четырнадцатилетних «партизан», которые могли с закрытыми глазами разобрать и собрать винтовку; которым более привычно было работать топором, косой, вилами; уверенно держать прямую борозду плугом, который тянут их матери, чем выписывать прямые палочки или кружки карандашами, совершенно не подчинявшимися их не по-детски грубым рукам. И, наконец, запомните, что вам придётся учить всю эту «партизанскую» армию вдвоём с напарником. При этом, из вас двоих хотя бы один должен быть мужчиной.

 Нашей школе повезло в послевоенные годы тем, что руководили ею мужчины. Сначала это был учитель с довоенным стажем Соловьев Михаил Анисимович или для краткости – Михаланисыч. Это был учитель-интеллигент дореволюционного типа, который можно было увидеть иногда в советских кинофильмах. Показывали таких учителей потому, что это был устоявшийся образ сельского учителя, а других и не было тогда. Помогала ему учительница тоже с довоенным стажем Анна Германовна. Это были классические учителя, ученики их боялись и уважали, и трудно было понять, был ли это страх, основанный на священном трепете перед неизвестностью знаний, которыми обладали эти учителя, или было это уважение, основанное на страхе не познать то, что старались донести до учеников эти мудрые люди. Скорее всего, и то, и другое испытывали и ученики, и их родители. Поэтому авторитет учителя был непререкаем. Встретив на улице Михаланисыча или Анну Германовну, мальчики (четырнадцатилетние тоже были мальчиками-четвероклассниками) снимали головные уборы, здороваясь. Даже зимой срывали шапки, завидя Учителя. Вот чем платили мы своим учителям.

 Школьные классы составляли два смежных помещения. В большем помещении размещались ученики четвертого и первого классов. В меньшем – ученики третьего и второго классов. Парты были самодельные, составленные очень плотно, чтобы выйти к доске надо было буквально продираться «сквозь тернии». Сорок пять минут урока выдержать в таких условиях было очень тяжело.

 Не все великовозрастные четвероклассники и третьеклассники дотянули до окончания первого послевоенного учебного года. Причина была даже не в том, что надо было работать за погибшего отца, но большинству школьников просто не было во что одеться. Если обуться можно было в лапти или, лучше, в чуни, то с одеждой было и вовсе плохо. За войну все выросли, если в семье сохранилась какая одежонка старших, её надевали подросшие младшие. А во что одеваться было старшим? Да, у нас в деревне сеяли лён, коноплю (сегодня упоминание о конопле вызовет у людей, чтущих уголовный кодекс, испуг, а тогда плантации конопли в деревне занимали несколько гектар), из волокон которых получали великолепные льняные и посконные полотна, шедшие на пошив белья, верхней одежды, покрывал и, вообще, всего, что шилось в ту пору из тканей. Но, если льняное бельё носили практически все от мала до велика, то верхнюю одежду из полотна льняного или пенькового молодежь носить почему-то стеснялась. Это удивительно, но это так! Если бы сегодня из такого льняного, ослепительно белого, тонкого полотна, какое ткала, например, моя тётя Таня, сшить платье, его не стыдно было бы одеть даже на выпускной бал, а не то, чтобы ходить каждый день в школу. Сегодня же мы признаем, что качество льноволокна в Беларуси очень низкое, ткани из него никудышные и на экспорт не идут... А почему? Да потому что технология переработки льна сильно отличается от той, что применяли наши матери еще каких-нибудь пятьдесят лет назад.

 В сорок шестом году я не выдержал и пошёл в школу. Мои старшие брат и сестра уже год проучились в первом классе: Сашка – вообще-то, мы его тогда звали Шурик, и он вполне оправдывал это имя – пошел в первый класс одиннадцати лет, хорошая девочка Лида – восьми лет. Я им очень завидовал, когда они пошли в школу, был в курсе того, как они учились, и немало постиг из того, чему их учили. Мне нравилось чистописание и чтение букваря, то есть «мама мыла раму» я читал с не меньшим успехом, чем они. Если с букварём проблем не было, то с тетрадями было невыносимо плохо. Их просто не было у меня. Доставшимися от соседа Гришки, то есть «Ленина», тетрадями и блокнотами безраздельно завладели старшие братья и сестра, и мне пришлось тренировать навыки чистописания на грязноватых обрывках бумаг, газетах и всём, на чём можно было писать карандашом: перьев и ручек в первый год учёбы мы еще не знали. В школе, правда, раздавали (не бесплатно, замечу, и это было проблемой для многих школьников) по одной-две тетради на четверть, да кто ж мне даст такой дефицит? И поэтому в школе тоже писали в тетрадях, самостоятельно сделанных из газет и обёрточной бумаги. Если вы удивились обёрточной бумаге, то расскажу, откуда она взялась.

 В конце сорок пятого – начале сорок шестого годов в Советский Союз начала поступать из Соединенных Штатов Америки помощь американских рабочих, гуманитарная, как теперь сказали бы. Предназначена она была для жителей советских территорий, бывших в оккупации во время войны. Это были продовольственные товары, а также одежда, обувь, одеяла, как всё новое, так и, выражаясь по-современному, секонд-хэнд. Но все чистое, обработанное, упакованное в плотную бумагу и картонные коробки – всё аккуратно, по-американски. Полученное кремянцами американское богатство – а о том, как оно распределялось, расскажу чуть позже – использовалось полностью и без остатка, включая ту же обёрточную бумагу, из которой мы и сшивали тетради.

 Так вот, достигнув дома некоторых успехов в деле собственного просвещения, я твёрдо решил пойти в школу после зимних каникул в январе сорок шестого года. И пошёл. Благо, школа-то была рядом с моим домом. Поскольку мест свободных не было в классе, мне пришлось расположиться на полу где-то в уголочке, подальше от Михаланисыча, чтобы он меня не заметил. Впрочем, я не один валялся на полу. Было еще двое или трое мальчишек, которым не хватило места на скамьях, и они мужественно переносили трудности послевоенного народного образования на полу. Прошло несколько дней, прежде чем я был замечен Михаланисычем. Учитель нисколько не удивился, посмотрел мои «тетради» и, видимо, остался доволен. Затем он поставил около доски, висевшей на стене, табуретку, поставил меня на неё, дал в руки мел и попросил написать буквы алфавита, начиная с «а». На доске уже были написаны какие-то каракули, напоминающие отдельные буквы кириллицы.

 Я начал писать несколько букв рядом с этими иероглифами. Класс замер, точнее, два класса замерли и следили за этим действием. Михаланисыч сказал, обращаясь преимущественно к великовозрастным первоклашкам: «Вот так должны писать все вы». А мне сказал: «А теперь иди домой». Он ведь знал меня, так как часто бывал у нас. Сам он был родом из деревни Клины, о которой уже много раз я здесь упоминал, и его дом стоял по соседству с домом семьи моей тёти Анисьи, маминой сестры, бывшей замужем в этой деревне, и с их соседями мои родители были знакомы. А поскольку наш дом стоял рядом со школой, то в большую перемену Михаил Анисимович, как правило, захаживал к нам – тут я и познакомился с ним, хотя он знал о моём существовании намного раньше.

 После этого случая, то есть публичной оценке моего умения писать, я попытался ещё несколько раз проникнуть в школу, но встретил трудности там, где никак не ожидал: меня не стали пускать в класс старшие первоклассники, двенадцатилетние «лбы», которых, получается, я очень обидел своей презентацией. Больше попыток как-то просочиться в организованную структуру начального образования деревни Кремянка я не совершал. До осени этого же года. Но просиживал рядом с братом и сестрой всё время, пока они делали уроки, и это впоследствии дало свои результаты. Не дождавшись семи лет, осенью сорок шестого я пошёл в первый класс, хотя мог бы сразу пойти и во второй.

 Осенью сорок шестого года в деревню всё ещё поступала американская гуманитарная помощь, а также и по линии миссии ООН в лице Администрации помощи и восстановления Организации Объединенных Наций (ЮНРРА). Эта организация включала в себя 46 государств антигитлеровской коалиции, в том числе и Белоруссию с Украиной, как членов новосозданной Организации Объединенных Наций. В числе добрых дел ЮНРРА была и поставка семян и продовольствия пострадавшим от оккупации Украине и Белоруссии. Каким образом она доходила до нас – не скажу, не знаю. После того, как помощь была принята, «благодарная» советская власть о ней постаралась забыть, и несколько десятилетий нигде, ни единым словом о ней не упоминала, поэтому очень мало было известно обо всех аспектах этой помощи. Но думаю, что помощь распределялась по областям, районам и населённым пунктам по степени выпавших на их долю страданий во время оккупации. Я уже писал, что особых страданий, то есть массовых расстрелов, смертей от голода и прочих зверств фашистских оккупантов на долю Кремянки, к счастью, не выпало, по сравнению с другими, конечно. Но деревню сожгли, нажитое добро почти всё пропало – это тоже надо учитывать. А когда восстановили колхоз и налоги, жить стало не то чтобы лучше и веселей – жить стало очень плохо. А тут еще два засушливых года подряд – сорок пятый и сорок шестой – и вовсе подкосили крестьянина. Так что спасибо американским профсоюзам (помню, говорили тогда, что это помощь американских профсоюзов, хотя, что такое профсоюзы – понятия не имел, но думалось, что это хорошие такие дяди), помощь подоспела вовремя. Худо-бедно, досталось и кремянцам кое-что. Поприоделись малость и даже приобулись. Самым трудным делом оказалось привыкнуть к необычной одежде. Одеться-то оделись, да перестали узнавать себя и других в американской одёжке. Народ-то у нас смешливый, то есть с юмором у него очень даже всё в порядке. Вот попробуйте представить кремянковского мальчишку, одетого в костюм для игры в гольф. Что говорить о гольфе, о котором понятия никто не имел, но и костюма такого никто никогда не видел. Ну, разве что побывавшие в Германии или в Австрии кремянковские воины, может, им довелось увидеть мальчиков в таких костюмах. А мне как раз и достался такой костюм, немного великоватый, правда, но зато я носил его года три. К концу носки я, правда, выглядел в нём совсем как американский беспризорник начала 19-го века, но это всё-таки было намного лучше, чем крашенные черникой домотканые штаны.

 Короче, кремянцы были благодарны американским людям не только за то, что помогли нам вещами и продуктами, но и за возможность посмеяться, порадоваться жизни, которая после войны мало чем их радовала. Но, самое главное – для детей, конечно, – это были продовольственные посылки. Вот когда мы узнали, что помимо картошки с капустой существует ещё и такая еда, представить которую просто было невозможно! До сих пор при воспоминании о тех счастливых днях, когда мы, дети, в школе получали свои пайки из американских посылок, у меня текут слюнки – так запомнился вкус, запах, внешний вид мясного паштета, который нам раздавали по большой ложке из огромной жестяной банки.

 Этот паштет надо было съесть тут же, это было как лекарство, потому что мы были худые и даже измождённые, а нести домой это невероятное, кружащее голову яство, не разрешалось, да и вряд ли бы мы в силах были это сделать. Детям, которые не ходили в школу, выдавали такие же пайки их родителям в той же школе, но после занятий. Самыми любимыми американскими гостинцами для нас были картонные коробки формой напоминавшие огромные кирпичи, в которых – чего только не было: галеты, печенье, конфеты, пакетики с сухим лимонадом, растворимым кофе, шоколадки – всё это невообразимое, невиданное богатство источало такие запахи, от которых кружилась голова и подводило животы. Даже огромные банки с мармеладом, как нам говорили, а на самом деле это было лапшевидное желе из плодов цитрусовых – жуткая вкуснятина! – перестали нас привлекать, как привлекали эти «кирпичи». А дело в том, что такой «кирпич» выдавался каждому ученику (соответственно, и остальным, не ходившим в школу, детям); никто не знал, что в нём находится, в какой комбинации. Абсолютное большинство продуктовых изделий, составлявших содержимое «кирпичей», нам были совершенно не известны. Среди пакетиков со съестными изделиями попадались и предметы личной гигиены, например, пакетики с зубочистками или зубные щетки, о которых мы не имели ни малейшего представления, как не знали, для чего предназначены пакетики с кофе или сухим лимонадом и уж, тем более, жевательная резинка. «Кирпичи» вскрывались здесь же, в классах и на этом учебный день заканчивался. После двух таких раздач с утра последующие раздачи проводились в конце учебного дня, что в значительной степени способствовало улучшению учебного процесса: в ожидании радостного события все немножко умнели, а дисциплина была вообще на высоте.

 Кто знает, может, американские витамины взбадривали нас, и мы становились похожими на детей, хоть чуточку на тех же маленьких американцев? Ведь мало того, что это нас подкрепляло физически. Масса всяких неизвестных нам вещиц, кондитерских изделий самых разнообразных форм, содержания и вкуса, которыми были заполнены «кирпичи», возбуждали не только наши желудки, но в большей степени – мозги, не получившие из-за войны нормального детского мировосприятия, а следовательно, общего развития. Обсуждение в семье и в школе увиденных впервые в жизни необычных вещей: одежды, обуви, игрушек (тоже попадались!), сказочно вкусных продуктов, озарение высыпать в кружку с водой пакетик с непонятным, но вкусным (на язык сначала попробовать!) порошком – в итоге получить шипучий напиток (правда, сначала надо было испугаться и выронить кружку), вкуснее которого ничего никогда не пил, – всё это делало нас умнее, ра;звитее, чем мы были до этого. И учиться стали намного лучше. Начали исчезать зажатость, боязнь, которые были с нами всю нашу предыдущую жизнь. Не беда, что мы не знали, что пакетики с растворимым кофе нужно было растворять в горячей воде. Её ведь надо было вскипятить, а это можно было сделать лишь утром, когда топится печка, а мы в это время в школе. Вот эти пакетики и продолжали лежать, пока порошок в них не превратился в спёкшуюся корку. Однажды кто-то попробовал её жевать... Ну и начали мы жевать, сначала морщась от неприятия такого продукта, но потом нашли, что в нём что-то такое есть. А вот жвачке применения так и не нашли. Полежав, она затвердела, как и кофе, но свойства свои потеряла навсегда.

 В начале сорок седьмого года ещё продолжалось какое-то время поступление продовольственной помощи. Но она выглядела несколько иначе. Теперь шли соевые бобы (отродясь не видывали такого, как у нас называли, американского боба), фасоль необычного, шоколадного цвета. С фасолью наши сразу разобрались, а вот соевые бобы оказались не ко двору. Но потом вместо соевых бобов стали привозить соевую муку, которую можно было даже купить в магазине в Пропойске – город Славгород ещё долго называли Пропойском не только кремянцы, но и сами пропойщане. Поскольку ближе к весне всё явственнее стала ощущаться нехватка картошки – о хлебе я даже не говорю, его не было вообще, – из которой пекли коржи вместо хлеба, то соевая мука стала заметным подспорьем в рационе наших сельчан. Из нее пекли толстые лепёшки на сковородах, называемые у нас сковородниками.

 Приедались они очень быстро, но всё же это было спасение от надвигавшегося на страну голода. Это я сейчас пишу про надвигавшийся на страну голод, а тогда мы знали только то, что в прошлом году из-за засухи был неурожай не только у нас, но и на Украине, откуда приходили письма в одну из кремянковских семей от родственников, живших там. К тому же надо иметь в виду, что колхозы накануне осенью районные заготовительные конторы обобрали до нитки, не оставив даже семян на посевную. Ладно бы только колхозы, так ведь и колхозников тоже основательно почистили налогами. Но колхозам – хочешь, не хочешь – но семена вернули весной. А кто вернёт бедному крестьянину? И когда отсеялись весной сорок седьмого, на пропитание до нового урожая почти ничего не осталось. Тут-то и пригодились не такие уж и большие запасы американской фасоли и сои. Перебивались, как могли. В стране еще действовала карточная система распределения продуктов питания. Но ведь карточки колхозникам не полагались. Да, у нас многие работали на лесосплаве, в артелях, на строительстве в том же Пропойске и они получали карточки. Но ведь семьи были большие, а хлеба на одну карточку на всю семью не купишь. Таяли запасы продуктов и в нашей семье.

 Принято считать, что семьи председателей колхозов жили лучше, чем семьи рядовых колхозников. Возможно, что где-то так и было. Но наша семья этим похвастаться не могла. Председателю колхоза, как и всем остальным колхозникам, начислялись трудодни, которые мы и должны были «кушать» наравне со всеми, независимо оттого, что председателю колхоза начислялось трудодней больше, чем рядовым колхозникам. Продовольственных карточек председателю колхоза тоже не полагалось, так что никаких благ от председательства отца наша семья не имела. Мы были так же плохо одеты и обуты, как и все жители послевоенной Кремянки, исключая тех, кто работал на предприятиях райцентра и на лесосплаве.

 Наступили первые летние каникулы в моей жизни, и оказалось, что это вовсе неплохо по сравнению со школой. Мы, дети, были предоставлены самим себе и от этого каникулы становились еще более привлекательными, если бы не всё более явственно ощущавшееся чувство голода. Картошка кончилась, но слава Богу, в хозяйстве была корова (практически к этому времени коровы были в каждом дворе), без которой жизнь в деревне в те годы была бы невозможна. Притом, что надо было сдать в качестве налога минимум триста литров молока, что при тех скудных удоях, которые давали местные коровы, было значительной, оторванной от семьи частью этого продукта. Но на одном молоке, даже если его пить вволю, не проживешь. Основным продуктом питания был картофель, без него – как без хлеба, о котором приходилось только мечтать. В районе была только одна пекарня, восстановленная вскорости после войны. В ней работало только два человека: пекарь и его помощник. Пекарем был наш кремянковский человек, Василий Уткин, приобретший эту профессию на войне и владевший ею в высшей степени добросовестно. В зачет этой степени нужно поставить его полнейшую порядочность в исполнении технологии выпечки хлеба – все составляющие хлеба: мука, дрожжи, масло, соль, сахар, вода присутствовали в полной пропорции (это по тем-то временам!) в готовой буханке хлеба. Я так думаю, что хлеб, который пёк Василий на фронте, не мог быть плохим, и бывший военный пекарь, как настоящий мастер, не позволяя себе ни малейшего отступления от тех норм хлебопечения, которые были установлены в послевоенное время на «гражданке», добавлял лично от себя чего-то такого, что делало его хлеб неповторимым по качеству, вкусу, запаху. Запах хлеба от пекарни разносился далеко вокруг, будоражил тощие желудки и кружил головы пропойщан и гостей города. Хлеба, продаваемого по карточкам, хватало лишь на два-три магазина в Пропойске. Ко времени, когда его привозили в магазин в специальных хлебных будках, установленных летом на телеге, зимой – на санях, собиралась уже очередь тех, у кого были хлебные карточки и, конечно, толпа из тех, у кого их не было, – эти довольствовались тем, что жадно всматривались и внюхивались в немыслимое и недостижимое богатство, которое, подсчитывая каждую буханку, развозчик хлеба накладывал на вытянутые руки магазинного грузчика в белом (именно в белом, чистом) халате, и тот заносил эту ношу в помещение магазина под благоговейное молчание очереди и толпы. Все молчали, потому что шевелили губами, подсчитывая количество буханок. Буханки были формовые, двухкилограммовые, с хорошо пропеченной коричневой корочкой, сверху чуть чёрной, но не сгоревшей, блестящей.

 Мякиш хлеба был ноздреватый, не сминался и не слипался, а вкус этого обыкновенного ржаного хлеба был лёгким и головокружащим. Но божественными выглядели, и были на вкус буханки белого пшеничного хлеба. Такие же по форме, как и ржаные, но с высоко вздувшейся верхней коркой, они выглядели гораздо большими по сравнению с ржаными, хотя по весу были легче. Корочки у них были золотистого цвета, а верх был чуть коричневатый. Они буквально дышали, когда их брали в руки. Стоит ли говорить, каким был на вкус такой хлеб! Это надо попробовать! Когда выпадало такое редкое счастье, мать нарезала несколько ломтей этого хлеба кубиками в миску с молоком и мы, дети, вмиг осушали довольно приличного размера миску, ожидая, что последует еще одна. Если бы вы в детстве попробовали такое блюдо, вкус его вы уже не забыли бы никогда.

 Но такое, увы, бывало очень редко. Насущным хлебом нашим были «преснаки», огромного размера блины, похожие на лаваш, но из толчёного варёного картофеля, чуть сдобренного мукой, если таковая имелась в доме, и испечённые на поду печи. Их и «преламывали», как лаваш, и ели вместо хлеба с супами или с молоком либо простоквашей. Но наступало время, и картошка кончалась, надо было добывать пропитание. На своём, детском, уровне мы тоже занимались решением продовольственной проблемы. Весной, как только спадал паводок на Соже, на лугу очень скоро вырастал щавель. Его была такая уйма – хоть косой коси. Одновременно подрастал и луговой лук, длинные перья которого, похожие на ковыль, маслянисто блестели на фоне травы и поэтому хорошо были заметны. Мы называли его луговым чесноком, потому что вкус у него был всё-таки чесночный. Мы рвали его охапками, поедали немерено, чередуя со щавелем. Если мы и не наедались такой растительной пищей, то, во всяком случае, всеми неизвестными нам витаминами, всевозможными бактерицидными и антицинготными веществами мы себя накачивали, как следует. Нас не брали поэтому никакие простуды, от нас шарахались всякие вредные микробы и паразиты, но мы чувствовали себя комфортно, несмотря на чесночно-луковый дух, исходивший от нас. А еще мы знали полевой чеснок, который подрастал уже в начале лета на сухих буграх луга, не заливаемых весенним паводком, и на придорожных полосах, когда нашу луговую пищу заглушало такое буйствующее разнотравье, что найти щавель можно было лишь в купах верболоза ближе к берегам Сожа, а луговой чеснок уже отходил. Помимо того, что щавель мы ели сырым, его больше использовали для щей. Варились щи из довольно большого количества щавеля с добавлением, если была, картошки. Затем в горшок клали мелко нарезанное яйцо и забеливались щи молоком или сметаной, опять же, если удавалось сквасить какой кувшин молока. Надо сказать, что подобные щи в Кремянке были весной в ходу всегда, лишь обогащалась их рецептура по мере продвижения кремянцев сначала к коммунизму, а потом и к развитому социализму. А что, очень даже вкусно было!

 Но и это еще не всё.

 После схода паводковых вод с пойменных лугов Сожа на них начинали гнездиться утки. Местами гнёзд было так много, что найти их не составляло никакого труда – достаточно было пройти по густой траве вблизи многочисленных озерец, как у вас из-под ног с громким хлопаньем начинали взлетать утки. И тут вам оставалось всего лишь обнаружить гнездо, в котором утка успевала замаскировать кладку яиц. В голодную весну сорок седьмого утиные гнёзда были промыслом деревенских мальчишек. Тем, кто думает, что мы наносили урон птичьему царству, спешу пояснить: ничуть не больше, а много меньше, чем последовавшее через десять лет дополнение к советской власти – «плюс химизация сельского хозяйства» и расплодившиеся в одно время полчища охотников. Но нам надо было выжить. И мы пекли на кострах птичьи яйца и даже жарили яичницу на всю семью.

 А ещё на лугах какое-то время после паводка оставались залитые водой канавы и низины, в которых оказывалась рыба, не успевшая уйти с большой водой и попавшая в ловушку из-за обилия в таких местах рыбьего корма – зазевалась, зато в самый раз нагуливалась к столу. Ловили её корзинами, бредя в воде по пояс, взмучивая ее, так что рыбы начинали высовывать нос из такой воды – тут-то ее и подцепляли корзиной, как сачком. Ну и, конечно, все лето ловили рыбу удочкой в Соже и в старицах. Сетями тоже ловили, но этим промыслом занимались больше старики, да и то урывками – утром и вечером, остальное время они, как и все взрослые, отдавали работе, если не в колхозе, то по дому.

 Чуть позже, в июне выгоняли кусты щавеля метёлки соцветий, на которых к концу июня вызревали трёхгранные семечки, напоминавшие семена гречихи, что, впрочем, не удивительно: щавель относится к семейству гречишных. Вот эти созревшие метелки мы сдёргивали со стеблей, набивали ими мешок, дома сушили семена на печке. Затем это, похожее на мякину, мололи на ручных жерновах. Получалась такая серая мука, из которой пекли лепёшки. Конечно, эти лепёшки не были хлебом и даже не соевым сковородником, но всё же это была еда. Если же такую лепешку начинить еще черникой, которой в июне уже было полно в лесу, то, поверьте, это было даже вкусно. Дикие ягоды – черника, земляника, ежевика, смородина – облагораживали наш летний рацион, позволяли съедать то, что в рот не лезло, с большой радостью.

 Вот так, следуя за тем, что дарила нам природа, пользуясь её щедростью, мы, дети, выживали до молодой картошки. Когда она появлялась, это было началом новой жизни, в которой было больше места играм, купанию в Соже и, вообще, жизни.

 Если же в доме сохранилась какая копейка, а она могла появиться, я уже рассказывал, как наши кремянцы подрабатывали на погрузке-разгрузке барж на пристани в Пропойске, то картошку могли и купить. Но не в пропойщанском магазине, естественно, – её там и не продавали. И в нашей деревне тоже купить было не у кого – все находились в одинаковых экономических условиях: земля на приусадебных участках одинаковая, размер приусадебного участка одинаковый, семьи приблизительно одинаковые, за редким исключением. Да ещё огороды, примыкавшие к домам, кое у кого находились в лучших условиях, особенно той части домов, что были ближе к паводковым водам, которые почти каждый год заливали их огороды. Таким огородам не страшна была засуха, в них в любом случае вырастала хорошая картошка, но и её хватало семьям хозяев разве что до нового урожая. Поэтому надо было искать, у кого можно купить картошку, если было на что купить, в других деревнях, где были получше земли, а не наш кремень.

 Хорошо помню первое своё большое путешествие за пределы родной деревни. Оно было связано как раз с покупкой картофеля. Это было в 1948 году. Середина июня. Ранним утром мать запрягает гнедую лошадь, укладывает на телегу холщёвые мешки, ещё какие-то вещи, мы садимся на телегу и выезжаем со двора. О том, что мы поедем покупать картошку, мать мне сказала накануне. Я был горд. Мне поручили вполне мужское дело. У старших братьев и сестры летом были свои обязанности, их нельзя было отрывать от дел, вот и настала моя очередь включаться в помощь семье. Я правлю лошадью, мы выезжаем через Самодумку (помните – это часть нашей деревни, расположенная вдоль Сожа?) из деревни, доезжаем до хутора Чернецы. Здесь мать останавливает лошадь, достаёт из-под мешков серп и выжинает высокую траву под кустами вдоль дороги – это для лошади, которая тем временем под моим наблюдением пасётся тут же. Мы грузим траву на телегу, осматривая её, не прихватили ли заодно какого ужа и, убедившись, что гад не попал в телегу, поехали дальше. Проехали Старинку, не спрашивая, продаёт ли кто картошку – все равно никто не продаст, мать уже знает: лишней здесь нет. Ехали по древнему большаку, который связывает районный центр Краснополье с Пропойском. Следующая деревня – Ельня. Расположена она вдоль лесной речки, к которой примыкает густой лес. Деревня получила свое название от речки, которая протекает, обрамлённая густым высоким ельником среди бескрайних просторов соснового бора. С другой стороны к деревне примыкают приусадебные огороды и колхозные поля. Но всё равно, деревня производит впечатление лесной, потому что нет того простора, к которому привыкли кремянцы. Кстати, луг у ельнинского колхоза был, но находился он в двух километрах от нашей Кремянки, о чём я уже знал, а от Ельни, получается, в четырнадцати. Ну и что это за жизнь? Поэтому Ельня мне не понравилась, хотя моя бабушка по матери, Арина, была родом именно из этой Ельни. Родственники бабушки, а значит, и моей матери, и мои, подсказали маме, у кого можно купить картошки. Купили мы всего один мешок, больше не нашли. Поехали дальше.

 Дальше была деревня Нерядовка, в которой мы тоже не нашли готовности поделиться излишками продовольствия, так что пришлось продвигаться дальше на восток. Лично я этому радовался, потому что путешествие продолжалось. Мать хорошо знала эту дорогу и деревни, расположенные по пути следования, ведь ей много раз приходилось еще до революции ездить на традиционные ярмарки, которые проходили четыре раза в год в волостном местечке Молостовка, впоследствии переименованном в более советское Краснополье по названию, как это ни странно, имения, которое принадлежало до революции графу Бенкендорфу. Краснополье со временем стало районным центром, но Молостовские ярмарки, как бренд, продолжались и в советские времена. Эти ярмарки собирали огромное количество и продающих, и покупающих со всего Чериковского уезда, а после революции – из нескольких районов. По рассказам матери, ассортимент товаров на ярмарке был от иголки – до стога сена в буквальном смысле. Ярмарки процветали даже в советские времена, но после войны начали хиреть вместе с вымирающими деревнями, бытом, ремёслами, народными промыслами.

 Кстати, на Молостовских ярмарках богаче всего были представлены бондарный и гончарный промыслы, которые обязаны были осиновым рощам и дубравам в прилегающих к Молостовке лесах и месторождениям великолепной красной глины, отчего цвет полей казался красным, а потому и «краснополье». Ходили на ярмарку кремянцы в советское время больше пешком. Чтобы преодолеть двадцать пять километров пути, выходили накануне ярмарочного дня, во второй половине, доходили до предпоследней перед Краснопольем деревни под названием Медведовка, в которой ночевали, а наутро, бодро преодолев оставшиеся шесть километров, были уже на ярмарке. Обратный путь совершали, уже не останавливаясь, если позволяла накупленная ноша или приобретённая, например, корова, с которой, как известно, не разгонишься. Тогда ночевали в Ельне. Ярмарка в Молостовке привлекала ассортиментом и обилием товаров, а, следовательно, относительной дешевизной. В дореволюционные времена цены вообще были смехотворными. Возможно, что этот фактор долгое время превалировал в сознании кремянцев, и они предпочитали Молостовскую ярмарку Пропойско;й, хотя до последней было рукой подать. Но я уже не раз говорил, что расстояние – не преграда для кремянцев, как и вообще, всякие трудности. Тут надо сказать, что вот такие путешествия совершали не только кремянцы. И не только им приходилось ночевать в чужих деревнях. Точно так же находили ночной приют и странники из чужих деревень, случись им оказаться в Кремянке. Это было характерно для тех времён, когда передвигались на большие расстояния пешком или на телегах. Дать приют человеку было обычным явлением.

 Вот по такой дороге мы продолжили поиски «зажиточных колхозников», у которых можно было бы купить несколько мешков бульбы, пока не прибыли в деревню Городецкая, что в десяти километрах от Краснополья. Нам повезло. Это была довольно большая деревня, расположенная на хороших землях, засуха которым не нанесла существенного ущерба, и картошкой там можно было разжиться. Мы довольно быстро заполнили бульбой свои мешки и после небольшого перекуса, состоявшего из сковородника и небольшого куска сала (воду тоже взяли с собой), повернули обратно. Мать была довольна: во-первых, таки купили бульбы, а, во-вторых, по сходной цене. Забрав на обратном пути купленный в Ельне мешок, двинулись на Старинку.

 Через Старинку протекает та самая речушка, с которой мы уже встречались, – Ельня. Летом – это неширокая, до пятнадцати метров, и неглубокая, местами чуть более одного метра, река. Течение быстрое, вода совершенно прозрачная, дно и берега песчаные – «лепота»! Это как раз на ней и собирались строить в Старинке местный колхозный коммунизм, так как советская власть в Старинке в лице сельского Совета уже была, а до полного коммунизма не хватало только электростанции. И очень жаль, что не построили.

 Наверняка была бы плотина, через которую мы и проехали бы благополучно с полной телегой картошки. Но плотину до войны построить не успели. А если бы и успели, то перед приходом немцев её взорвали бы «наши», чтоб не досталось фашистам полкоммунизма, а если бы в спешке отступления этого не сделали, то взорвали бы партизаны – такая диверсия была бы в тылу врага! Полдеревни затопило бы, зато о-го-го! До сих пор вспоминали бы в числе героических подвигов партизан в тылу врага. Взорвали же они в сорок третьем в Пропойске электростанцию, построенную перед самой войной мощностью аж шестьдесят киловатт. Большого вреда фашистам это не доставило: посидели без электрического света двое суток и поставили свой двигатель с генератором, сеть-то не пострадала. Зато, какой героизм с риском для жизни проявили партизаны.

 Но плотины в Старинке не было, и каждую весну Ельня превращалась в разъярённый Енисей, так как русло реки пролегало во впадинах между холмами, а в черте Старинки эти холмы были хорошо выражены. Река здесь, по выходу из леса, зажималась ими с двух сторон, затем ниже по течению холмы шли на понижение, пока не сходили на уровень берегов протекающего в трёх километрах от деревни Сожа. Русло Ельни собирало огромное количество талых вод, и весной бурная река доставляла много неприятностей старинчанам тем, что часто подтапливала дворы той части деревни, что была расположена по её низким берегам. А ещё река регулярно сносила деревянный мост, который постоянно был временным.

 Это был примитивный мост, сооружаемый после каждого паводка. На оба высоких берега поперёк реки клали штук десять длинных и довольно толстых сосновых брёвен (лес-то рядом) вплотную друг к другу. Затем поперёк этих брёвен настилали совсем уж тонкие брёвнышки и прибивали их, где скобами, где гвоздями к несущим брёвнам. Мост готов! Но очень скоро верхний настил оставался на брёвнах местами, тонкие брёвнышки куда-то уносило или уносили – мало ли причин! – и ездить приходилось уже не поперек брёвен, а вдоль. На пустой телеге еще можно было проехать, а вот на гружёной, как у нас, это было проблемой. И первым это понял наш гнедой коняка, который стал перед этим мостом, как перед Аничковым. Надо сказать, что день уже клонился к вечеру, надо было поторапливаться, впереди ведь ещё семь километров по очень густому лесу. В июне ночи хоть и короткие, но всё равно тёмные, а в лесу тем паче. Поэтому мы начали поторапливать упрямца-коня, но он упирался, всё больше бронзовея. Мать начала дергать за уздцы, упрашивая животное преодолеть искусственное сооружение засветло, а я, стоя рядом с телегой, размахивал вожжами, понукая коняку к тому же. Что с ним случилось – мы не могли понять, ведь мост хорошо был виден, да и знаком коню: мы же утром переехали по нему без всяких проблем.

 Наконец, бедному коняке надоело корчить из себя скульптуру, видимо, потому, что наши уговоры перешли в ощутимые угрозы или он собрался с силами, но он вдруг рванул с места в карьер и прыжками по гладким брёвнам, кое-где перекрываемым поперечным настилом, отчего наша телега подпрыгивала, едва не сбрасывая мешки в реку, начал преодолевать временное инженерное сооружение. Казалось, ещё пара прыжков – и мы форсируем Ельню.

 Но когда передние колёса телеги вот-вот должны были выкатиться на берег, задние колёса попали в щели между толстыми брёвнами, и их заклинило. Конь снова превратился в скульптуру, но уже на другом берегу. Нам пришлось снять мешки с телеги, затем приподнять её из тисков брёвен с помощью рычага, в качестве которого послужила одна из свободно лежавших поперечин. Конь легко вытянул телегу на дорогу, мы обратно погрузили мешки и, довольные, двинулись домой. Всю дорогу мать восхищалось умной лошадкой и сокрушалась по поводу людской глупости. Конь же, чувствуя скорый конец дороги, пофыркивая, словно соглашаясь с человеком, деловито и бодро тянул повозку. Поздним летним вечером мы были дома.

 Эта поездка произвела на меня огромное впечатление, я почувствовал себя таким же нужным в семье человеком, какими мне казались мои старшие сестра и брат, те, что учились в школе классом раньше меня. Как и во всех больших семьях в те времена, в нашей семье как-то сами собой устанавливались правила поведения членов семьи – своеобразный внутрисемейный кодекс, который автоматически устанавливал права и обязанности члена семьи, его место в семейной ячейке, начиная с пелёнок. Причем, процесс постижения прав и обязанностей происходил без длительных нравоучений, уговоров и тому подобных воспитательных приёмов. Достаточно было отцу или матери сказать, что кому надо сделать, и это не вызывало никаких возражений, а потом во многих случаях становилось твоей обязанностью. Например, обязанностью сестры Лиды становилась уборка в доме, брата Александра – доставка воды и ежевечерняя заготовка дров, моя – пригнать с паши телёнка. Это только примеры, обязанностей у нас было много больше. С возрастом они становились всё более ответственными. Поэтому в те времена дети взрослели рано, были намного самостоятельнее своих нынешних сверстников и к дальнейшей своей жизни относились ответственно.

**Глава восьмая**

**...ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО**

 Тем временем жизнь в деревне текла своим установившимся многовековым порядком с поправками, разумеется, на те порядки, которые устанавливали текущее время и власть. Люди же работали, изнашивались, некоторые даже умирали. Но подрастало, взрослело молодое поколение. Игрались свадьбы. Рождались дети. В первые послевоенные годы детей в Кремянке родилось очень мало. Не от кого было рожать. Первые дети после войны родились в 1947 году. Это были дети тех, кому посчастливилось вернуться с войны. Таких было мало. В этом же году начали призываться в армию парни, которым исполнилось девятнадцать лет.

 Служить надо было, напомню, три года в армии и четыре – во флоте. Вот и попадают на первые пятидесятые годы первые послевоенные свадьбы в Кремянке. Свадьбы были большим событием в деревне. Игрались они с размахом, какой только могли себе позволить в те годы жители деревни. Материальная составляющая веселья (кстати, по-белорусски свадьба – «вяселле») была, конечно, скромной, но зато церемониальная часть была очень насыщенной.

 Свадьбы игрались, как правило, осенью или зимой. К этому времени подрастала кое-какая домашняя живность, которая по этому случаю находила себе место на свадебном столе, в относительном достатке были картофель и овощи, домашние заготовки грибов и всего прочего, что дарила природа. Готовились и напитки, в смысле закупались недорогие вина (кстати, очень неплохого качества из натуральных ягод; это много позже производители опустились до «чернил»), и, разумеется, гнали самогонку. Её-то, родимую, готовили подпольно, хотя знали об этом все. За деревней, через поле, примерно в полукилометре располагался молодой сосонник, сразу же за ним – болотце, даже не болотце, а неширокая, но длинная торфяная полоса, слегка заболоченная, с блюдцами чистой воды, отделяющая молодой лесок от массива старого леса. Вот это-то место называлось Забражье. Понятное дело, от слова «брага». Потому что в молодом леске – а он всегда был молодой, потому как служил кремянцам поставщиком сосновых кольев, – еще до тех времён, как государство монополизировало производство алкоголя, кремянцы гнали самогон. Место было хорошо тем, что в изобилии были дрова для костра, вода и вообще, во всех отношениях удобное. Брагу готовили дома. Солодом служил ячмень, который проращивался в длинном узком корыте на печи. Ячмень надо было время от времени поливать водой. Это с удовольствием делали мы, дети. Но исключительно с юннатской точки зрения. Ну, интересно было наблюдать, как набухают зёрна, затем проклёвываются ростки и, наконец, появляется дурманящий аромат солода. Когда аромат заявлял о себе требовательно и устойчиво, солод пускался в дело. Его крупно размалывали, засыпали в подготовленную бочку с тёплой водой, загружали туда варёный, растолчённый в ступе картофель, добавляли ржаную муку (на такое святое дело находился какой пуд муки), бочка укрывалась рядном, а то и вовсе полушубком, и смесь начинала «работать». Конечно же, мы, дети, сразу же начинали «слушать» бочку и радовались, когда она начинала пыхтеть, затем булькать всё громче и громче. Тут важно было: кто первый услышит, тот и герой. Наконец, подходило время, бочку начинал слушать уже «главный технолог» производства, безошибочно определяя: пора. Бочку вытаскивали во двор, грузили на подводу и везли в Забражье. Заодно прихватывали и весь технологический инвентарь: два трёхведёрных чугуна (в центре днища одного из них зияло круглое отверстие), корыто, сквозь которое была продета труба с коленом на одном конце, вёдра, а также более мелкий инвентарь и тара для будущей спиртосодержащей жидкости: бутыли, баклаги, просто бутылки. В Забражье брагу уже ждал костёр, разведённый на старом кострище заранее посланным костровым. Рядом с костром уже стояли смонтированные ко;злы. В костер ставили один из чугунов (без дырки, естественно, в днище). Наливали в него определённое количество браги, накрывали вторым трехведёрником с отверстием в днище. На козлы устанавливалось корыто с трубой (вообще-то – это должен был быть змеевик, но, поди, изготовь его) коленом, которое вставлялось в отверстие в днище верхнего чугуна. Места соединений тут же замазывались предусмотрительно заготовленной глиной, в корыто наливалась вода, к нижнему чугуну вплотную подкатывались раскалённые угли – и процесс пошёл! Вот и вся, вкратце, технология производства самогонки в деревне Кремянка. Разумеется, без каких-то секретов (а у каждого хозяина они были свои) сделать хорошую самогонку невозможно.

 Мастерство, как известно, приходит с опытом, а опыт – со временем. И того, и другого у кремянцев хватало. Замечу, что в отдельных слагаемых процесса, как то: вынос и погрузка бочки на телегу, сбор технологической оснастки (не у каждого хозяина был полный комплект) и сырья (опять же, пуд какой ячменя для солода не всегда был под рукой, а конечный продукт срочно требуется!) участвовала некоторая часть соседей (преимущественно мужского пола), и, таким образом, процесс приобретал в некотором роде общественный характер. Ну, а если вышеозначенный продукт предназначался для такого святого всенародного таинства, как свадьба, то в процессе его производства было задействовано значительное число народных умельцев по этой части.

 В церемониальной части свадьбы участвовала едва ли не вся деревня. Во всяком случае, в качестве зрителей. В собственно свадьбе участие принимали все родственники, как со стороны жениха, так и невесты, вплоть до третьего колена. Свадьбе обязательно предшествовали обряды сватовства и обручения. Сватовство проходило в некоторой тайне. Тайна была условной. Все знали, что такой-то Иван сватается к такой-то Марье, но делали вид, что не знают. Сватовство проходило в узком кругу, поздним вечером, огородами. Так надо было. А уже после состоявшегося сватовства объявлялись «заручины», то есть обручение. Заручины были публичным мероприятием в семье жениха, но присутствовал на нём ограниченный круг ближайших родственников с обеих сторон. Как правило, заручины игрались в субботу или воскресенье, а по этим дням в деревне организовывались вечеринки.

 Клуба в пятидесятые годы еще не было в деревне, и вечеринки устраивались по очереди в домах, размеры которых позволяли проводить такое мероприятие. Вечеринки устраивали одновременно Самодумка и Рекотка. Римляне же (это те, которые жили на Риму;, помните?) могли участвовать, как в той, так и в другой вечеринке, но часто организовывали и на самом Риму, а вот приход рекотчан на самодумскую вечеринку и наоборот, не поощрялся ни одной из сторон. Этикет такой был у кремянцев. Но вот после заручин на вечеринку, которая в этот день происходила в доме невесты или, если её хата не позволяла, то в доме тёти или дяди, мог придти любой. Этикет, опять же. Такая вечеринка проходила под знаком молодой пары. Им посвящались танцы, песни, частушки, на которые молодежь была очень даже способна. От заручин до свадьбы проходило некоторое время: месяц, а то и два. За это время притирались семьи жениха и невесты, складывались добрые, почти родственные, отношения. Молодые разлучались только на ночь, потому как – «ни Боже мой!». Мораль, значит, такая была.

 Наконец, приходило время свадьбы – это было время осенних либо зимних свадеб, перед великим постом. Интереснее проходили свадьбы, когда жених и невеста жили на приличном расстоянии друг от друга. А ещё лучше – если в разных деревнях. Такое тоже часто случалось.

 Не знаю, как это удавалось молодым найти друг друга за семь, а то и за четырнадцать километров, но вот же, как-то находили. Тут, правда, надо принять во внимание, что в деревне очень много родственных кланов. Все они, как правило, одной фамилии. У нас в деревне было примерно шестнадцать фамилий (на сто двадцать дворов), из них клановых – половина. Хотя, если покопаться в родословной другой половины, то наверняка и эти фамилии оказались бы родственными. Поэтому и засылали сватов в другие деревни, как, впрочем, и в нашу – из других деревень. Так вот и получалось, что не было в Кремянке неженатых-незамужних. Если бы не война. Но и те наши девушки, чьих женихов выкосила война, не остались в девках. Кто-то из них уехал по оргнабору «на восстановление разрушенного войной народного хозяйства», или как мы говорили, – «по вербовке», кого-то нашёл «занесённый ветерком попутным» в Кремянку уцелевший солдат, но почти все как-то устроились в личной жизни.

 Конечно, свадьба была обрядом, имеющим свои глубокие корни во времени. Правда, церковное венчание заменила регистрация брака в сельском совете. Но сама регистрация проходила буднично: когда уже всё было оговорено между молодыми и их родителями, намечена свадьба, то накануне её пара шла в сельсовет и «расписывалась». Но это вовсе не означало, что они уже стали мужем и женой. Законно – да. Морально – нет. Расписавшись, каждый шёл в свой дом, к родителям. Завтра они, после свадьбы, по полному праву станут мужем и женой.

 В каждой отдельной деревне были свои особенности в свадебном церемониале, нюансы, придающие ему оригинальность и неповторимость. Наряжание невесты, украшение свадебных повозок, лошадей, сбруи, а до этого изготовление бумажных цветов и разноцветных лент – всем этим занимались подружки невесты. Свадебную ёлку готовили дружки жениха и их подруги. Небольшая ёлочка обильно увешивалась яркими бумажными цветами так, что превращалась в огромный пёстрый букет, наводивший умиление на деревенских старушек. Если ёлка им нравилась, а ёлка должна была быть не только красивая, но и «складная», старушки одобрительно комментировали этот факт, вполне резонно полагая, что и жизнь у молодых будет такая же складная и красивая. Если что-то в ёлке не нравилось – поджимали губки и от комментариев вообще воздерживались. Впрочем, обсуждению подлежало всё: наряд невесты, жениха, подневестницы и подженишника – так у нас называли подружку невесты и дружка жениха, а ими становились те, чья очередь на свадьбу была следующей, – украшение повозок и лошадей и многое другое. И не важно, чтобы всё было богато. Важно, чтобы во всём была гармония, выдерживался некий традиционный, классический образ свадьбы в целом. Безвкусица, вычурность не поощрялись, даже если они претендовали на некое богатство.

 И вот, утром в воскресенье, слегка «зарядившись» перед дорогой, самые близкие гости жениха грузились на телеги или сани, и свадебный обоз направлялся за невестой. На первой повозке – жених с дружком, крёстные мать и отец жениха, гармонист с барабанщиком. Пара лошадей: в гривах цветы, дуга увита яркими лентами и цветами, под дугой – колокольчики, оглобли перевиты цветными лентами; в руках у подженишника умопомрачительная ёлка, в кепках ребят тоже цветы – всё это несется под разудалую трель гармошки и оглушительный ритм бубна. На последующих повозках – молодёжь – друзья жениха со своими подругами. Здесь царят свадебные песни, посвящённые жениху, смех и настоящее веселье.

 В стане невесты в это время царит немного суматошное ожидание. Гости уже собрались, слегка подзаправились, как бы приняли на грудь аперитив, нетерпеливо ожидают прибытия жениха и его свиты. Наконец, жених прибывает. Но на подъезде к дому невесты свадебной кавалькаде приходится преодолеть испытание в виде выкупа за право подъехать к невесте: дорогу перегораживают молодые парни из деревни невесты или если свадьба происходит в одной деревне, то соседские парни, и требуют выкупа за невесту. Начинаются торги, установленные обычаями: дружки жениха откупаются прихваченной для этих целей самогонкой; детишкам, которых по этому случаю уйма, разбрасываются конфеты типа карамель «пуншевая» – все довольны, и свадебный кортёж въезжает во двор невесты. Начинается церемония представления гостей сторон, хотя эти «стороны» могли быть уже давно знакомы. Гостей просят в дом, и начинался следующий акт свадебной церемонии.

 После небольшого количества тостов и благословения родителей подружки невесты начинают песенно «скорбеть» о своей подруге. Мотив песен жалостливо-возвышенный, в нём звучат нотки сожаления о том, что девичество подруги закончилось, она покидает родной дом, родителей, родную деревню, своих «несчастных» подруг, но в то же время в целом ощущается здравая мысль: так надо. Конечно, невеста ревмя ревёт, особенно когда хор девушек предрекает ей невесёлую жизнь у свекровки (что далеко не всегда соответствовало практике); ревут младшие сестры и совсем малые братья (семьи-то большие были), постепенно жалость захватывает всю женскую половину, но тут вмешивается крёстный отец невесты – он вроде тамады на свадьбе – и предотвращает слёзный потоп встречным потоком веселящей жидкости. Настрой сразу же меняется на мажорный лад, а песни переходят в величальный мотив: славят невесту, её родителей, некоторые на радостях пускаются в пляс. Но происходит это сравнительно недолго – основной праздник состоится в доме жениха. Невеста прощается с теми, кто остаётся дома: повозки и гостей жениха, и гостей невесты уже готовы – удвоенный свадебный поезд двигается в деревню или к дому жениха.

 Прибытие свадебного поезда – событие для всей деревни. Ребятня вприпрыжку сопровождает кортёж с момента его въезда в Кремянку. Стоит шум и гам: разрываются мехи гармоней, едва не лопается кожа на бубнах, с каждой повозки несется своя песня – кто громче! Ко всему этому добавляются вопли детей и испуганный лай собак. Вот такая она – свадьба!

 Во дворе жениха молодых встречают хлебом-солью, осыпают зерном, вводят в дом. Всё это происходит под острые шутки-прибаутки, смех и умиление.

 Дальше начинается «пир на весь мир», в процессе которого происходил ритуал одаривания молодых, а дальше – «танцы до упаду». Точно такое же участие кремянцев вызывали и некоторые другие события, которые случались в деревне: проводы в армию, вселение в новый дом, крестины, похороны – всё это находило отклик в душах людей.

 Тут надо сказать, что в пятидесятые годы, да и, пожалуй, в шестидесятые, в деревне задавала тон культура, носителями которой были люди, родившиеся во второй половине девятнадцатого – начале двадцатого веков, воспитанные ещё дореволюционной моралью, основанной на христианских заповедях. Как видим, мораль эта была очень устойчивой, потому что она была общечеловеческой, признаваемой абсолютным большинством общества. Порождённые этой моралью традиции были так же устойчивы и долговечны, пока не пришло время разрушения созданного многовекового уклада. В отличие от городов, в деревнях это разрушение чаще всего было не таким радикальным, хотя и в них находились горячие головы.

 Но сила воздействия общественного мнения (как сейчас сказали бы) односельчан на такие «передовые головы» была очень сильна и действенна, ведь жизнь в деревне – не у прохожих на виду: посмотрел, пошел дальше и забыл, – она там одна на всех, как в огромной коммунальной квартире. Поэтому долгое время в деревне сохранялись традиции, обычаи предков, сохранялось и передавалось из поколения в поколение всё лучшее из «тех богатств, которые выработало человечество». Так что прав был Владимир Ленин, признавая выработанные человечеством богатства. Вот только получилось, что не самую лучшую часть богатств имел в виду вождь мирового пролетариата, призывая коммунистов обогащать ими свою память. Узок круг был у вождя пролетариата. Страшно далёк он был от народа.

 Свадьбы, рождения, другие события шли своим чередом. Но это всё происходило на фоне непрерывного, тяжёлого труда, как в колхозе, так и в собственных хозяйствах. К началу пятидесятых годов Кремянка в основном отстроилась. Уже ставили себе дома женившиеся и отделившиеся от родителей сыновья. Для кремянцев великим благом было то, о чем я уже писал: её местоположение, и, в особенности, окружающий её с одной стороны лес, с другой – река. Когда после войны вышло правительственное постановление о бесплатной выдаче колхозникам государственного леса на постройку домов вместо сгоревших, кремянцы не спали в тряпочку. Лес-то вот он, рядом. Да какой лес – корабельные рощи! С одной сосны выходило два полноценных бревна на сруб, да ещё и третье, потоньше – это уже на сарай или ещё какую постройку. Деревенскую улицу в момент занял сплошной штабель очищенных сосновых брёвен, и очень быстро выстроился ряд срубов от Самодумки до Рекотки. Срубы росли быстро, но ведь нужны были ещё и доски, кирпич, стекло – всего этого не хватало в районе, как, впрочем, и во всей Белоруссии. Выходили из положения тем, что доски пилили вручную специальными продольными пилами. Отёсанные с двух сторон и размеченные шнуром на нужную толщину досок, брёвна поднимались на козлы высотой в человеческий рост, пильщики занимали свои места: один становился внизу, под концом бревна, другой – как гимнастка, на верху этого конца бревна. Тяжёлая полутораметровая пила с ручками, расположенными перпендикулярно полотну, приводилась в движение вверх-вниз обеими руками пильщиков. Это была очень тяжёлая работа, особенно для верхнего пильщика, усугублявшаяся опасностью балансирования на высоте двух метров, на неширокой плахе, при рывке пилы вверх. Нелегко приходилось и нижнему пильщику: попробуйте простоять хотя бы несколько минут, задрав голову вверх и совершая резкие движения руками вверх-вниз даже без той нагрузки, которую придаёт им пила. А если при этом ещё и надо внимательно следить, чтобы пила шла точно по линии разметки, а тут опилки засыпают тебе глаза – защитных очков-то и в помине не было. Внизу, как правило, стоял дед, вверху – молодой мужчина, минимум, 18 лет отроду. За один летний день распиливались хорошо, если два бревна.

 С кирпичом было сложнее.

 Как только после освобождения вернулись кремянцы в свою деревню, первым делом расчистили свои сгоревшие подворья, разобрали печи, очистили и сложили кирпич. Кирпич был ещё дореволюционный, с клеймом КК, что означало: Князь Кропоткин Часть кирпича пошла на печи-времянки. Другая часть дожидалась своего времени. Когда начали строиться, этот кирпич пошел в дело. Его не хватало, и тогда кремянцы пошли в Пропойск раскапывать городские руины, выбирая пригодный кирпич.

 В самом Пропойске у подножья высокого берега Прони было месторождение глины, и сразу после освобождения города на этом месторождении местные власти организовали заводик по производству кирпича. Ясно, что заводского оборудования для него не было никакого – всё делалось вручную. Месили глину, правда, двумя лошадиными мешалками: пара лошадей ходила по кругу, впряженная в длинную станину, вращавшую ось шнека, установленного в центре ямы, в которую засыпалась глина и наливалась вода. Глина подвозилась рабочими на тачках, благо карьер был рядом и был совсем неглубокий, а воду подвозили из Прони в бочках-телегах, опять же и река была рядом. Выбирали рабочие замес из ямы лопатами, нагружали в тачки и катили к площадке, где формовали кирпичи.

 Когда глина застывала в формах, их освобождали от кирпича-сырца, который через некоторое время перемещали в печи для обжига. Печи были небольшие, топились дровами. Производительность завода была невысокой по сравнению с конвейерным производством, рабочих было довольно много, но и зарплата у них была смехотворная, а основных фондов было – кот наплакал, поэтому рентабельность такого производства была удовлетворительной для того времени. Главное – кирпич, и неплохого качества, шёл на восстановление города. Доставалось кое-что и населению на печи.

 Мне пришлось самому наблюдать почти весь технологический процесс изготовления кирпича на этом заводе. Дело в том, что на заводе работал мой дядя, тот самый Иосиф Иванович. И однажды он взял меня с собой на завод. На заводе дядю называли «товарищ технорук». Помню, меня это поразило. Слово «технорук» мне совершенно не понравилось, я сильно переживал по этому поводу, пока огорчённо не спросил у дяди, почему его так называют. Молодой и красивый дядя рассмеялся белозубым смехом и разъяснил мне, что это означает «технический руководитель». Мне стало легче, но и по сей день слово «технорук» у меня вызывает какую-то тревожную ассоциацию. А на заводе мне больше всего понравились тачки (мне б такую!), которые лихо катили по доскам рабочие, а ещё – глина. До чего ж она была красивая! Глина была жирная, разноцветная: голубая, с красными прожилками, а иногда и вовсе бордово-красная, напоминавшая мясной паштет из американских посылок. Может быть, эту глину можно было использовать для изготовления чего-нибудь более ценного, чем кирпич, но что было делать пропойщанам – кирпич тогда был дороже золота.

 Месторождение уникальной глины лет через десять выработали, завод закрыли. Некоторое время в Пропойске почти не строили многоквартирных жилых домов. Когда началась эра панельного домостроения, в городе построили завод железобетонных изделий. Сразу же появились стандартные панельные пятиэтажки. Всё – как у всех.

 Некоторые предприимчивые кремянцы не ждали готового заводского кирпича, сами решили его изготавливать. Глины для этой цели было достаточно в окрестностях деревни. Вот только с обжигом дело было практически невыполнимым. Решили, что достаточно будет солнца, если глиняные заготовки полежат под ним хотя бы с месяц. Некоторые умудрялись пускать в дело такой кирпич без каких-либо последствий. Если, скажем, класть такой кирпич в такие места, где он не испытывает сильных нагрузок, например, выстилать им поверхности печи. Но не все принимали в расчет низкую прочность на сжатие самодельного кирпича.

 Нашим соседям, наискосок через улицу, клал печку печник, который сложил не одну печь в Кремянке. Печник был нездешний, был глуховат, но нареканий в его адрес не было. Не знаю, применял ли он где-нибудь необожжённый кирпич, но здесь ему пришлось его класть вперемежку с заводским, потому что у хозяев того и другого было поровну. Дом они выстроили большой, соответственно, и печь была – что надо. Глуховатый печник уже сидел на коньке крыши, выводил трубу. Осталось положить последний кирпич. Бабка Параска уже готовилась печь драники. Может, ей глуховатый печник объяснил, что лучше будет, если печь сразу же затопить – кирпич-сырец обожжется, прочнее будет. Во всяком случае, бабка

 Параска огонь в печи точно развела – я сам видел, как шел дымок из трубы, а печник еще сидел на крыше, готовясь положить последний кирпич. Да и дело-то было летним утром, самое время драники печь. Я уже в это время был на улице, и меня заинтересовал сидящий на коньке возле дымящий трубы печник. Вот он берет кирпич, кладет на него раствор глины, поднимает его над трубой и... труба исчезает! Раздаётся страшный грохот, в доме дрожат стекла, и, наверно, не в одном, потому что на улицу выскакивают все близживущие соседи – а вдруг война! Это вам сейчас смешно, а нас еще долго после войны любой грохот: взрыв ли, отдаленный раскат грома, даже гул самолета вызывал в подсознании опасность – войну. Со двора несутся вопли бабки Параски – туда все и бегут. Я тоже. Протискиваюсь в дверь дома.

 Вместо печи в углу справа – огромная куча кирпича. Напротив, у окна, на скамье стоит макитра с натёртой бульбой. Перепуганная насмерть бабка Параска держит в руке чепелу\*), которой она намеревалась сунуть в печь сковороду, да на секунду замешкалась около макитры с тестом. Эта секунда и спасла её. Не выдержал кирпич-сырец – рухнула печь. Хорошо хоть обошлось испугом, хоть и не лёгким, бабки Параски. Зато позже печь сложили без единого самодельного кирпича.

 Кремянка отстраивалась.

 \*)Так в Кремянке называли ухват для сковороды (от слова цеплять - чапляць по-бел.)

 Вот только мало было зелени вдоль улицы. Кое-где высились деревья, которых не достал огонь, полыхавший в конце июля сорок третьего. Но уже приживались, набирали силу молодые клёны, березки, кусты сирени в новеньких палисадниках. В придворовых огородах почти не осталось фруктовых деревьев, нужны были саженцы, их приобрести было дорого, экономили на всём ради того, чтобы сначала отстроиться. Поэтому находили в лесу дички, пересаживали их в свои огороды, а затем уже прививали, если удавалось раздобыть материал для привоя. Во всей деревне яблонь было наперечёт, сколько и у кого – об этом очень хорошо были осведомлены мальчишки. Яблокам вырасти не давали, на них совершали набеги, когда они только-только начинали наливаться. За строительными хлопотами хозяева яблонь смотрели на проделки мальчишек сквозь пальцы.

 Построила новый дом и наша семья. Сруб рубили двое пришлых плотников, да печку сложил тоже пришлый, но хороший печник, не тот, что клал печь бабке Параске. Отцу мало приходилось заниматься домом – всё время у него отнимал колхоз, председателем которого он стал сразу же после освобождения. Поэтому почти вся работа по отделке дома легла на плечи моих братьев. Помогал и дед Иван. После того, как закончили строить наш дом, такой же бригадой построили дом и деду.

 Летом сорок восьмого года мы вселились в новый дом. Хорошо переселяться летом! Да еще когда старый дом, из которого переселяешься, – рядом, да пожиток всяких – минимум. Новый дом казался таким огромным, звонким. Всё в нем было новым, свежеструганным: стены, потолок, пол – никакой краски – всё пахнет сосной, голова кружится.

 Особой отделкой построенные дома в ту пору не отличались. Отсутствие электричества, а, следовательно, механизированной обработки древесины, сужало возможности строящих дом. Я не говорю «строителей», потому что война выкосила и тех, кто умел строить красиво и без электричества. Но на это нужны были руки и время. А о том, как пилить и кто пилил вручную доски, я уже рассказывал.

 Подрастали и мы, дети войны. Имея за плечами 10-11 лет, помогали по домашнему хозяйству, летом – в особенности. Чем только не приходилось заниматься! Начиная с посевной, когда нужно было помогать взрослым, преимущественно женщинам, таскать на двуколке – транспортном средстве, мало чем отличавшемся от доисторического – навоз на полосы, как называли у нас нарезанные за деревней длинные, с полкилометра, полоски земли, составлявшие основную земельную площадь из тех пятидесяти «соток», что полагались на семью колхозника. В оглобли двуколки впрягалась старшая «людская сила», кто помоложе да поменьше – тянули за постромки, так всей гурьбой, то есть семьёй, и вывозили ценнейший продукт на поле. Навоз был залогом того, что на такой скудной песчано-кремнистой почве что-то да вырастет. И ведь вырастало! Но для этого надо было как следует потрудиться всем: и взрослым, и детям. Ну и, конечно, если не было длительной засухи. Разве что просо вырастало при любой погоде. А вот борьба с сорняками возлагалась на детей. Надо сказать, что особого разнообразия сорняков на наших полях не было. Самыми злостными были четыре вида, обожавших наши бедные почвы: вьюнок, лебеда, свиные бурачки и брица. Последние два сорняка названы так, как их называли у нас. Свиные бурачки внешне напоминали мяту, корни их напоминали маленькую свёклу, эту траву очень любили свиньи. Брица была похожа на осоку, только листья у нее были нежные, не то, что у осоки – прямо лезвия бритвы. Вот эта брица очень любила посевы проса, она была очень похожа на просяные всходы. Пропалывать просо надо было очень внимательно, чтобы вместе с брицей не вырвать и это очень полезное растение. Поэтому прополка проса доверялась девочкам-подросткам, но никак не пацанам – они своими заскорузлыми пальцами повыдирали бы все подряд. Вообще, прополка проса – это адова работа. Не успеют культурные ростки вылезти из земли, а место под солнцем им уже нет: брица и лебеда уверенно обживают не предназначенную им площадь. И скоро все поле за деревней белеет платками – женская половина населения пропалывает свои посевы, сидя на корточках. Ловко и быстро выдёргивают сорную траву женские руки, только удивляешься, как это остаются нетронутыми просяные росточки, едва цепляющиеся несколькими корешками-волосками за песок. Труд этот облегчается тем, что из песчаной сухой почвы сорняки легко выдёргиваются, не цепляя просяные ростки, но всё равно, попробуйте вот так, на корточках, да на жаре, хотя бы час просидеть. За день-два пропалываются все просяные лоскуты в сплошном картофельном одеяле. Еще через неделю эти лоскуты не узнать: они пышно разрастаются и обгоняют по высоте свою извечную соседку – картошку. Стоит отметить, что таким же древним способом в те годы делалась прополка и колхозных посевов проса. А это вам не собственная «сотка». Кстати, с этой «сотки» получали два-три полновесных мешка зерна. Если не поленишься ещё раз прополоть через две-три недели после первой прополки.

 Картошку пропалывать радости мало. Как только она взошла – бери борону, впрягайся, опять же, чуть ли не всей семьей, и боронуй посевы. Борона, правда, деревянная, намного легче железной, но натаскаешься – будь здоров. Не успеешь обрадоваться, тут уж время подходит разграничивать, то есть обозначать борозды между рядами картошки. А чем? Да сохой же! Это в фильмах про дореволюционную крестьянскую жизнь показывали бородатого крестьянина с сохой и тощей клячей. А у нас в ту же соху впрягались сами, даже не с усами, а всё больше в юбках, и дело двигалось очень споро. Вот после разграничения в дело вступала мотыга. Ею окучивали еще невысокие картофельные кустики, а заодно и выбирали траву. Вот уж где было работы всем, от мала до велика. И это, опять же, под жарким солнцем. А река – вон она, с холма просматривается манящая голубовато-серебристая лента посереди ослепительно белых песчаных берегов. Красота! Вот только пот заливает глаза, не всю красоту видать. Но это ладно, можно потерпеть день-два. Зато после первой прополки картошки можно будет вволю накупаться в Соже.

 За молодняком домашней скотинки тоже надо присмотреть, где там она пасётся, не зашла ли, залезла, куда не следует: на пропойской луг, к примеру, или в огороды-капустники – это поближе к деревне, сразу же под горой. Вот о капустниках, то есть огородах, где кремянцы выращивали капусту, стоит рассказать подробнее.

 Сож очень извилистая река. И еще очень любит менять течение. Что заставляет её так извиваться – одной ей ведомо. Вот, например, у деревни Добрянка – это в семи километрах от Кремянки вверх по течению Сожа, если по лесной дороге – Сож выкинул такое коленце, что только удивляешься. Подползает он к Добрянке с северо-востока, делает небольшое колено, поворачивая обратно на северо-восток. Но этого мало. Через полкилометра он опять резко поворачивает почти на юг и по прямой мчится так около двух километров, затем, словно передумав, резко поворачивает на север и течёт параллельно самому себе на протяжении тех же двух километров, после чего снова разворачивается на юго-запад. При этом расстояние «между правыми берегами» одной и той же реки составляет от ста до двухсот метров. И таких «загогулин» у Сожа – безличь. Он когда-то и Кремянку опоясывал по подножию холмов, сказывали деды наших дедов. Ну, а тем, стало быть, их деды. То, что это было так, свидетельствуют сохранившиеся до наших времен в местах былого протекания реки «гривки» – высокие песчаные обрывы с глубокими водоёмами у их подножий, бывшими вирами. Да и во время весенних половодий река «вспоминает» былое русло и растекается мощным течением мимо этих «гривок». Но почему-то Сожу захотелось сделать очередную «загогулину» у нашей деревни. Он сделал полукружие с востока на юг, предоставив деревне великолепный выпас на бывшем заливном лугу, который кремянцы частично использовали и под огороды.

 Когда отсевались на основных участках-полосах, подсыхала после спада воды почва на огородах-капустниках. Тогда принимались за распашку или вскопку лопатами своих четырёх «соток» капустников. Однажды нарезанные, эти «сотки» сохраняли свои межи до следующей весны, несмотря на весеннее половодье. Но сажали на них не только капусту. Места хватало еще и под лён, коноплю, свёклу. Это сейчас не приведи Господь сказать публично слово «конопля». «Агенты национальной безопасности» по борьбе с наркотиками и наркооборотом,

 буде им случиться в этот момент рядом с вами, живо «заметут» такую крамолу. В моём же детстве этой конопли было – что лесу! То есть вырастала она на этих «сотках» такая высоченная, такая густая да стройная, что играть «в войну» в ней было огромным удовольствием. За что и получали взбучки от матерей. И никто – никто! – в деревне не пользовался той «травкой», из-за которой коноплю предали анафеме. Никто из чужаков не наведывался на эти небольшие, но очень ухоженные и оттого красивые плантации конопли. Не знали тогда такого греха люди ни в наших краях, ни в более отдалённых.

 На капустниках сначала сеяли лён и коноплю. Сев происходил в первой декаде июня. Тут же, в один-два дня, возводилась вокруг огорода изгородь из длинных жердей, а общая площадь огорода была не меньше четырёх гектаров, вот и представьте, какой периметр нужно было оградить. Если посмотреть на этот огород в то время когда там шёл сев, с наиболее высокой точки деревни, то первое, что могло прийти в голову – муравейник. И стар, и мал – все что-то тащили, копали, ковыряли, сооружали и к вечеру засеянные и почти огороженные капустники принимали свой обычный летний вид. Трудно было представить, что вчера еще этот огород выглядел открытым пастбищем, по которому бродил мелкий парнокопытный скот.

 Засеянные льном и коноплёй «соточки» надо было беречь от нашествия пернатых. Здешние вороны и грачи были весьма искусны в добывании полезных ископаемых в виде семян конопли и льна и не упускали такой возможности сразу же, как только семя ложилось в благодатную почву. Вот и приходилось нам, мальчишкам, пропадать на этих капустниках целыми днями. Зато было интересно: строили шалаши, благо кустарника – красного ивняка – было в изобилии, разводили костры, не боясь пожара – далеко от построек, пекли картошку, если она ещё была в доме, купались до синевы на губах.

 В конце июня – начале июля заканчивался период охраны капустников, и наступало время сбора сена. Именно сбора. Несмотря на то, что вокруг благоухали заливные луга, их травы были недоступны для личного скота колхозников. То есть луга, где разноцветье трав было по пояс, скашивались на заготовку в районную контору «Заготсено». Требования к качеству сдаваемого сена были высоки. Уж и не знаю, кого кормили таким сеном, может, кавалерийские корпуса, еще не расформированные после войны стараниями товарища Будённого. А может, стада крупного и мелкого рогатого скота в тех местностях нашей необъятной страны, где не было таких чудесных заливных лугов. Только на высоком берегу Сожа в Пропойске это самое «Заготсено» возводило огромные скирды из спрессованных тюков сена, которые были похожи на египетские пирамиды, если смотреть на них с торцов.

 Эти скирды практически не исчезали: не успеют разобрать и вывезти прошлогоднюю, а уже возведена новая. Перестали возводить «египетские пирамиды» где-то в начале шестидесятых годов: видимо, отпала нужда в сене, да и малоэффективно оно, как промышленный фураж, в отличие от продукции комбикормовой промышленности. Ну а для небольших тогда колхозных стад, да в отсутствие фуражного зерна, сено было единственным кормом зимой.

 Силос тогда еще тоже как-то со скрипом внедрялся. То есть он сгнивал до весны, и даже голодные коровы от него отворачивали свои доверчивые морды. Вот поэтому во вторую очередь убирали сено для колхоза на тоже неплохих участках лугов. А уж что оставалось, там, где травы пореже, да пониже – нарезали полоски колхозникам для личного скота. Думаете, этого сена хватало, чтобы прокормить хотя бы одну бурёнку? Как бы не так! Поэтому и собирали, выкашивали, выжинали серпами, где только можно было, порой в нескольких километров от деревни: вдоль просёлочных дорог, на болотах, в лесу в низких местах, на проплешинах среди полей и зарослей кустарников по берегам Сожа. Самая тяжелая добыча сена – на болотах. Приходилось нашим матерям, стоя по колени в воде, сжинать сочную и густую траву, затем вытаскивать её на сухие пятачки, где она подсыхала, после чего уже с помощью детей сено перетаскивалось на «большую землю», окончательно сушилось и вечером складывалось в копну. Назавтра рано утром вся семья от мала до велика с верёвками отправлялась за сеном. Его увязывали в ощутимые ноши и затем добрых три, а то и более, километра семья тащила на плечах этот бесценный груз. За первую половину лета таких походов было едва ли не через день. Пожалуй, это была самая неприятная работа для нас, детей: жарко, верёвка режет плечо, потеет тело, за шиворот сыплется сенная труха, в кровь разбиваешь пальцы ног о корни деревьев, – босиком же! – и постепенно всё тело горит, в том числе и от порезов осокой, а таковая, как правило, в болоте преобладает. Но, придя, домой, сбросив ношу, опрометью несёшься к Сожу. На бегу раздеваясь, ныряешь в совершенно прозрачную, голубую воду, достигаешь песчаного дна, там попрохладнее, зажав пальцами нос, втягиваешь ртом сладкую, ни с какой другой нигде не сравнимую воду. Напившись, выныриваешь поплавком уже совсем другим человеком, забывшим начисто все только что перенесённые страдания. На сегодня всё закончилось. Завтра всё повторится, но это будет завтра, а сейчас восторг и радость переполняют тебя.

 Вот оно, наше счастливое детство!

 Оказывается, благодарить за него надо было товарища Сталина, как утверждалось на плакатах того времени. Конечно, те ангелоподобные мальчики и девочки, что окружали вождя на плакатах, должны были благодарить его за свое счастливое детство, но мы таких детей не видели в своей жизни. Разве только в кино. Там образцовые дети были в неправдоподобно красивой и чистой, без единой складки, пионерской форме и в совершенно незамусоленных галстуках в отличие от нас, одетых в сшитые материнскими руками обыкновенной иголкой незатейливые штаны и рубашки. У плакатных детей на голове были пилотки или панамки, у нас – кепки, купленные в Пропойско;м универмаге, а пошитые в швейном цеху райпромкомбината. Кепка была непременным атрибутом деревенских мальчишек: считалось неприличным ходить без головного убора даже летом. Девочки же повязывали голову белыми, в мелкий горошек, ситцевенькими платочками. Одежда была у всех одинаковая, всё серо-белое, разве что ситцевые платьица девочек иногда радовали глаз яркой расцветкой. Выделялись, правда, своей одеждой дети, чьи отцы отлучались на заработки в другие города и привозили оттуда одёжки, сшитые на больших предприятиях легкой промышленности. Только таких «модных» счастливчиков было немного. Зимой же все поголовно были похожи: у всех мальчишек одинаковые неопределенного темного цвета шапки, темно-серые ватники или, как их называли у нас, кухвайки. Но на ногах – самая разнообразная обувь: от лаптей до валенок с галошами. Последние, правда, были тоже большой редкостью.

 Хорошо всё-таки было летом! К началу августа забывалась жизнь впроголодь в первые два летних месяца, потому что в начале августа появлялась молодая картошка. Лето становилось привлекательным, хотя и оставалось его совсем мало. Зато работы становилось меньше, разве что надо было по-прежнему следить за домашней живностью: вовремя выгнать на пашу, проследить, где и как пасутся телёнок и поросёнок, а в конце дня разыскать их и пригнать домой. Между этими обязанностями можно было сходить в лес по грибы, но лучше всего в августе было половить рыбу. В это время на кузнечиков хорошо бралась краснопёрка в старицах. Эх, что за рыбалка была! Мы с двоюродным братом-одногодком уходили на целый день, порой забывая свою обязанность пригнать домой скотинку, отчего получали нахлобучку от матерей. Но, как правило, наш улов компенсировал случавшуюся промашку с парнокопытными, и наши матери где-то даже гордились нами: ну, как же, добытчики – сегодня на ужин будет молодая картошка с жареной рыбой! Собственно, нахлобучка-то была даже не за то, что про живность забыли, она и сама дорогу домой прекрасно знала, а за то, что сами уже еле волокли ноги, ведь с утра во рту маковой росинки не было.

 А впереди ещё было долгое, как казалось, детство.

**Глава девятая**

**БОСОНОГИЙ ПОЧТАЛЬОН ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА**

 Почтальоном я стал в свои десять лет. И в течение трёх лет в 1950-1952 г.г. в дождь и зной, пургу и мороз разносил почту в своей Кремянке, делая ежедневно, кроме вторника (в понедельник тогда газеты не выходили, а почту в отделение привозили из райцентра на следующий день) по 18 км в день: 14 км туда и обратно до почтового отделения в деревне Старинка плюс 4 км в оба конца своей деревни – всё это босиком, если летом.

 Правда, первые два года, в школьное время, идя из школы, разносили почту по деревне вместе с сестрой: половину деревни – она, вторую половину – я. Эта работа приносила нашей семье пятнадцать трудодней в месяц. Однако, эти трудодни ничего, кроме отметки о выработке «минимума», – сто восемьдесят трудодней в год на трудоспособного человека – семье не давали, зато преследованиям со стороны властей мать не подвергалась: считалось, что семья активно трудится в колхозе: наши с сестрой пятнадцать трудодней ежемесячно, да матери летом и осенью всё равно приходилось «отлучаться» на колхозные поля и луга – вот вам и все триста «палочек» в год.

 Да, в деревнях в ту пору почтальоны были колхозниками, а не работниками Министерства связи. А то, что мне было только десять лет – никого не смущало: во-первых, уже десять лет, а во-вторых, официально числился почтальоном мой брат, которому было аж 16 лет, но у него хватало и мужской работы.

 В те годы много ребят из нашей деревни служили в армии и во флоте, соответственно по три и четыре года. И писем было много, не то, что ныне. Это вот теперь техника до чего дошла: заходишь себе в Интернет, набрал на компьютере письмо, нажал кнопочку – и уже через пару-тройку минут «письмецо от внука получил Федот». А в моё почтальонское время письма с обратным адресом «Полевая почта №...» и штампом «Проверено военной цензурой» шли долго, а читать их иногда адресаты (как правило, матери-вдовы) не могли по причине малограмотности, да ещё полученной в далёком детстве. Вот и приходилось и мне, и сестре читать матерям письма от их сыновей, несших действительно тяжёлую службу вдали от родины: и в освобожденной Европе и в воюющей Азии (Северной Корее). Да ещё и ответ иногда написать надо было. Так что был я весьма осведомлённым человеком в деревне. Но вот что главное: никто и никогда, кроме тех, кому мы их читали, не слышал от нас, о чём писалось в письмах. Это очень скоро оценили наши кремянцы и доверяли нам с сестрой. Выходит, даже не подозревая о том, что есть такое понятие, как тайна переписки, мы эту тайну интуитивно хранили.

 Мою закрытую осведомлённость о внутренней жизни деревни дополняла информация из газет той поры. Я их читал на привале где-нибудь под берёзой (дорога-то всё лесом) по пути из почтового отделения, по каковой причине и был весьма осведомлён обо всех новостях по строительству всё более счастливой жизни в нашей огромной стране под названием Советский Союз, а также обо всех несчастиях трудящихся в странах капитала и происках англо-американского империализма по развязыванию новой войны. Вот такой информацией я охотно делился преимущественно со стариками (мне казалось, что все оставшиеся от войны мужчины – старики), поскольку именно они и расспрашивали меня, что же «нового» пишут в газетах. А газет тоже было много, потому что партийные власти обязывали подписываться на газеты «актив» колхоза, а также работавших на сезонных работах по сплаву леса деревенских мужиков и тех, кто как-то устроился на работу в райцентре. Вот только «актив» колхоза составляли ещё молодые женщины, чьи мужья погибли на фронтах недавней войны, и на руках у которых осталось от одного до четырёх детей. На них они и получали пенсию по случаю потери кормильца. А пенсия составляла ни много, ни мало – аж 72 рубля (тех ещё, образца 1947 года) на душу иждивенца. А на четыре души? Вот то-то и оно! Подписывайсь-ка, «активистка», на газету «Правда»! Ну, а ежели пенсия на одну душу, то выходило только на районный «Калгасны шлях» («Колхозный путь», если по-русски). Отдельным же мужикам- сезонникам, работавшим, как у нас говорили, в сплавконторе, то есть плотогонами, приходилось и «Огоньком» баловаться, помимо одной центральной и одной республиканской газеты. Зато стены их хат изнутри походили на картинные галереи, так как в «Огоньке» печатались репродукции картин известнейших художников мира. Не скрою, что рассматривать эти репродукции мне доставляло огромное удовольствие. Запоминались и сами картины, и авторы их.

 Конечно, во время учебы, идя из школы и забрав в отделении связи почту, я совмещал необходимое с полезным, если считать необходимым учебу, а полезным – пятнадцать трудодней. Разнести по домам почту, начиная с любого конца деревни – Самодумки или Рекотки – было делом пустяковым.

 Но вот на каникулы...

 Весь школьный народ блаженствует, давая отдых ногам и голове, а для тебя почти ничего не изменилось: все те же шесть дней в неделю ты должен был плестись в Старинку за почтой. И так вот целых три лета! Босиком по лесной дороге, точнее, по пешеходной тропинке, идущей вдоль старинного тракта–шляха, разбитого зисами-лесовозами. К этим воющим мастодонтам, пышущим жаром газогенераторов, я относился враждебно. И не моя вина была в том. Посудите сами: каждое утро в одно и то же время по одной и той же тропе рядом с машинной колеёй идёт на восток по шляху человечек. По машинной колее, натужно ревя, человечка обгоняют за время его пути два-три лесовоза. Пустые. То же самое происходит и на обратном пути, но обгоняют путешественника уже гружёные машины, ревущие на самом верхнем регистре. По идее, кому-либо из шофёров должна была прийти в голову мысль: раз человечек этот который день уже шагает туда-сюда, значит, вынудило его какое-то лихо. Ну, хоть бы поинтересовался, что ли. Тем более что человеку-то всего лет десять: чего это ты, мальчик, каждый день ходишь туда-сюда, почту, никак, носишь? Это когда из холщовой сумки высунется пачка газет. Сумку, кстати, мама сшила. Колхозным почтальонам казённая сумка не полагалась. А что, и «ленинградский почтальон», тот, что «стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне», тоже сам себе шил сумку? Поди, разберись теперь... Нет, посочувствовать можно было мальцу с разбитыми в кровь босыми ногами об смолистые сосновые корни, которые так и пёрли на поверхность тропинки? Так нет же, выли себе лесовозы мимо пацана, не обращая на него никакого внимания. Окажись вы на месте этого мальца, что бы вы сделали? Ну да, попытались бы сесть на «хвост» лесовозу, то есть на балку-дышло прицепа. Конечно, и я так же сделал, как только вышел на тропу труда. Однако первый же лесовоз, дышлом которого я воспользовался в качестве пассажирского сиденья, тут же остановился, из кабины выскочил шофёр, по выражению лица которого я в момент сообразил, что надо рвать в лесную чащу. Партизанская жилка дала знать о себе. Таких попыток прокатиться каких-нибудь километров пять, а то и все семь, было много и иногда удавалось натерпеться страху, когда тебя дышло подбрасывало на добрый метр вверх, если прицеп преодолевал колдобину, особенно порожняком. На гружёном было легче – полный комфорт! Конечно, такая езда очень опасна. Но, с другой стороны, зачем гоняться за малым, посади его в кабинку, место ж одно пустует в ней! Борьба с ненавистными «зисами» за право трудящегося человека как-то улучшить условия своего бесплатного труда, хотя бы в скорости передвижения, шла долго и с переменным успехом. Наконец, я обиделся окончательно и решил как-то насолить своим противникам. А ненавистными «зисы» были ещё и потому, что газогенераторы у них были немецкие, как я слышал от знающих своих сельчан. Собственно, решение возникло спонтанно, при виде глубоких колёсных траншей на Лысой горе, на её песчаной стороне, отчего гора и называлась Лысая. Эту гору можно было объехать, и лесовозы её объезжали, когда ехали на восток, за лесом. А вот гружённые этим самым лесом, обратно съезжали прямо с песчаной горы, потому и была такая глубокая колея в этом месте.

 Тут надо заметить, что помимо круглых длинных брёвен, возили лесовозы ещё и готовые, расколотые дрова длиной так с метр, а может, чуть больше. Но такую древесину возили без прицепов, на платформе кузова. Понятно, что на ухабах лесной дороги много таких поленьев падало с платформы. Валялись вдоль колеи поленья и на Лысой горе. Вот при виде этих дров и колеи-траншеи и возникла у меня мысль о мести. Я разложил поперёк колей лесенкой дрова, какие там валялись, – получились две довольно длинные и красивые лесенки чуть ли не на всю длину склона, замёл за собой босые следы, – опять проявилась партизанская жилка – и довольный, пошёл себе домой «с толстой сумкой на ремне». Нет, на широкой полотняной тесьме. Уже подходя к своему Забражью, услышал сзади завывание газогенераторного «зиса».

 Внимания своего я на него не обратил – привык. Да и за время пешего пути я уже забыл о своей проделке с лесенками. Лесовоз приблизился, и, поравнявшись со мной, остановился. Из кабины высунулся шофёр, подозвал меня.

 - Мальчик, ты откуда идёшь? – спросил он.

 - Из Старинки, – ответил я, честно глядя в глаза шофёру. Глаза у него были добрые, не такие, как у тех, что гонялись за мной. Они были усталые.

 - Ты через Лысую гору шёл или низом?

 - Ни-и-изом, – протянул я недоумевающе. Дескать, что за вопрос, кто ж в такую жару по Лысой горе попрётся, там же леса нет, потому она и Лысая! А низом, в обход, любо-дорого: тенёк, прохлада и птички поют, хоть и лишних сто метров сделаешь. Я уже понял, к чему клонит добрый человек, но испуга не ощутил, и это придало мне уверенности в голосе в дальнейшем диалоге.

 - А ты не заметил – на горе дрова кто-то положил поперёк дороги?

 Я не мог соврать и честно признался:

 - Да, видел, они вот так лежали, – и показал рукой, – лесенкой!

 - А почему ж ты не убрал их?

 Вопрос меня удивил: как это я должен был их убрать, если я столько времени и сил потратил на то, чтобы собрать и уложить эти чёртовы дрова? Но, секунду подумав, нашёлся:

 - Так далеко ж идти было, жарко!

 И мне стало так жарко, что я мгновенно вспотел. Впрочем, это, наверно, оттого, что я стоял рядом с газогенератором, который полыхал жаром.

 - Ладно, садись, поехали, – сказал усталый шофёр и открыл вторую дверцу кабины.

 Я обежал лесовоз спереди, забрался кабину. В ней пахло не так, как пахло в кабинах бензиновых машин. В тех – особый, завораживающий и будоражащий запах живого мотора, кожаного сиденья (да, в тех ещё автомобилях были кожаные сиденья!) и чуточку бензина. Здесь же было жарко, сильно ревел мотор, и пахло горячей печкой. Шофёр стал расспрашивать меня, кто я такой, почему хожу за почтой, как давно хожу. И хотя его вопросы были какие-то задумчивые, словно он думал о чём-то другом, я охотно рассказал ему всё, что знал о себе. Тем более что он меня, как мне казалось, и не слушал. Мне оставалось совсем немного до деревни, примерно километр. Лесовоз прополз этот километр, я попросил шофёра остановиться и вылез из кабины. Шофёр внимательно посмотрел на меня и, ничего не сказав, пополз на своём газогенераторе на пристань, о которой я уже рассказывал.

 На следующий день по пути в Старинку меня догнал лесовоз, и уже знакомый шофёр остановил его и открыл мне дверцу кабины. Почти всю дорогу мы ехали молча...

 И уже назавтра я пошёл другой дорогой, через Самодумку и Чернецы, хотя эта дорога мне и не нравилась – большей частью она проходила полем. Так и ходил до начала учебного года.

 Были у меня и другие приключения, связанные с Лысой горой. Раз это Лысая гора, то, понятное дело, без нечистой силы здесь никак не обойтись.

 Однажды, летним утром, подходя к Лысой горе, заметил, как впереди среди деревьев что-то мелькнуло. Остановился, стал вглядываться и ... чётко, зримо, увидел горбатого колдуна! Или Бабу-ягу? Нет, всё-таки колдуна. У него была седая борода, которую шевелило дуновение ветерка, хищный горбоносый профиль, лохмотья одежды на нём тоже раздувались ветерком – он весь шевелился. Шум листьев осины – в этом месте было понижение, подножье горы, и попадались среди сосен осины и берёзы – усиливал жуткое впечатление от фигуры колдуна. Я окоченел. Сдвинуться с места никак не получалось. Я соображал, но двигаться не мог. Наконец, одеревеневшие мои члены начали теплеть, и я смог чуть сделать шаг в сторону.

 Колдун тоже сдвинулся! Я опять начал коченеть. Колдун, похоже, тоже. Наконец, я смог качнуться в стороны. Колдун сделал то же самое! Я подумал: всё, конец. Вся моя жизнь на тот момент была столь коротка, что я даже не заметил, как она промелькнула перед моими глазами, видимо, потому, что я не сводил их с жуткой фигуры старика-колдуна. На какое-то мгновение я закрыл глаза, может, даже сильно моргнул от напряжения, а когда вновь вгляделся в колдуна, то увидел ... сломанный, корявый и кривой сосновый ствол, метра два высотой, обросший характерным для сосновых пней длинным седым мхом, который и шевелился от движения воздуха. Сломанный верх представлял собой косматую шапку из мха и размочаленных волокон древесины, крючковатый длинный нос и такой же подбородок представлял собой причудливо изогнутый сук нелепо торчавший из ствола чуть ниже слома.

 Местами отвалившаяся кора на стволе производила впечатления рубища на этом «старце», а сам ствол сильно походил на человеческую фигуру. Это было очень неудачное дерево при жизни. Видно, какой-то сбой произошёл в генетическом коде семечка, из которого оно выросло, а потом и сломалось. Как оно могло сломаться на такой высоте – тоже загадка.

 Ствол у него был неровный, не как у сосны. Может, крона у него была сильно большой. Зимой снег мокрый налипнул, потом мороз – вот оно и хряснулось! Но ведь я уже не один десяток, может, уже за сотню раз проходил по этой дорожке и ни разу не показался мне этот высокий пень так, как в это утро. Потом уже, когда «проходил» в школе физику и её раздел – оптику, узнал, что такое интерференция, преломление света, влияние на распространение лучей света воздушных потоков в определенных температурных режимах, «расшифровал» этот феномен превращения. Да, было тёплое летнее утро, я шёл навстречу солнцу, в лучах ещё не высокого солнца струились потоки тёплого воздуха от земли, эти потоки искажали очертания предметов, усиливая и без того уродливые формы сломанного дерева. Лёгкий ветерок шевелил мхи и висевшие ошмётки коры на стволе. Мои движения, не сводя глаз с «колдуна», усиливали параллакс, то есть смещение наблюдаемого объекта относительно фона в зависимости от положения наблюдателя. Так это ж когда я разгадал всё это, а тогда я натерпелся – не приведи Господь! И как только я не поседел в свои десять лет?

 Мне только ещё один раз пришлось пережить такой же парализующий страх, правда, совсем кратковременный. Но сильный. Два года спустя после этого случая, уже перейдя в седьмой класс, я однажды летом навестил свою тётю в деревне Клины, заигрался со своими двоюродными братьями, да и отправился домой уже перед самым заходом солнца. Пока шёл полем, было ещё совсем светло, но в лесу стало быстро темнеть и пока достиг половины пути, а это была как раз та самая Рекотка, где протекает река Голуба, о которых я уже рассказывал, – глухое место! – стало хоть глаз выколи. Интуиция верно вела меня по дороге, я чувствовал что приближаюсь к Пытикову мостику через Голубу. В этом месте над дорогой смыкаются огромные ели, что сопровождают речку на всём её лесном протяжении, по крайней мере, в урочище, именуемом Рекоткой. И вот в этом абсолютно глухом месте, едва ли не в полночь, вдруг моя нога натыкается на что-то мягкое (я ведь босиком!) и в тот же миг это что-то взорвалось оглушительным фырканьем, хлопаньем, взлетело вверх и в сторону, но наткнулось на ветки ели, рухнуло вниз, скользя по лапам ели, и ещё громче хлопая и фыркая.

 Я мгновенно уменьшился вдвое – так сжал меня ужас, но тут же сообразил, что это взлетела какая-то большая птица, на которую я почти наступил, и в голове моей чуть прояснилось. Но в мышцы уже поступила огромная доза адреналина, и мои ноги понесли меня вперёд с такой скоростью, что я даже не помню, как перемахнул мостик, вырвался из этой жуткой ёлочной пещеры и рванул вверх по уже обозначившейся дороге на Высокие Ляды. Только вырвавшись на поле, добежав до геодезической вышки (на «генштабовских» картах ею помечена высота 154,5), я окончательно успокоился. Но та скорость, с которой я пробежал полтора километра от Пытикова моста до вышки, заслуживает Книги рекордов Гиннеса, ей Богу.

 Интересно, что точно на этом же самом месте, где у меня из-под ног вылетел то ли глухарь, то ли тетерев, годом раньше произошло ещё одно приключение. На этот раз со мной была моя тётя Таня. Мы с ней ездили покупать картошку в те же самые Клины. (Наверно, тётя решила использовать мой опыт, когда я совершал такой же коммерческий вояж со своей мамой). Дело было в июне пятьдесят первого года. Когда возвращались обратно с целым возом картошки, нас перед самым Пытиковым мостиком застала гроза. Грозы тогда у нас были в летние месяцы очень частые и страшные. И в этот день, откуда ни возьмись, надвинулась туча, ужасающе затрещали разряды молний в верхушки сосен, которые на глазах у нас начали раскалываться, в лесу стало темно, отчего молнии производили впечатление гигантского лесного пожара – это был ад, причём без единой капли дождя. Наш конь, а это был племенной вороной красавец-жеребец, начал вырываться из оглоблей. Храпя и ржа, взвивался на дыбы, порвал вожжи, которые тётя успела привязать за сосну. Ещё мгновение – и он рванётся, и, обезумевший, понесёт телегу, от которой не останется ничего! И картошки, картошки – тоже! Тётя заголосила: «Ой, людички!...» – и в момент, когда передние копыта взвившегося жеребца готовы были коснуться земли, я бросился к его голове и, намертво уцепившись в уздечку, повис у него на морде. Жеребец мотал головой, пытаясь сбросить меня, но я весил уже килограммов под сорок, и долго со мной не помотаешь головой. Тогда жеребчик попытался укусить меня, но и это у него не получилось – мешали «цугли», как назывались у нас железные удила или трензель. Устав бороться с висящим на его морде грузом, жеребец опустил, наконец, голову, дав и мне немного передохнуть. Вспышки молний и адский грохот уже откатывались от нас, стало не так страшно и конь начал успокаиваться. Его шёлковая кожа начала вздрагивать, как бы стряхивая с себя пережитый ужас, и я понял, что можно отпустить уздцы. Я ведь тоже, можно сказать, «рос среди растений и животных». Поправив сбрую, мешки с картошкой, мы тронулись дальше, молча осмысливая пережитое.

 Зато дома тётя дала волю чувствам в мой адрес, смысл которых сводился к тому что, если бы «не этот дитёнок, моя и смерточка там была бы». На расспросы близких, испугался ли, боялся ли я, отвечал: не знаю. Действительно, такого страха, как в описанных ранее случаях, я не испытывал. Там был страх от непонятного, трудно поддающегося осмыслению. Здесь же всё было ясно: гроза, гром и молнии, взбесившаяся лошадь. Да, за всё время грозы на лес так и не упала ни одна капля дождя! Страшная гроза! Вот такие случались наиболее значительные приключения в моём счастливом детстве.

 А у кого из моих сверстников их не было?

 В общем, хватало всего в жизни босоногого почтальона.

 А тут еще англо-американский империализм окончательно «потерял наглость» и начал учинять такие происки, что взрослым советским людям стало вовсе невмоготу сохранять мир на планете, и они стали привлекать к борьбе за мир детей.

 Не знаю, в какой стране подсмотрел советский художник Фёдор Решетников душещипательную картинку, с которой он написал картину маслом «За мир!». Там, если помните, на переднем плане изображена группка местных «гаврошей», помогающих самому грамотному из них писать на стене дома слово «PAIX!», то есть «МИР!». Происходит это, судя по деталям, в каком-то старинном западноевропейском городе, пострадавшем от последней войны, и в 1950 году еще демонстрировавшем свои руины, изображённые художником на заднем плане. То есть борьба за мир и война в картине соседствовали по глубине: вот на переднем плане, сегодня, дети борются за мир, а там, дальше, на втором, почти что вчера, – следы войны. Художник (между прочим, автор куда более реалистичной и знаменитой картины «Опять двойка») написал эту картину в 1950 году, когда борьба за мир во всем мире приобретала уже форму войны за мир. А в войне, понятное для советских людей дело, должны участвовать и дети.

 Вот и мне где-то году в пятьдесят первом, летом, вручили добрый тючок листовок, восхваляющих великого товарища Сталина, коммунистическую партию и советский народ в их титанической борьбе за мир и счастье всех народов, и такой же тючок листовок, гневно и позорно клеймящих англо-американский империализм. Именно так писали и говорили тогда: англо-американский, хотя правильно было бы говорить американо-английский, но то ли ещё со времён Ллойд-Джорджа и Чемберлена у советских людей осталось острое ощущение английского империализма или уже от недавнего Черчилля, а может, чисто географически как-то, но английский империализм был нам ближе, поэтому его и ставили на первое место.

 Листовки эти были по формату неширокими, но длинными листами плотной мелованной бумаги хорошего качества. На листовках из первого тюка большими красными буквами были напечатаны лозунги типа: «Слава великому Сталину, неутомимому борцу за мир и счастье угнетённых народов всего мира!» или: «Слава советскому народу, победившему германский фашизм и отстаивающему дело мира во всем мире!». На листовках из второго тючка синими буквами было начертано примерно так: «Позор англо-американскому империализму, стремящемуся раздуть пожар новой мировой войны!», а также «Народы всего мира, скажем НЕТ планам англо-американских империалистов по развязыванию новой мировой войны!». Были и более сложные призывы и проклятия, понять которые было не под силу не только мне, но и многим взрослым людям.

 Задача моя состояла в том, чтобы расклеить эти листовки-транспаранты на стенах домов деревни. К этому святому делу для каждого советского человека я привлёк своих сверстников (чувствуете – картина «За мир!»?), с которыми и расклеивали эти транспаранты. Какая от них польза была деревне – понятия не имею. Дело в том, что расклеивали мы их на фасадах домов, выходящих в палисадники, и прочесть с улицы, что написано на транспарантах, вот так, походя, было затруднительно. К тому же их срывало ветром, и они исчезали из поля зрения советских колхозников. Поначалу расклеивание, а точнее, прибивание гвоздиками через сложенную в несколько раз бумажку (клея-то ведь не давали!) было всем интересно, но потом ребятам это надоело и мне приходилось в одиночку реализовывать планы советских людей в борьбе за мир. Поскольку листовок было много, тратить время на их прибивание одному не хотелось. Да и гвоздиков надо было нарубить из проволоки, которую еще надо было раздобыть. Я поступил гениально просто: начал раздавать эту макулатуру прямо в руки колхозников. Польза от этого сразу стала ощутимой. Некоторые прямо сразу читали эти лозунги и, чертыхаясь, проникались чувством любви к великому Сталину и коммунистической партии, а заодно сразу же как-то включались в борьбу за мир, чувствуя надежное плечо докера Гавра или острый черный локоть хлопкороба Техаса. Но самое главное – бумага после прочтения находила применение в домашнем хозяйстве. В то время каждый клочок бумаги имел ценность, а уж такая – и подавно!

 Придавало ли наше местное руководство какое-либо значение этим акциям в деле борьбы за мир – не могу сказать. Возможно, увидев расклеенные первые транспаранты, оно этим и удовлетворилось. Во всяком случае, ко мне претензий со стороны партийной организации колхоза не было.

 Впрочем, в колхозе на ту пору был... нет, была одна член партии.

 Ну что здесь смешного?!

 В таком случае, еще раз о колхозе.

 В 1949 году началось укрупнение колхозов. Из пяти колхозов на территории Старинковского сельского совета в следующем году был организован один.

 Как правило, в случаях реорганизации проводится проверка «наличия отсутствия» или инвентаризация всего, что составляет богатство отдельно взятого хозяйствующего субъекта. Ну, это я уже из современного лексикона загнул насчет хозяйствующего субъекта. А тогда – просто колхоза. Проверяла районная уполномоченная комиссия. Вот «уполномоченная» – слово из того прошлого, очень тогда распространенное. Если ты был «уполномоченный», то власть твоя была безгранична над теми, над кем ты был «уполномочен». Так вот, «уполномоченные» нашли в нашем колхозе «День урожая» несколько телег с совершенно новыми колёсами. Именно колёса больше всего и заинтересовали «уполномоченных».

 Дело в том, что изготовление транспортных средств для колхозов, имея в виду телегу, после войны, а может, и до неё, местной промышленностью налажено было очень слабо. Притом что в военной промышленности выпуск телег был налажен, но, во-первых, военная телега мало подходила для особенностей колхоза, а, во-вторых, все заводы, работающие на Красную армию, были страшно засекречены и на гражданские изделия не отвлекались. Ну, разве что на знаменитое «изделие № 2», да и то после войны.

 В лучшем случае в каком-нибудь районе местная артель, продолжая давние, еще дореволюционные традиции ремёсел данной местности, делала деревянные колёса (обитые железными шинами) для телег. Остовы телег, или шасси, делали сами колхозы, в коих в достаточной мере имелось в наличии мастеров на все руки. То есть само собой разумелось, и очень продолжительное время с момента образования колхозов, что деревня сама себя обеспечивала и будет обеспечивать многими сельскохозяйственными орудиями. Не был исключением из этого правила и наш колхоз. Но колесо, как известно, предмет сложный и не каждому мастеру под силу.

 Колёса надо было где-то заказать. За деньги. Которых у колхоза не было. Колхоз рассчитывался с государством по поставкам, выметая у себя всё подчистую. Потом весной ему отпускали семена на посевную в счёт поставок. Стоит ли говорить, что закупочные цены на обязательные поставки были смехотворными. С каждым годом планы обязательных поставок увеличивались, росла и задолженность за предыдущие годы. Рассчитаться с государством было практически невозможно. Но ведь нужно было обновлять хоть какие-то основные средства производства!

 И вот правление колхоза решилось на убийственный ход. Рассчитавшись с мясными поставками, решили продать одного бычка на мясо. С точки зрения устава колхоза ничего противозаконного в этом не было. Выполнив поставки государству, колхоз вправе был распорядиться своим имуществом. В том числе и «лишним» бычком. Его-то и зарезали, а мясо продали. Не могу теперь утверждать, на рынке или, к примеру, в районную кооперацию потребителей. Но факт продажи был. За вырученные деньги купил колхоз колёса, сбрую, плуги, что-то там еще и облегчённо вздохнул. И, как оказалось, зря. Потому что грянуло укрупнение колхозов, а с ним нагрянули и «уполномоченные».

 Отца арестовали глубокой осенью одна тысяча девятьсот сорок девятого года.

 Следствие продолжалось недолго, уже в январе пятидесятого отцу присудили восемь лет общего режима. Тогда восемь лет было самым распространённым сроком, его давали за самые различные правонарушения, в которых усматривалось малейшее причинение ущерба государству, при этом достаточно было, опять же, малейшего намёка на политический смысл совершённого преступления. В данном случае политическим смыслом «преступления» стало «заведомое невыполнение сверхплановых поставок мяса государству».

 Получите восемь лет.

 Теперь вам, должно быть, стало понятно, отчего мне пришлось стать почтальоном в свои десять лет.

 Но вот каждый бывший отдельный колхоз-деревня стал бригадой. Кремянковскую бригаду возглавила женщина-солдатка – так называли солдатских вдов – Анна Максимовна Кондюхова. Назначив «бригадиркой», тут же приняли её в члены ВКП(б), потому как управлять бригадой должен был член партии. Прежнего руководителя колхоза из партии, конечно же, исключили. Так что какое-то время была Анна Максимовна единственным членом партии в колхозной бригаде.

 Этой женщиной надо восхищаться! Характер у неё был – Маргарет Тэтчер позавидовала бы! Деловая хватка – редко у какого мужика случается. И потрясающая работоспособность. В семье солдатки было ещё два человека: малолетняя дочь и мать. Понятно, что домашнее хозяйство в основном лежало на матери. Поэтому Анна Максимовна все свои силы и время отдавала колхозной бригаде. Это не преувеличение. С утра и до позднего вечера она на ногах.

 Нужно успеть побывать на скотных дворах, в конюшне, затем раздать наряды на работу колхозникам, то есть в основном, колхозницам, а это самая трудная часть рабочего дня – сделать так, чтобы все остались довольны полученным нарядом на работу. За работу ведь ничего не платили, а кому охота надрываться на тяжёлой работе? Вот и приходилось выкручиваться «бригадирке»: сегодня тебе потяжелее будет, зато завтра получишь более легкую работу. И не дай Бог забыть, кого и куда ставила вчера! Бабы вмиг напомнят, да так, что вся деревня услышит. Всё это надо было записать, оформить лист-наряд, затем в течение дня обойти всех работающих, сделать обмеры, записать, кто сколько чего сделал, потом дома все записи привести в какую-то систему, ею придуманную, и, наконец, составить уже при свете керосиновой лампы сводку, которую я на следующее утро понесу в правление колхоза в Старинку. В обязанности почтальона входило забирать у «бригадирки» ежедневную сводку о проделанной в бригаде работе и относить её в Старинку – центральную усадьбу колхоза, получившего название «Память Фрунзе». Прошло уже шестьдесят лет, а я до сих пор помню, что было и как было написано в этих сведениях. По дороге я читаю эти сведения: «...посеяно люпина столько-то, посажено бульбы столько-то, вывезено навоза столько-то, накопано торфа столько-то, прополото кок-сагыза столько-то, выработано трудодней столько-то ...». И так каждый день...

 Да, а что такое кок-сагыз, который надо было пропалывать?

 Здесь надо немного отвлечься.

 Удивительные люди – большевики. Удивительные в том смысле, что самозабвенно увлекались какими-то утопическими проектами, не только в политике, но и в науке, технике и даже в искусстве. При этом всячески преследовали по-настоящему грамотных, высокообразованных учёных, объявляя их лжеучёными, а передовые науки – лженауками.

 Некий полуграмотный проходимец мог втюрить самому гениальному вождю всех времён и народов идею выращивания многолетней пшеницы путем скрещивания её со злостным сорняком – пыреем, и в течение многих лет морочить светлые большевистские головы, получать Сталинские премии, ордена и звания, не получив при этом и надежды на возможность такого симбиоза, и, загнав при этом генетиков-селекционеров в тюрьмы, а то и вообще в могилы. Да что там Лысенко! Сам Ленин увлекался многими непонятными ему идеями, в том числе идеей электрического плуга, отдав электричеству предпочтение всем другим видам тяги. Владимир Ильич вообще был великий знаток электричества, утверждая, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом». Таких примеров увлечения большевиками удивительными, если не сказать сомнительными, проектами можно привести много, и среди них – выращивание среднеазиатского растения под названием кок-сагыз по всему Советскому Союзу с целью получения из него каучука. Кто автор этого проекта – история умалчивает, но не сомневаюсь, что какой-нибудь видный большевик поддержал идею очередного авантюриста от науки.

 Кок-сагыз – это многолетнее каучуконосное растение рода одуванчиков, произрастающее в горных долинах Восточного Тянь-Шаня. Я так думаю, раз он каучуконос рода одуванчиков, то и наш всем известный европейский одуванчик тоже каучуконос: вспомните, как из него прёт клейкое молоко, если вытянуть его из земли, сломав при этом корень или стебель.

 Одуванчик, конечно, обладает массой лечебных и других свойств, но в огороде это всё-таки сорняк, и у себя на даче всякий стремится избавиться от непрошенного гостя, в изобилии произрастающего рядом с огородом и всеми силами стремящегося занять в нём место культурного растения. Конечно, чтобы оценить одуванчик, на него следует посмотреть с разных сторон. Вот, например, уважаемый мною писатель Анатолий Козлович в одной из своих «Хроник» здорово воспел одуванчик, как символ бессмертия белоруса. Одуванчик после прочтения «Хроник» Козловича я сильно зауважал и даже пробовал его листья в качестве салата. Вполне съедобно и сильно облегчает ЖКТ – в смысле, желудочно-кишечный тракт, – от вздутия, если вы, не приведи Господь, вдруг им застрадаете. Я это к тому, что заместо кок-сагыза вполне мог сойти и одуванчик, и его можно было выращивать на наших белорусских полях, имея от этого гораздо больше пользы, чем от кок-сагыза. Тут тебе и каучук, и салат, и уйма полезных лекарств и всё это почти задаром. Но какой же большевик поверит в то, что из одуванчика можно получать в промышленных масштабах каучук? Вот из кок-сагыза – да! И начали по чьему-то высокому повелению засевать колхозные поля тянь-шаньским одуванчиком. Когда пришла пора полоть посевы кок-сагыза, то колхозницы принялись вырывать из земли всё подряд: и свой одуванчик, и кок-сагыз, приняв его за одуванчик, потому что практически очень трудно было отличить их друг от друга.

 Единственное отличие на первый взгляд– это то, что кок-сагыз был посеян рядами. А в междурядьях бодро занял свое исконное место наш родной одуванчик. И вот его-то потом, разобравшись, кто здесь гость, а кто хозяин, и выдирали с корнем, давая простор азиатскому пришельцу, и капали на родную землю молочно-каучуковые слёзы нашего символа бессмертия. А когда пришла пора убирать кок-сагыз, выяснилось, что корни этого азиата выросли ничуть не больше нашего одуванчика, хоть за чужаком и ухаживали. То есть рентабельность выращивания кок-сагыза была низкая и, посеяв еще один год эту культуру, убедившись, что проку от неё мало, больше уже не сеяли.

 Вот такая бесславная эпопея кок-сагыза в нашем колхозе скрывалась за строчкой донесения Анны Максимовны в вышестоящую инстанцию о количестве соток прополотого каучуконоса. Так что и до хрущёвской кукурузы были подобные эксперименты на белорусских колхозных полях.

 Лето пятидесятого года ознаменовалось началом войны в Корее, о существовании которой никто из сельчан не подозревал, за исключением разве что тех, кто успевал заглянуть в газету, подписку на которую ему навязали. Редко кто представлял, где эта Корея находится, и когда в газетах было крупно набрано сообщение ТАСС о том, что «южнокорейские марионетки» напали на мирных наших братьев-северокорейцев, переполох был нешуточным – многие думали, что это где-то близко. Первым односельчан успокоил уже упоминавшийся мной Иван Прокопович Ходунов, тот самый, что участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Достаточно ему было рассказать ближайшим соседям о том, что Корея – это очень далеко, аж на Дальнем Востоке, как это тут же стало известно всей деревне – устное «радио» в Кремянке по скорости распространения нисколько не уступало электромагнитным радиоволнам. Население внешне успокоилось: «дужа далёка гэтая Карэя». Но тревога все-таки жила в душах людей. Парней кремянских продолжали брать в армию, их вон сколько уже попадало под призывной возраст, недоучившихся, нахлебавшихся послевоенного счастья колхозной жизни. А газеты регулярно печатали сводки на первых полосах, там, где обычно печатались сообщения ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза), под заголовками большими буквами «СОБЫТИЯ В КОРЕЕ». Интерес кремянцев к газетам возрос. Мне приходилось читать сводки чуть ли не в каждом дворе, из которого ушли парни на службу в армию. Уже на следующий год увеличилось количество писем с овальным штампом «Полевая почта №...», проверенных военной цензурой, о чем также свидетельствовал скромный штампик на обратной стороне конверта или просто треугольника. Кстати, письма, сложенные в треугольники, еще долго использовались в переписке наших кремянцев со своими сыновьями-армейцами. Где-то через пару лет вернулся из армии один из кремянковских парней Володя Сёмкин (Макаров, так по отцу его называли в Кремянке, так как Сёмкиных было много, а Макар – один) с медалью «За отвагу» на груди. Служил он в авиационной части, которая воевала в Корее.

 Вспоминая этот кусочек своей жизни в качестве сельского почтальона, хочу сказать: несмотря на то, что такая работа – это труд не для детей, всё же сыграла она положительную роль в моей жизни. Во-первых, расширила мой кругозор – я читал почти все газеты и журналы, которые разносил, во-вторых, выработала привычку к труду и, наконец, закрепила во мне чувство самостоятельности. Это приводило к тому, что моё поколение рано начинало принимать какие-либо самостоятельные решения и жизненные планы. Забегая вперёд, скажу, что после окончания семилетки в свои тринадцать лет я всерьёз хотел поступить в техникум.

 Тогда, в начале пятидесятых, очень распространена была идея учиться в техникумах. Сейчас это понятно: стране нужны были образованные кадры специалистов, как говорится, здесь и сейчас, а это быстро могли сделать техникумы. К тому же много было выпускников семилеток – переростков, имеющих уже какой-то жизненный опыт, и среднее специальное образование для них было наилучшим решением не только проблемы специалистов, но также и проблемы младшего начальствующего состава, из которого, впрочем, вырастали затем выдающиеся руководители.

 Меня, конечно, привлекала техникумская идея. К тому же, прочитал в каком-то журнале рассказ о геологах и размечтался стать геологоразведчиком. Наверно, неспроста. Мое внимание часто привлекали камни, – их много было в окрестностях деревни: и кремни, и валуны – многие из них чем-то выделялись и вызывали желание поковыряться в них.

 Газеты того времени часто в начале лета печатали на последних полосах рубрику «Куда пойти учиться». Заканчивая седьмой класс, я регулярно прочитывал эти рубрики, но только один раз наткнулся на объявление о приеме в геологоразведочный техникум. Находился он где-то на Урале. Ну и кто бы меня отпустил из дома в такую даль? Пришлось продолжать учиться, учиться и учиться...

 Но и по сию пору питаю слабость к камням. Какой-нибудь необычный камень всегда привлечёт моё внимание. В детстве же больше всего мне хотелось найти камень-метеорит. Искал их среди кремней в окрестности деревни, приносил в школу, показывал учителю физики (он же преподавал и астрономию), но каждый раз камень оказывался либо окатанным куском гранита, либо полевого шпата. Нынче каждое лето копаюсь на даче. Камней там – тьма. Благо, дача находится на северо-западе Минской возвышенности, полной осадочных пород. Стоит только копнуть чуть глубже, непременно наткнёшься на плотно уложенный слой камней в один ряд, словно мостили сотни тысяч лет назад необозримую площадь, и что ни камень, то пришелец со Скандинавии или Кольского полуострова. Время и выветривание сделали своё дело – камни настолько разные по структуре, окраске, содержанию примесей, различной формы кристаллов, что вызывают желание разобраться глубже в их истории. Но это совсем другая история.

**Глава десятая**

**СЕМИЛЕТКА НА ЛБУ**

 Закончив в одна тысяча девятьсот пятидесятом году начальную школу в своей деревне, подался я на следующую ступень в своем образовании, которой должны были стать три последних класса семилетки в Старинке. Это теперь, окончив четыре класса, ты мало чем (разве что ростом) отличаешься от того ребёнка, что пошел четыре года назад в первый класс. Шестьдесят лет назад это было событие. Окончить четыре класса в возрасте пятнадцати – шестнадцати лет означало завершить свое образование. Годы брали своё: надо было работать на семью, особенно в тех семьях, что лишились отцов. Лишь немногие подростки из Кремянки, учёбу которых прервала война на четыре года, – всего трое – сумели в дальнейшем окончить вечернюю школу и получить среднее образование. Замечу также, что все они получили впоследствии и высшее образование, став соответственно морским офицером, инженером и учёным-биологом.

 Итак, я отнёс заявление и свидетельство об окончании начальной школы (да, был в своё время и такой документ!) в Старинковскую семилетку, где уже учились мои брат и сестра. Перспектива ходить в школу, находящуюся не в двух шагах, рядом с домом, не пугала, скорее наоборот, радовала – это ж так здорово толпой идти в школу целых восемь километров! К тому времени я уже хорошо знал эту дорогу и не только потому, что когда-то ездил по ней на телеге с матерью покупать картошку.

 Семилетка – это базовая школа, обучение в которой было обязательным для молодых граждан великой страны Советов. Обучение было не только обязательным, но и бесплатным. Это называлось завоеванием социализма в отдельно взятой стране и всячески превозносилось в печати и по радио. Впрочем, радио, как я уже отмечал, в начале пятидесятых в деревнях Засожья еще не было. Зато школа-семилетка была – одна на весь Старинковский сельский совет, в административном подчинении которого находилось шесть деревень, в них проживало не менее двух тысяч человек. Начальные школы, то есть четырёхлетки, были в каждой деревне. До войны учёба в них была обязательной. Перед войной приняли закон о всеобщем обязательном семилетнем образовании. Война и оккупация нарушили процесс получения обязательного семилетнего образования, и многие школьники вскоре после войны стали взрослыми, едва закончив четыре – пять классов.

 Окончившие семилетку, как в довоенные, так и послевоенные годы, считались людьми образованными, поэтому в деревнях не задерживались. Их с большим удовольствием принимали по оргнабору на стройки и промышленные предприятия. Ещё бы, ведь у них было на лбу «семь классов написано», как говорил один из героев романа В. Кочетова «Журбины». Оргнабором занимались так называемые вербовщики, которые приезжали в деревни и живописали прелести работы на стройках и заводах в больших городах, а то и в Сибири. А что такое было – вырваться из нищеты послевоенных деревень в другую жизнь, пусть и не райскую, но в ней хоть какую-то копейку платили за работу? Вот поэтому из последних сил старались родители дать детям семилетнее образование, чтобы не повторяли они судьбу своих предков. Вот поэтому-то и отнес я документы в Старинковскую семилетку, которую раньше окончили два моих старших брата, а теперь там учились третий брат и сестра.

 Конечно, очень нелегко было семье, в которой четыре школьника, а из них трое ходят в семилетку за восемь километров. Это ж сколько надо было средств на одежду, обувь, учебники. Тогда ведь учебники покупали сами учащиеся. Мне, правда, не надо было тратиться на учебники – они мне доставались от брата с сестрой. Но вот с одеждой и обувью...

 Я уже упоминал про одежду и обувь кремянковских детей. Вот в такой одежде и обуви ходили и в школу, в том числе и в семилетку. Весной, как только сойдёт снег, а осенью – до заморозков в школу очень многие ходили босиком, в основном, мальчишки. Девочкам как-то умудрялись купить если не дешёвые туфельки, то хотя бы тапочки: литая резиновая подошва, синий матерчатый, типа брезента, верх – шила такие местная промышленность. Понимала советская власть возможности трудового народа. Зимой же было много хуже. Самой распространённой обувью были резиновые сапоги. Литиками называли мы их, потому что их отливали из резины. Но и они были мечтой многих. Поэтому обувались в самодельные резиновые же галоши или, как их называли, бахилы, которые мастерили народные умельцы из листовой резины с помощью резинового клея. На базаре они стоили много дешевле резиновых сапог. На ноги надевались шерстяные носки (хорошо, если они были), наматывались поверх портянки (а лучше сказать, онучи), которые обматывались верёвками-оборками и – пляши, Вася! Особенно в оттепель. Удержаться на мокром снегу в таких бахилах не всегда удавалось. Ну, а по присыпанном снегом льду мог ходить разве что акробат. Такую немудрёную зимнюю обувь дополняли еще и чуни. К ним также полагались шерстяные носки и хорошие полотняные онучи, которыми икры ног обматывались чуть ли не до колен у женщин. Поверх онучей наматывались оборки. Подошва чуней подшивалась подмётками из прорезиненного корда, выдранного из нутра старых автомобильных шин американских «студебеккеров». И тут без Америки не обошлось!

 Стоит рассказать о технологии извлечения кремянцами корда из американских шин.

 Шина разрезалась на куски необходимого размера. Кусок шины помещался в жарко натопленную печь, после того, как из неё выгребли угли. Резина разогревалась, её вытаскивали из печи и кузнечными щипцами отдирали изнутри слои резины, армированной толстыми, невероятно прочными нитями. Горячие листы армированной резины клали под примитивный пресс, резина остывала и превращалась в плоские ровные листы, из которых можно было мастерить многие полезные вещи, в том числе и обувь.

 Вот так кремянцы использовали и развивали передовые американские технологии.

 В сухую морозную погоду ногам в такой обувке было комфортно, а вот в оттепель – ровно наоборот. Особенно в чунях. В чунях ходила зимой в школу моя сестра. Сегодня в такой обуви могла бы щегольнуть какая-нибудь супермодель на подиуме, вызвав бурный восторг у зрительниц, а тогда носить чуни считалось у молодежи зазорным. Хотя хорошо сплетённые чуни с хорошими онучами, правильно обутые, а это вам не сапожки натянуть на колготки, смотрелись на женских ногах очень естественно и красиво. Мужским ногам, конечно, больше подходили бахилы.

 Так были экипированы почти все школьники Старинковской семилетки. Добавьте к этому еще и тот фактор, что большинство учащихся пятых-седьмых классов ходили в школу в среднем за семь километров из четырех деревень, кроме самой Старинки. Времени на дорогу уходило довольно много. Вставали мы очень рано, в шесть часов. Завтрак состоял из варёной картошки, которую уже успела сварить мама, солёных огурцов или квашеной капусты, простокваши или молока. Хлеб был очень редко. Если был – брали с собой по кусочку в школу, но в основном, уходили без «тормозка». И обедали только в четыре часа дня по возвращении из школы. Попробуйте представить сегодняшних пяти- семиклассников в таких условиях! Для нас же такая жизнь, такие условия учёбы были нормой, мы не представляли другой школьной жизни, разве что видели её в кино, но та жизнь, что показывали на экране, были для нас сказкой, а школьники в ней – сказочными персонажами.

 Школа в Старинке размещалась в трёх избах, оставшихся после войны свободными. Деревня эта мало пострадала во время войны. Почти все дома остались целы, хотя деревня была довольно большая. Вот только здание школы не сохранилось, сгорело. Причинился как-то пожар. Кто причинил – неизвестно. И разместили местные власти семилетку после войны в домах, хозяева которых не объявились, а родственники хозяев, естественно, не стали возражать. Тут еще раз уместно будет упомянуть, насколько избирательна война: Кремянку немцы зачем-то сожгли почти полностью, специально с аэродрома в Быхове самолёт послали сжечь именно эту деревню, а все близлежащие деревни Засожья почти не пострадали. Через те же Ельню, Старинку немцы в конце сентября сорок третьего отступали – ни одного дома не тронули, а вот Кремянка им ещё в конце июля того же года чем-то не понравилась. Наверно, это как в бою: бегут в атаку бойцы, косит их пулемет противника, но падают не все, какая-то часть бойцов все же добежит до траншеи врага, если не заляжет под губительным огнём. Законы войны.

 Но всё же это была школа, в которой можно было получить знания, которые открывали дорогу в «светлое будущее» – так искренно считали мы тогда, – если не всем, то хотя бы тем, кто стремился вырваться из нищеты послевоенной деревни.

 Школу возглавлял директор Прокопов Егор Лаврентьевич, педагог по образованию, офицер-фронтовик. Он преподавал нам историю. Ещё четверо бывших фронтовиков также имели педагогическое образование. По крайней мере, прошедшие педагогические курсы ко времени моего поступления в пятый класс. Был среди них и уникум, однофамилец директора,

 Прокопов Дмитрий Прокопович. Мало того, что он воевал на фронте, так еще преподавал нам физику, химию, математику и ... немецкий язык. Дмитрий Прокопович был к тому же мастеровой человек: множество наглядных и учебных пособий по физике, химии, да и всякие там линейки-треугольники для уроков геометрии были сделаны его руками. В его доме горело электричество – это работал сделанный им ветряк с генератором на двенадцать вольт и автомобильным аккумулятором. Заодно это энергетическое устройство служило источником питания для радиоприёмника, сделанного им же.

 Дмитрий Прокопович был единственным человеком в округе, кто узнавал всё о событиях на просторах нашей великой Родины в тот же день, когда о них сообщали, как теперь говорят, средства массовой информации, а конкретно – радио. При всех своих знаниях, умении и осведомлённости, Дмитрий Прокопович был до крайности скромным и даже застенчивым человеком в жизни. Ко всему прочему, он еще занимался фотографией. У него был и фотоувеличитель, что по тем временам было неслыханным устройством в такой глубинке. Но ведь у учителя было электричество, пусть и напряжением всего в 12 вольт! Все выпускные фотографии Старинковской семилетки в те годы он делал сам, и это, опять же, надо поставить ему в заслугу.

 Хороший был Учитель.

 Четыре женщины-учительницы тоже были еще той закалки. Две из них были подпольщицами в войну. Мы их, побаиваясь, очень уважали. Впрочем, уважение было ко всем учителям. Культ учителя был тогда очень высок. Разве что в начальной школе четвероклассники-переростки позволяли себе некоторые вольности по отношению к своим без малого ровесницам-учительницам, но, получив отпор, успокаивались, и языки больше не распускали. А в семилетке вступать в пререкания хоть с учителем, хоть с учительницей, конечно, никому и в голову не приходило.

 Конечно, ходить в школу за восемь километров шесть раз в неделю для пятиклассника было тяжеловато. Зато сколько же приключений находили мы на свои головы за время пути туда и обратно! Обычно мы ходили в школу двумя группами. Первая группа – «римляне» и «рекотчане» – выходила с одного конца деревни тремя кучками. Первая кучка – это пятиклассники и часть шестиклассников нормального возраста. Эти несчастные выступали в поход за знаниями очень рано, максимум, в половине седьмого (каково телепаться полусонному дитяти восемь километров, да еще с тяжелой сумой через плечо?).

 Обыкновенно эту кучку составляли мальчишки пятого-шестого классов. Вторая кучка – это девчоночья часть Рима и Рекотки, в нее входили школьницы всех трех классов, с пятого по седьмой. И, наконец, семиклассники и «взрослые» шестиклассники, то есть молодые мужчины – это своя кучка. У них свои интересы, свои разговоры. Они почти все курят, пацанов-пятиклассников, да и шестиклашек не жалуют даже «бычками», наоборот, жёстко пресекают попытки «желторотых» следовать их примеру в деле отравления организма продуктами сгорания табака-самосада. Эта кучка выходила из домов позже всех и при этом нагоняла ранее побредших в школу перед самой Старинкой.

 Примерно по такой же схеме ходила в школу с другого конца деревни и вторая группа, «самодумцы». На пересечении «шляха» с Немиленской дорогой обе группы, как правило, встречались и тогда уже шумной толпой двигались оставшиеся пять километров. «Шляхом» же, напомню, называлась совершенно прямая дорога на восток от Кремянки длиной семь километров. В сплошном лесу была вырублена когда-то широкая просека и проложена дорога, по которой, как я уже упоминал, ездили помещичьи повозки, может, даже и кареты. По крайней мере, в деревне говорили: князь-помещик ездил по шляху.

 Во время войны по приказу немецкой администрации этот шлях, точнее, просеку, расширили, полотно дороги выровняли, а на заболоченном участке, сразу же за деревней, в Забражье, сделали подсыпку и даже выложили «поперёк ейного пути» сосновые брёвна, то есть загатили этот кусок дороги и даже сделали небольшой мостик, обеспечив пропуск воды в весеннее половодье. Эта гать выдержала отступление немецких войск, наступление советских и еще долгое время после войны выдерживала разрушительную силу газогенераторных лесовозов, пока они не превратили эту гать в то самое болото,каковым и был этот участок дороги до немецких пришельцев.

 И хотя потом эти самые «зисы» с газогенераторными моторами буквально утопали в грязи на этом участке, но уже советской власти и в голову не приходило поправить дорогу хотя бы таким же способом, как это сделали немцы, благо леса вокруг было – хоть завались, да вот валить его то ли было некому, то ли было некогда. А нам плохо было ходить в этом месте, особенно в «филипповку», а это время осеннего поста, очень глухое, всё больше тёмное: снега нет, луны нет, электричества, сами понимаете, тоже, да ещё и в густом лесу – глаз выколи! – месили мы эту дорогу в ежедневных походах сквозь тьму за светом ученья.

 Впрочем, не только призрачный свет ученья был нам маяком на таком пути. Мы набирали из дому тонких смолистых поленьев, за деревней зажигали такое поленце, и кто-нибудь из рослых пацанов поднимал его над головой, и как Данко, освещал нам путь к ученью. Вот так, сжигая смоляки, мы и преодолевали дорожные трудности.

 На дорогу в школу, времени было не так много, но всё же находилось время и на проказы: мальчишки умудрялись, например, попугать девочек, устроив «волчью» засаду где-нибудь в районе Лысой горы – место-то само за себя говорит! Всегда находились «шустрики», успевавшие всех обогнать, спрятаться у подножья Лысой горы, которую пересекал наш «шлях» в глубокой выемке, и изобразить из тлеющих угольков потушенных смоляков волчьи глаза. А волков после войны в наших лесах было много. Они не боялись людей – привыкли за войну не только к их виду, но и к их вкусу, так что бояться этих хищников у нас были все основания. Рассказы о встречах с волчьими глазами глухой осенью и зимой, когда «с своей волчицею голодной выходит на дорогу волк», по деревне ходили чуть ли не ежедневно и смелости школьникам не прибавляли, особенно девчоночьей половине. Поэтому попугать эту половину было в какой-то степени демонстрацией этой самой смелости.

 Зато на обратном пути из школы... Вот уж когда мы «оттягивались» по полной программе!

 В тёплые дни «бабьего лета» обратный путь был нам в радость. Это и поиск боровиков – их тьмы росли по обеим сторонам дороги, не надо было далеко и удаляться от неё. Лес был чистый, устланный хвоей, боровики черными шапками были видны издалека, пока бежишь к такому красавцу, завидя его, по пути подхватишь еще одного-двух помельче, а потом ещё надо успеть к следующему, пока не перехватили его твои дружки-товарищи. И так почти в продолжение всей дороги. Потом будем, радуясь или огорчаясь, демонстрировать друг другу удачу, устало брести оставшуюся часть пути до дома. Было много и других отвлечений от дороги: сбор букетов осенних листьев, поиск подходящих для прививки дичек яблонь и груш, тоже в изобилии росших вдоль дороги, и, конечно, игры в «войну», благо еще совсем свежие блиндажи, окопы, огромные капониры находились в глубине от дороги. Правда, этими играми мы увлекались больше весной, когда оседала земля на брустверах окопов и ходов сообщения – вот тогда было гораздо интересней. Потому что очень много можно было найти всякого военного, с нашей точки зрения, добра: патроны винтовочные и автоматные поодиночке и россыпью, пустые пулемётные ленты, но с одним-двумя, а то и на треть – с патронами, целехонький диск от пулемета Дегтярёва, тоже с патронами. Случалось, находили ствол от винтовки или целый револьвер системы «наган», правда, изрядно заржавевший.

 Патроны шли в «дело». Каждый день весной гремели выстрелы – это взрывались патроны, брошенные в костер, разведённый где-нибудь в укромном месте. Сразу же хочу заметить, что за всё то время, что мы ходили в школу, а также и то, когда другие ходили после нас, не было ни одного случая лесного пожара по вине школьников! И это притом что курили многие, спички были почти у каждого пацана, разводили костры, патроны туда бросали и другие малоизвестные нам предметы, но, слава Богу, всё обходилось и пожаров не случалось. Но вот как раз весной и, опять же, на Лысой горе, пожар и случился. Закончились уроки, мы все вышли солидной толпой из школы, было начало мая, жарко, сухо. И когда подходили к Лысой горе, увидели дым и быстро набиравший силу огонь. Горел молодой лес, культура, как называли у нас хорошо подросшие сосновые посадки. Когда-то вся Лысая гора была действительно лысой.

 В начале тридцатых годов часть Лысой горы засадили соснами. За прошедшие двадцать лет и образовалась «культура», в которой росло неимоверное количество всяких грибов – от маслят до боровиков и рыжиков (их мы тоже собирали). И вот теперь «культура» горела. Трудно предположить – отчего, но то, что не школьники были виновниками пожара – это точно. Никто раньше нас не выходил из школы домой в тот день, как потом выяснилось. Мы всё же были советскими школьниками и совершить маленький подвиг, спасая народное богатство, было у нас в крови, поэтому мы тут же бросились сбивать огонь, расползавшийся по сухой хвое на земле, отрядив несколько девочек бежать в лесничество, что было в двух километрах от Лысой горы. Наши усилия по тушению пожара уже начали приносить видимый результат. Казалось, ещё немного – и мы потушим огонь.

 Но тут вдруг начали разрываться патроны, да так густо, что мы бросились кто куда. И хорошо, что бросились. Потому что один за другим прогремели два взрыва – видимо, взорвались гранаты. Это нагнало на нас еще большего страху и уже не могло быть и речи о тушении огня не только нами, но и подоспевшими лесниками и рабочими лесничества. Огню только того и надо было. Внезапно возник смерч из огня, закрутился в пляске по вершинам молодых сосен, охватил почти всю посадку, стало не то чтобы жарко, а раскалённо жарко – воздух превратился в плазму, которая крутилась над участком в два-три гектара.

 Буйство плазмы сопровождалось треском патронов и взрывом гранат. Мы успели отбежать на приличное расстояние, со страхом ожидая, что огонь перекинется на большой лес. Но огонь вдруг начал слабеть, оседая и не распространяясь по площади. Догорали остовы деревьев. Прекратились разрывы патронов и гранат, а может, и мин, потому что пару раз ухнуло так, что мы присели с перепугу. К этому времени уже прибежали жители Старинки к месту пожара с лопатами и даже прискакала пожарная телега с бочкой воды, – это лесной пожар тушить! – и, слава Богу, забросали песком стлавшийся по земле огонь. Назавтра мы увидели черную шапку на макушке Лысой горы и – удивительное дело – уцелевшую тригонометрическую вышку, сиротливо возвышающуюся над бездной черноты. Странно, мы её раньше не замечали. На картах-километровках её можно увидеть сегодня как высоту 157,5.

 \*\*\*

 С тех пор прошло много лет. Лысая гора в месте пожара подросла на высоту полувековых сосен, ровными шеренгами, вросшими в этот песчаный холм. Под соснами, как и полагается в нашем лесу, расстилается золотистая хвоя, сквозь которую уже много лет, начиная с середины августа и до поздней осени, пробиваются сначала маслята, за ними – боровики, затем рыжики – все они хорошо просматриваются в междурядьях «культуры». Но давно не собирают эти неповторимые дары природы ни стайки школьников, ни одинокие любители «тихой охоты».

 Некому.

 Лишь иногда робко нарушит покой лесов этой части Засожья не быстро едущий по «шляху» редкий здесь автомобиль, в салоне которого может сидеть один из тех мальчишек, много лет назад протоптавший по этой дороге свой шлях в жизнь.

 Весной, на Радоницу, машин проезжает много – мои земляки собираются на родительские могилы. Замедляют иногда свой ход иномарки, вглядываются из окон машин, опустив стёкла, ищут знакомые места, воспринимаемые скорее интуитивно, чем узнаваемые по каким-то приметам...

 \*\*\*

 В 1951 году началось строительство нового здания семилетней школы. Инициатором строительства выступил директор школы Егор Лаврентьевич. Школу разместили на левом берегу речки Ельня. Место было просторное, не то, что деревенская улица, можно было и побегать, и поорать на просторе как всем нормальным детям. Нас, кремянковских школьников, радовало то, что путь в школу сокращался на целый километр. К тому же не надо было форсировать бурную весной Ельню. Это теперь предоставлялось школьникам из самой Старинки – большей частью эта деревня располагалась на правом берегу Ельни – и Добрянки. Егор Лаврентьевич много сил положил, чтобы «пробить» строительство школы.

 «Пробивать» во все времена в нашей стране советов было трудным делом. Но после войны, да ещё в таком «волчьем углу», да ещё строительство школы – не на улице же учились! – было делом и вовсе невероятным. Районной власти на такое дело не хватало, как, впрочем, и областной тоже. Егор Лаврентьевич не раз ездил в Минск добиваться разрешения на строительство. Не могу утверждать, что районный отдел народного образования, или, как у нас говорили, районо, оплачивало его командировки, но настырный директор таки добился разрешения на строительство школы. Опять же, не знаю, где он достал проект школы. Тогда мы и понятия не имели, что дома ли, школы ли, должны строиться по проекту, но когда школу построили, оказалось, что очень даже хорошую. Сказать, что районный бюджет понёс в связи с этой стройкой большие расходы, тоже не могу. Здание было деревянным, а лесу – вот он, рядом. Колхоз его-то и вытрелевал, свёз на площадку, да и рубили срубы колхозные плотники. Вот на гвозди, стекло, столярные изделия, на шиферную кровлю, печной кирпич нужны были деньги. Опять же, основные расходы на их закупку нёс колхоз.

 Директор сам всю зиму возил из районного центра шиферные листы. Поедет в Славгород, «выбьет» по нескольку десятков листов то в одной, то в другой конторе – за зиму и насобирал на крышу. А ещё, бывало, идём в школу, подходим уже к Старинке, Егор Лаврентьевич на дороге нас встречает. Отбирает кого покрепче, ведёт в лес. Там уже заготовлены жерди на обрешётку крыши. Вот так эти жерди и перекочёвывали к школе на наших плечах. Народная стройка.

 За год школу построили. И в седьмой класс в 1952 году я пошёл уже в новую школу. Учиться стало радостно. Жалко, правда, тех ребят-переростков, что не успели поучиться в новой школе, но много помогали стройке, их даже с уроков снимали: то мох таскать, потом укладывать его, потом подбивать между брёвнами; то убирать мусор, то еще какую работу, не тяжёлую, но на которую мужчинам-строителям не отвлечься.

 Как всегда это бывает, директора, построившего хоть предприятие, хоть школу, почему-то меняют на нового. Заменили и Егора Лаврентьевича. Так было и «при Сталине», так было и при всех генсеках и не только при них. Правило такое, что ли. А, может, нужному человеку место готовенькое надо было устроить. Иногда, правда, активного директора «двигали по вертикали», то есть шёл он на повышение проявлять и дальше свою инициативу в более серьёзных делах. Или по завершении им доброго дела, «перемещали по горизонтали», то есть на ту же должность, но в ещё более запущенную организацию: подними-ка ты и её, голубчик, а мы уж такое спасибо тебе скажем! Ну, чаще всего в отстающий колхоз с радостью «шли» председатели успешных колхозов. А вот Егора Лаврентьевича «ушли» в рядовые учителя.

 Но хороший человек – он на любой должности хороший человек. И главное – это то, что Егор Лаврентьевич дал «путёвку в жизнь» многим: и тем, кто, казалось бы, уже опоздал из-за войны получить образование и состояться, как человек и как личность, и тем, кто только начинал постигать азы знаний в соответствии с возрастом.

 Годом раньше меня, вместе с моим братом и сестрой, учился в этой школе Миша Стрельцов из деревни Сычин, что в семи километрах от Старинки. Я был в пятом классе, Миша – в шестом. Ему шел четырнадцатый год но, как и все мальчишки в ту пору, выглядел солиднее своих лет.

 В начале учебного года в школе, как правило, выбирали органы самоуправления, как сегодня сказали бы: ученический комитет, комсомольский комитет, пионерских вожатых и редакционную коллегию школьной стенной газеты. Директор, завуч и классные руководители, конечно, контролировали процесс выборов. Семиклассники были в этой избирательной кампании фаворитами, но и про смену на будущий учебный год не забывали мудрые наставники. В тот год редактором школьной газеты по рекомендации Егора Лаврентьевича избрали Мишу Стрельцова.

 Мишка уже был членом редколлегии в предыдущем составе, где редактором был его же сычинский односельчанин (вот ведь какая деревня литературная!). Попал в редколлегию и я, опять же, по настоянию Егора Лаврентьевича, так как к тому времени успел «засветиться» в классном журнале по русскому и белорусскому языкам. К тому же и стишки уже успел в стенгазете «тиснуть». А Мишка к этому времени уже был «мэтром» стихосочинительства. Его стихи были на тему лирических картинок природы и любви ко всему окружающему. Я копал глубже.

 Меня сильно беспокоило положение детей в капиталистическом мире. Помните, я описывал картину Фёдора Решетникова «За мир!»? Вид «гаврошей» на картине вызывал у меня глубокое сочувствие к несчастливому детству в мире капитала. То, что и я, и мои сверстники выглядели одеждой гораздо хуже, да и наверняка питались несравнимо хуже картинных борцов за мир, не вызывало сомнений у наших учителей. Но вот мои стихи о несчастных детях Запада сильно понравились учителям, да так, что они прослезились и единогласно утвердили мою кандидатуру в состав школьной редколлегии.

 Судите сами, как тут не прослезиться, на худой конец, от смеха, читая такие строки:

 «Каждый знает,

 как живут

 советские дети:

 Учатся, и любят

 всякие дела,

 Сыты,

 и обуты,

 и одеты –

 Их дорога

 к счастью

 пролегла»

 К сожалению, я уже не помню целиком это стихотворение, но построено оно было из сравнительных строф жизнеописания детей на Западе и в СССР. Сравнение было совершенно не в пользу детей капитала.

 Самое интересное, что и сейчас у меня вызывает удивление, – это то, что стихи были написаны «лесенкой», как писал и «величайший поэт нашей эпохи» Маяковский. То есть нет: и я писал «лесенкой», как и величайший поэт нашей эпохи Маяковский. А всё потому, что в нашей домашней библиотеке стараниями старшего брата-партизана была в числе прочих детских книг и книжка Маяковского со стихами для детей. Необычные стихи-лесенки мне нравились, вот и получилось «мощное» по обличительному заряду и жизнеутверждающему оптимизму стихотворение.

 Мишкина лирика о прелестях местной природы сравнения не выдерживала.

 Мне прочили большое будущее.

 Впрочем, Мишкины стихи чем-то завораживали. Да и сам он был какой-то не от мира сего: казалось, он знал какую-то тайну, отчего глаза его были немного насмешливы.

 Так мы и «печатались» в разных жанрах из номера в номер школьной стенгазеты, которая, если мне не изменяет память, называлась просто и незатейливо: «Наша школа». Директор Егор Лаврентьевич поощрял наши творческие порывы.

 На следующий год, когда я пошёл в седьмой класс, в новой школе был уже новый директор, но редактором школьной стенгазеты безоговорочно избрали меня.

 Писать стихи почему-то расхотелось. Не с кем было соревноваться. Зато надо было бороться за повышение успеваемости учеников, и стенгазета стала безмолвным, но наглядным рупором в этом архиважном деле.

 Наши пути с Мишей Стрельцовым разошлись.

 Миша продолжил учебу в средней школе в деревне Новоельня, которая находилась примерно в десяти километрах от его родного Сычина, но уже в другом районе, Краснопольском. Обычно в те годы школы учеников из другого района не принимали. Не знаю, как уладили дело в случае с Мишей, но до Новоельни, где открылась средняя школа, ему было гораздо ближе, чем до Славгорода, в котором в ту пору были две средние школы из трёх во всем Славгородском районе.

 Спустя лет десять после окончания школы я услышал о Михасе Стрельцове со страниц «Комсомольской правды», как о талантливом молодом писателе, отмеченном на Всесоюзном слёте молодых литераторов. Прочитал его сборник рассказов, кажется, «Сено на асфальте», и понял, что я правильно сделал, избрав для себя инженерную стезю.

 Весной 1952 года домой возвратился отец.

 Ему повезло: не отправили куда-нибудь в Сибирь или на Колыму или не успели отправить, может, по той причине, что «дело» его много раз рассматривалось в различных судебных инстанциях, включая Верховный Суд СССР. А может потому, что хватало и в тогдашней Белоруссии дел по «восстановлению народного хозяйства», для чего ой как нужны были дармовые руки. К примеру, надо было восстанавливать Минск, куда и определили отца.

 Когда отцу так щедро влепили стандартную по тому времени «восьмёрку», старший брат-партизан уже окончил Белорусский государственный университет и работал в редакции минской областной газеты. Многие выпускники Белгосуниверситета в те годы занимали должности в прокуратуре, судах, – большей частью юристы – а также в органах государственного управления и средствах массовой информации. Как правило, в недавнем прошлом молодые специалисты были фронтовиками или партизанами. Много руководящих работников старшего поколения также прошли партизанскую или фронтовую школу. Партизанское братство и помогло Ивану в его почти трёхлетнем сражении за отца, которое он в итоге и выиграл.

 Отца оправдали только по представлению Верховного Суда СССР. И это ещё при жизни Сталина!

 Жить стало не лучше, но с отцом веселей.

 Отец не стал восстанавливаться в партии, хоть ему и предлагали. Естественно, это означало отказ от всех руководящих должностей, которые ему предлагались при этом. Но, тем не менее, назначили заведовать животноводческой фермой в Кремянковской колхозной бригаде.

 Наступил 1953 год. Зима была очень суровой – снежной и морозной. Пролетели зимние каникулы, февраль открутился до изнеможения злыми метелями. К марту улеглось. Сугробы были такие высокие, как барханы в пустыне Кызыл-Кум, только плотные – мы, не проваливаясь, ходили по ним, как вздумается, лишь бы сократить путь. Дорога в лесу не переметалась сугробами и походила на теперешний жёлоб для бобслея, только гораздо шире. По дну этого жёлоба мы и ходили в свою школу.

 В школе же каким-то образом оказался к этому времени радиоприёмник «Родина-47». Должно быть, РОНО расщедрилось и позволило новой школе купить такое неслыханное богатство. Приёмник стоял в учительской. На переменах иногда включали радио на полную громкость, и многие ученики поражались звукам музыки или речи, раздававшимся из распахнутых дверей учительской. Школьников из Кремянки это не удивляло. Все они помногу раз бывали в Пропойске-Славгороде и отлично были осведомлены о происхождении этих небесных звуков.

 Да и пропойской «колокольчик», чуть подует ветер из Пропойска, явственно был слышен – помните, я уже писал? – в Кремянке. Но большей частью времени приёмник в учительской включался на минимальную громкость – берегли батареи, так как это был батарейный приёмник на пальчиковых электронных лампах. Батарей было две: одна накальная, которая питала нити накала ламп напряжением 1,2 вольт и вторая – анодная, подававшая напряжение на аноды ламп величиной аж в шестьдесят вольт. Батареи были тяжёлые, дорогие и дефицитные.

 И всё же 4 марта 1953 года голос Левитана наполнил коридор школы леденящим мозги сообщением: «В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг...»

 Кровоизлияние в мозги началось почти у всего советского народа.

 Не знаю, как страна, но школа наша – точно замерла. Уроки шли шёпотом.

 Снова разыгрались метели и все стали говорить, что вот, дескать, природа переживает болезнь Сталина.

 Пятого марта утром батарейный радиоприемник «Родина-47» сообщил, что состояние больного ухудшилось.

 Метель взвыла еще сильнее.

 В глазах учителей стоял ужас, от которого мы, ученики, сжимались сильнее, чем от холода.

 Школа превратилась в детский монастырь.

 Утром шестого марта, как всегда, мы вышли из хорошо занесённых снегом домов в школу. Стояла абсолютная тишина, ни малейшего дуновения ветерка, как будто не вчера мы еле дотащились в метель из школы. Небо было чистым, солнце уже встало, и снег хлынул в глаза расплавленной сталью как в фильме «Падение Берлина», который мы не так давно смотрели в актовом зале школы (да, в новой школе был Актовый зал!) – в фильме сталь варил главный герой Алёша–Борис Андреев. Чем ближе мы приближались к школе, тем ярче светило солнце и темнее становилось в глазах.

 Мы вошли в школу. Из учительской тянулась такая музыка, что мы всё поняли. Учительницы плакали навзрыд, учителя деловито сморкались. Дмитрий Прокопович – мастер на все руки – держал красный флаг, обшитый по периметру широкой чёрной каймой, получился «красный прямоугольник в чёрном», его-то и прибили над крыльцом школы.

 Всем стало ясно, что нас постигло лютое горе.

 Об уроках не могло быть и речи.

 Через некоторое время в актовом зале все собрались на траурный митинг. На стене маленькой сцены висел портрет большого друга всех детей товарища Сталина в венке из еловых лапок, красных и чёрных лент.

 Было жутковато.

 Заплакалось.

 Нет, я не хотел плакать, но плакали учительницы, и многие девочки их поддерживали. Да и ребята тоже сопели как-то не так, попробуй, сдержись тут. К тому же выступающие на митинге так проникновенно и с таким отчаянием в голосах говорили, что казалось, никакой жизни нам теперь не будет, и вот от этого, собственно, заплакалось.

 После митинга школьников отпустили домой. Я зашёл за почтой в почтовое отделение, которое теперь было недалеко от школы, забрал письма и вчерашние газеты, из которых подписчики должны были узнать только об ухудшении состояния больного товарища Сталина, а не о его смерти. Эту весть принесём в свои дома мы. Я пришёл домой из школы первым. Сестра училась в восьмом классе в Славгороде, брат там же работал. Их ещё не было дома.

 Дома были отец с матерью. Прямо с порога я удручённо сообщил:

 – Сталин умер.

 Несколько секунд стояла тишина. Осмысливалось сообщение главного поставщика новостей в семье.

 – Отчег\*) -таки! Ну и слава Богу! – вырвалось у отца. Эта первая реакция человека, бывшего довольно длительное время членом партии с довоенных ещё времён и знавшего, должно быть, или догадывавшегося о том, что такое Сталин, весьма характерна для почти всех жителей Кремянки.

 \*) - "отчегнуть" - умереть нехорошему человеку

 Вздох облегчения вырвался у сельчан. Разумеется, это не тогдашнее моё заключение. Но то, что деревня повеселела, сразу стало заметно. Смерть Сталина обсуждали открыто, не таясь и не опасаясь, что может услышать плохой человек. Впрочем, этой боязни среди моих земляков не наблюдалось и раньше. Я помню, что иногда можно было услышать на улице разговоры про то, что «Сталину-то хорошо, живет на всём готовеньком, вот посмотрел бы, как нам приходится за одни палочки (трудодни, значит) вкалывать, да ещё и налоги плати ему».

 Пелись и частушки про Сталина. Мне запомнилась одна своим окончанием, которое звучало так: «спасибо Сталину-грузину, что обул всех нас в резину». Это как раз в то время, о котором я уже рассказывал, как раздирали местные жители автомобильные покрышки на листы резины и клеили из них бахилы, подшивали ими лапти и чуни. Или, например, в начале войны, когда до нас она ещё не докатилась, друг отца – Федот, стоя перед портретом Сталина в правлении колхоза, публично говорит: «Ну, что, ус, доигрался? Заварил кашу? А нам теперь расхлёбывай?!». Эти слова я хорошо запомнил из рассказа матери еще в пятидесятые годы. Можно только поудивляться той степени свободы суждений и выражения мнений, которой пользовались мои земляки, будучи уверены, что нет в деревне такой чёрной души, которая донесла бы «куда следует».

 Никто не плакал в моей деревне по случаю смерти Сталина, но и радость открыто не выражали. В отличие от учителей, никто не задавал ни себе, ни друг другу сакраментального вопроса: что же теперь будет?

 С интересом ждали: кто же теперь будет?

 По принципу: "Король умер – да здравствует король!"

 Сталина и называли у нас царём. А царский престол пустым не бывает. И то, что хуже Сталина царя уже не будет – точно говорили.

 Так оно и случилось.

 Когда «назначенный» Председателем Совета Министров Георгий Маленков чуть ли не через неделю после восшествия на государственный престол объявил об упразднении существовавших при Сталине налогов на колхозников, а также о списании всех недоимок за прошлые годы, народу это сильно понравилось. Можно даже сказать, что многие наши несчастные семьи, погрязшие в недоимках и текущих налогах, возблагодарили Бога, пославшего нам такого замечательно доброго царя. Высохшие от непомерной работы и недоедания матери – главы семейств по пять-шесть человек – приходили в школу, где уже повесили на место прежнего царя портрет нового, посмотреть на благодетеля и даже бухнуться на колени. Это ж вот до чего довела «маленький, но гордый» кремянковский народ экономическая политика самого мудрого из мудрейших вождей советского народа и всего прогрессивного человечества!

 Начиная со времен хрущёвской «оттепели», и особенно во время «перестройки», о Сталине написано столько всякой чепухи, что найти рациональное зерно в гималаях словесной руды просто невозможно человеку, далёкому от сталинских времён. А в последнее время вообще какой-то нездоровый ажиотаж вокруг этой личности проявляется на просторах СНГ и особенно в России. Дошло дело до того, что российский государственный телевизионный канал в конкурсе «Имя России» голосами своих телезрителей едва не избрал Сталина символом России: «мы говорим – Сталин, подразумеваем – Россия, мы говорим – Россия, подразумеваем – Сталин». Среди претендентов на имя России высокие места заняли также Иван Грозный, Пётр Первый, Владимир Ленин. Хороша четвёрка, ничего не скажешь.

 К ним бы еще их подручных: Малюту Скуратова, Федора Ромодановского, Феликса Дзержинского, Николая Ежова (Лаврентия Берия – по выбору) – вот была бы компания для полноты исторических картинок в характеристиках претендентов на Имя! Народ-то как раз по этим подручным в подсознании, управляемом еще теми генами, и держит первую четвёрку в своих кумирах. Вот вам и «Имена России», которые хочет видеть современный «образованный» россиянин!

 Но я немножко отвлёкся.

 Впрочем, я это к тому, что в оценке личности Сталина преобладали и преобладают две оценочные категории: гениальность и злодейство. Совмещая эти категории, никогда невозможно объективно оценить ту или иную личность. Ну, хотя бы потому, что «...гений и злодейство – вещи несовместные». И если ты собираешься давать историческую оценку кому-либо из великих людей (правителей – в особенности), то надобно помнить этот «закон несовместности», выведенный Александром Сергеевичем Пушкиным.

 Чаще всего в основе стремления к власти таких вот гениев-злодеев лежат элементарные психические расстройства, усиливающие функцию деятельности того участка коры головного мозга, который отвечает за место человека в общественной иерархии. То, что Создателем предусмотрена и такая функция человеческого мозга, не должно вызывать сомнения: мозг человека – это хранилище всей Божественной информации о Мироздании, о связях, законах, взаимодействиях, характеристиках всего, как составляющего его, так и всего сущего в нём во всех формах и проявлениях, как физических, так и духовных. Не будь такой полноты информации в человеческом мозге, человечество никогда бы не достигло того уровня, который мы имеем на сегодняшний день, и будем иметь на каждый последующий. Все достижения человечества находятся в полной гармонии с программой пользования этой информацией, предусматривающей постепенность и последовательность открытий, изобретений, объяснений непонятных явлений и всего того, что окружает человека.

 К счастью для человечества, информация, вложенная Создателем в мозг человека, закодирована и становится доступной человеку лишь тогда, когда какая-то малая часть её, собранная людьми из наблюдений, сопоставлений, размышлений, догадок, гипотез, основанных на предыдущих знаниях, складывается в единый образ того, что необходимо человечеству на данном этапе его существования, затем идентифицируется с тем образом, что уже существует в мозгу человека.

 Этот образ – ключ к коду определённой информации – окончательно складывается в одном каком-то мозгу, собравшем наиболее полную информацию о предмете заботы человечества. Происходит открытие, изобретение, объяснение еще непознанного. Впрочем, история открытий и изобретений показывает, что такой ключ может «прийти в голову» и не одному человеку, а двум и трём, но практически одновременно.

 И так – на протяжении существования человечества.

 Полагаю, что человек именно поэтому создан Богом «по образу и подобию своему», а человечеству именно поэтому отведена Создателем исключительная роль во Вселенной: хранение и использование информации на благо Вселенной, познание последней и, в конечном счёте, управление ею в соответствии с Божественной Программой.

 Но бывает, что в мозгу отдельного человека произошёл сбой в упорядоченной системе хранения, использования и идентификации информации. Причем, этот сбой затрагивает, как правило, лишь отдельные участки, ячейки, мозга, но самые различные, отвечающие за определённые виды информации. В зависимости от степени и вида «повреждения» при формировании хранилища информации или уже функционирующей информационной системы отдельного индивида, человечество может получить гения или злодея.

 Гении чаще всего проявляют себя в том, что совершают открытия либо действия, опережающие запрограммированное Создателем время появления этих открытий, рано или поздно приносящих благо человечеству. Благо – потому, что иное не предусмотрено Божественной Программой.

 Злодеи же совершают действия – не открытия! – либо вообще не предусмотренные в информационной системе человека, либо предусмотренные Программой Создателя лишь на стадии полного совершенства человека, приближающего его к самому Создателю.

 Одно из таких действий – преждевременное отнесение себя к Божественному уровню.

 Стремление к власти, удержание её, чаще всего нездорово, болезненно во все времена: от древних и до наших дней. Только что мы рассмотрели «нашу» четвёрку имён. Кого-нибудь из них вы назовёте нормальным человеком? Или мало примеров в мировой истории правителей с больной психикой? Не меньше, чем с нормальной психикой, но из них мало кто умер своей смертью.

 Характерно, что почти все злодеи-правители всячески стремились к признанию их «богоподобными» или поощряли такое признание, исходившее от их подданных. Это происходит даже в наши дни. Я уже не говорю о многолетних правителях отдельных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Например, совсем недавно один из руководителей бывших советских республик подобострастное заверение своего вассала: «Вы выше Бога!» воспринял с довольной улыбкой.

 Также характерно и то, что все «богоподобные» после своего ухода из власти (по причине смерти или свержения – не важно) в лучшем случае таковыми просто не оставались в памяти народной, а уж в истории – тем более.

 Многочисленные серийные убийцы также считали себя приближёнными к Богу, вполне убеждённо считая свою миссию по очищению земли от «человеческого мусора» божественной.

 Синдром серийных убийц – болезнь всех злодеев-правителей.

 Приписываемые же таким «богоподобным» успехи во времена их правления есть не что иное, как результат применения инструментария их правления – мощной репрессивной авторитарной или государственной машины, заставляющей, в свою очередь, народ следовать законам выживания, как в любой катастрофической ситуации.

 Вот вам и вся «сермяжная правда» об «отце народов» Иосифе Сталине.

 Возможно ли предотвращение появления злодеев-правителей в будущем?

 Да, но только в обществе с высоким уровнем раскрытой информации в мозгах подавляющего числа людей, составляющих это общество. В таком обществе невозможен приход к власти человека с «вывихнутыми мозгами» ни путём его демократического избрания, ни путём насильственного прихода к власти.

 Хотите примеры?

 Проанализируйте слегка историю развития стран Латинской Америки, большинства стран Азии и Африки за последнее полстолетие – это один пример.

 Сделайте то же самое с такой же полувековой историей развития Соединённых Штатов Америки и ведущих европейских государств – это вам другой пример.

 Почувствуйте, как говорится, разницу.

**Глава одиннадцатая**

**АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ**

 Со смертью Сталина, как это ни удивительно было для многих, жизнь не остановилась. Как-то быстро всё улеглось, успокоилось и даже жить стало лучше, жить стало веселей без кавычек.

 Семилетку я закончил с одной-единственной четвёркой по химии. Принципиальность Дмитрия Прокоповича – мастера на все руки и предметы преподавания, в том числе и химию, – не позволила сделать моё свидетельство об окончании семилетней школы «золотым», но и такого было достаточно для преимущественного права зачисления его обладателя в районную среднюю школу.

 Про намерение поступить в геологоразведочный техникум после семилетки я уже упоминал, но к моменту её окончания интерес мой был уже направлен на радио, каковою причиною стало появление радиоприёмника в школе и близкое знакомство с ним, благодаря учителю Дмитрию Прокоповичу. Началось увлечение простейшим детекторным радиоприёмником. Но собрать его, как оказалось, не так-то было просто, так как даже простейших деталей необходимых для сборки радиоприёмника не было в продаже в районном магазине «Культтовары». Того же тонюсенького эмалированного медного провода, без которого не обходится ни одно радиоприёмное устройство. А что говорить тогда о детекторе, как тогда именовался обыкновенный полупроводниковый диод, выполнявший эту роль. И вот тут я прочитал в каком-то детском журнале, то ли в «Пионере», то ли в «Юном технике» о том, что детектор для радиоприёмника можно сделать самому. Для этого нужны были два компонента: свинец и сера. И того, и другого у меня было в избытке: свинцовые шарики легко доставались из шрапнельных мин, которые в изобилии долгое время после войны валялись в наших лесах. В изобилии было и серы, которой полагалось быть на колхозной ферме для лечения животных (правда, что-то не припомню, чтобы ею активно пользовались). Надо было лишь соединить два эти элемента таблицы Менделеева таким образом, чтобы получился сернистый свинец или, как его ещё называют, свинцовый блеск. Соединение таких разных элементов происходит при нагреве смеси свинцовых опилок и порошка серы до температуры плавления более тугоплавкого из них – свинца. В результате реакции после остывания получается вещество, напоминающее серу, но уже с более плотными кристаллами металлического блеска. Вот из этого «нечто» надо путем осторожного раскалывания на мелкие кусочки выделить отдельный кристаллик, который и будет играть роль основного электрода полупроводника в вашем детекторе. Роль второго электрода в создаваемом диоде выполняла тонкая и очень острая стальная иголка. Задача состояла в том, чтобы методом «тыка» иголкой найти такой контакт на кристалле сернистого цинка и закрепиться на нём, чтобы появилась устойчивая односторонняя электрическая цепь при прохождении через этот контакт очень слабого электрического тока от пойманной вашим приемником радиоволны.

 Механическую часть процесса создания полноценной детали под названием «детектор» опускаю, хотя и она довольно сложна при изготовлении детектора, но дело здесь не в этом. Важно то, что я посрамил четвёрку по химии в своем свидетельстве. Путем многочисленных экспериментов с серой и свинцом в условиях, совершенно отдалённых от простейших химических лабораторий, мне таки удалось получить вожделённый кристалл. В результате приёмник мой заработал. Вот так увлечение радио определило мой дальнейший выбор профессии.

 Но сначала надо было получить среднее образование.

 Напомню, что обязательное среднее образование в то время еще не было предусмотрено Конституцией СССР, поэтому учеба в 8-10 классах была платной, как впрочем, и в высших учебных заведениях. Возможно, поэтому в районе было всего лишь три средних школы. Причем, две из них открылись уже после войны, в одной из которых преподавание велось на русском языке. Она так и называлась: «Славгородская русская средняя школа № 2», а открылась всего-то год назад. В ней учились преимущественно дети районного начальства, руководящих работников предприятий и районных организаций и близких и нужных им людей, словом, дети элиты города. В народе считалось, что эта сугубо городская школа и «деревенским» нечего туда соваться. Как туда попали моя сестра со своей подругой и ещё двое кремянковских парней – не могу объяснить, но, скорее всего, для «кремянцев» сделали исключение, дабы подчеркнуть демократический характер народного просвещения.

 Под номером 1 была, естественно, первая и единственная до войны в районе средняя школа, вполне национальная по языку преподавания. Вот в эту школу я и понёс своё свидетельство об образовании, резонно полагая, что старая школа лучше новой тем, что в ней учились довольно известные в районе люди, стало быть, и традиции в этой школе сложились, да и учителя были тоже известные и уважаемые в городе люди.

 Основная трудность учёбы в Славгородской белорусской средней школе № 1 состояла в преодолении не тернистого пути к знаниям, а водной преграды в виде реки Сож, описанной в самом начале этого повествования. Моста через реку, как вы, надеюсь, помните, не было не только в черте города Славгорода, но и выше по течению до Черикова и ниже по течению до самого Гомеля. Следовательно, перебирались люди через реку на плавсредствах, коими в данном случае являлись паром и лодки. Паром представлял собой деревянную платформу, сооружённую из брёвен и досок, и покоящуюся на двух небольших понтонах трофейного происхождения, которые оставили Пропойску наши войска после его освобождения. Через реку был переброшен стальной канат, под который заводился паром. Паром удерживался канатом на течении реки и передвигался от одного берега к другому, скользя роликами по низу каната с помощью ручной тягловой силы.

 У районной власти не было такой конторы, которая заведовала бы паромной переправой – по большому счёту она ей была не нужна. Поэтому паром приватизировал местный колхоз – значительную часть населения Славгорода составляли колхозники. Колхозу нужна была переправа на обширные пойменные луга, расстилавшиеся по левую сторону Сожа, на время косовицы, а затем и для ухода за колхозными стадами коров, запускавшимися на луг после косовицы. Для своих колхозников переправа была бесплатной, а вот для «посторонних» – изволь заплатить пятьдесят копеек за перевоз в одну сторону. Причем, «членам профсоюза, студентам и детям» льгот не полагалось. Колхоз «Октябрь» бессовестно вторгся в сферу интересов организаций государственных путей сообщения и монополизировал переправу через реку Сож. Паромщиком служил вовсе не молодой и даже обременённый семейством колхозник. Звали его Яков. Ему часто помогала жена. У обоих были полные рты сверкавших никелем стальных зубов, и когда они разговаривали, а, особенно, смеялись, что было не часто, то сверкание зубов делало их лица зловещими. Впрочем, может это оттого, что плату за перевоз они собирали слишком уж усердно, сразу же предупреждая, что ежели кто не заплатит, то они не перевезут халявщика. Иногда случалось, что кто-то пытался переправить через реку на собственной лодке (частных лодок на берегах Сожа и Прони было довольно много) своего знакомого на виду у паромщика. О, что тут в таких случаях бывало! Если Яков успевал оказаться на том берегу, к которому следовала лодка нарушителя, он хватал багор, мчался к предполагаемому месту причаливания лодки супостата и отпихивал багром приближающееся плавсредство с дикими ругательствами и угрозами в адрес владельца лодки, которого он, ясное дело, знал – в Пропойске-Славгороде почти все жители знали друг друга. Нарушителю паромной «конвенции» грозили нешуточные неприятности: если он был колхозник, то его могли «разобрать» на правлении колхоза; если это был работник какой-либо организации, Яков мог пожаловаться по месту работы зарвавшегося «перевозчика» и того ждала обструкция на работе. Не забывал Яков и пассажира лодки, которому столь же убедительно и образно доказывал, что переправляться надо на пароме: «Вон паром, я тебе говорю!». Если борьба за монополию перевозок в каком-то конкретном случае заканчивалась не в пользу Якова, то он запоминал наглого пассажира, и буде тому потребность наведаться в Славгород хоть когда, Яков не пускал его на паром, а на протесты и угрозы лишенца права перевоза пожаловаться на произвол паромщика отвечал: «Жалуйся, хоть в Москву, а тут я хозяин».

 Вот с таким паромщиком предстояло теперь иметь дело кремянковским школьникам.

 К слову сказать, у самого Якова двое сыновей учились в той же школе, что и я. Но это выяснилось позже. А еще дочь паромщиков училась в университете в Минске. Одеты и обуты сыновья Якова были много лучше других школьников, держали себя с гонором и особо ни с кем не дружили.

 Так что были и такие вот «колхозники».

 Чёрт бы, как говорится, с ними, да выходило, что нам с сестрой надо платить только за перевоз в неделю аж 12 рублей, а в месяц – 50, а таких месяцев – четыре, (остальные пять месяцев школы приходились на время, когда река была покрыта льдом и на разлив) вот тебе и все 200! Мыслимое ли это дело? Это в пятьдесят третьем-то году, когда средняя зарплата по стране была меньше 400 рублей! А ведь ещё надо было платить и за обучение в средней школе, а это ещё 600 рублей за двоих в год! А где их взять? Вы думаете, что после того, как Никита Хрущёв в сентябре 1953 года на пленуме партии провозгласил новую стратегию сельского хозяйства, в наших колхозах начали платить деньги за тяжкие труды на благо любимой Родины?

 Да ничуть!

 Конечно, налогами так уже не душили и колхозы, и колхозников. Но за свой труд наши колхозники по-прежнему ничего не получали. Правда, уже не вывозили на себе навоз на собственные участки и не впрягались в плуг женщины и дети. Получалось так, что ты должен был работать в колхозе, чтобы у тебя была возможность пользоваться колхозной лошадью, телегой, инвентарём, чтобы обработать свой участок, перевезти домой урожай, заготовить и перевезти в свой двор дрова, сено, съездить на ярмарку.

 Да, можно было вырастить кабанчика и сдать его в тот же самый «Заготскот» – он по-прежнему процветал на ниве закупок мяса в колхозах, а теперь еще и у колхозников. Но в первое послесталинское время ещё не хватало кормов у колхозников на откорм больше одной свиньи, ведь основным кормом была картошка. Её и самой семье-то не хватало. Наши песчано-кремнистые земли для картошки были хороши, если их хорошо унавозить. Но вот таких сортов, чтобы давали при этом хорошие урожаи, не было. Из года в год сажали один и тот же сорт, никакого севооборота, кроме маленьких участочков «картофель – просо», не было. Но когда во второй половине пятидесятых годов появились новые сорта картофеля, урожайность его на наших полях резко повысилась и проблема кормов была решена. В конце пятидесятых – начале шестидесятых уже была проблема сдачи свиней в «Заготскот» – уже не справлялся с переработкой скота областной мясокомбинат. Везти скот на мясокомбинаты других областей не разрешалось, да и накладно сдатчикам было.

 По-прежнему можно было заработать на сплаве леса, на разгрузке-погрузке барж на пристани в Славгороде или погрузке леса в те же баржи в Старике, что и делали кремянковские мужики и подростки. Летом можно было неплохо заработать на плетении больших, на пять вёдер, корзин из лозы, которой по песчаным берегам Сожа было, что бамбука где-нибудь в Китае; можно было надрать коры другой разновидности лозы, чёрной, высушить её и сплавить на лодке в Славгород в «Заготсырьё». Не забыть бы про щавель, который чуть ли не тоннами собирали по весне, как схлынет весеннее половодье, кремянковские женщины и, опять же, сдавали в очередную заготовительную контору, которая называлась просто и незатейливо: «Райзаготконтора». И, наконец, самый денежный промысел кремянцев – грибной.

 Не знаю, есть ли еще где-нибудь на земле такое чудо, как в кремянковских лесах. Возможно, что-то похожее есть, но ведь и у одинакового чуда – своё лицо. Грибы, что растут в окружающих деревню лесах, не похожи на своих собратьев, что растут в других местах хоть Белоруссии, хоть соседней России. Речь идёт, прежде всего, о белых грибах – боровиках. Если исходить из того, что вкусовые качества известных нам культур зависят в значительной мере от природного состава почвы, при прочих равных условиях, то это, как нельзя лучше, относится к боровикам, растущим в наших лесах. Самые лучшие из них, если так выразиться, «сорт премиум», росли в сравнительно молодых посадках – культурах, я уже рассказывал, что это такое. Расти боровики в этих культурах начинали по достижении молодыми посадками пятнадцати – двадцати лет. К этому времени стройные ряды сосен прореживались, под кронами деревьев становилось больше света, а самое главное, образовывалась устойчивая подстилка из опадающей хвои, веточек, коры – всё это перегнивало в нижних слоях, сверху постоянно добавлялось новая хвоя, пока, наконец, не образовывался слой гумуса, лежащий на поверхности жёлтого песка. Слой очень тонкий, но уже достаточный для того, чтобы занесённые в этот молодой лес грибные споры начали свою работу по размножению и закреплению грибных нитей, из которых и вырастало совершеннейшее чудо. Выглядели боровики необычайно привлекательно: толстая, плотная иссиня-чёрная шляпка покоилась на короткой яйцеобразной ножке остриём вверх, которая, в свою очередь, просто стояла на той самой подстилочке, держась за неё множеством тоненьких нитей-корешков. Вы срывали этот боровичок и обнаруживали на основании его ножки место её контакта с землей диаметром не более копеечной монетки. Вам оставалось только слегка счистить ножом соринки с ножки, щурясь от брызнувшей из-под шляпки белизны.

 Наши люди издавна промышляли тем, что заготавливали сушёные боровики и возили их затем на продажу в Петербург. Этот промысел сохранился до конца шестидесятых – начала семидесятых годов прошлого (двадцатого) века. Думаю, что начало этому промыслу положила железная дорога, соединившая Могилёв с Петербургом. Ну, а до Могилёва можно было и в девятнадцатом веке запросто добраться на лошадях. Устойчивые предложения белых сушёных грибов из лесов юго-восточной Могилёвщины на рынках Петербурга создали им хорошую славу в северной столице России, которая долго держалась и в советское время. Наши боровики стоили того.

 Как видите, многое из тех промыслов, что я перечислил, были под силу подросткам и даже детям. Сестра моя только на одном щавеле за лето зарабатывала себе на обновки к следующему учебному году и в среднюю школу ходила уже более-менее одетой и обутой. Опять же, и за её учебу платили из скудного семейного бюджета. Понятно, что ей, как девушке, надо было лучше и одеваться, и многое другое иметь из того, что полагается в таком возрасте, ну а мне и младшей сестрёнке, которая училась уже в четвёртом классе, доставалось, что оставалось.

 Конечно, невозможно было вышеупомянутыми промыслами в полной мере обеспечить потребности четырёх учащихся детей, один из которых, второй брат, Алексей, был уже студентом. Он в пятидесятом году окончил вечернюю среднюю школу, и старший брат-партизан пристроил его в институт физкультуры. Почему в институт физкультуры? Дело в том, что Алексей не хотел продолжать учёбу дальше, когда он окончил школу, ему был уже 21 год, в этом возрасте уже заканчивают институты с четырехгодичным обучением, и Алексею казалось, что он безнадёжно опоздал с институтом, пора призываться в армию. Но настырный партизан Иван всё же уломал его, и в последний момент 31 августа Алексея зачислили в институт физкультуры без экзаменов, так как там был недобор абитуриентов.

 Но ведь что только не делает с людьми его величество случай!

 Случайно попавший в совершенно непрестижный в те времена институт физкультуры молодой, но уже сформировавшийся, цельный человек, заканчивает его с отличием, и, имея в послужном списке несколько опубликованных студенческих научных работ, направляется в целевую аспирантуру Ленинградского научно-исследовательского института физкультуры.

 По окончании аспирантуры защищает кандидатскую диссертацию в области физиологии спорта и начинает преподавательскую работу в своей «альма-матер». Проходит все ступени, приведшие его к руководству институтом. Будучи ректором, расширяет сферу интересов института, организовывает институтскую аспирантуру, расширяет научно-исследовательскую базу, а также лабораторные курсы для студентов, решает проблему квалифицированных преподавательских кадров, добивается в высших властных структурах решения на строительство нового комплекса зданий института, успешно завершает это строительство, после чего, как водится, – помните случай со школой-семилеткой? – его перемещают с поста ректора на заведующего кафедрой физиологии спорта. Вскоре он становится доктором биологических наук, профессором, ему присваивают звание заслуженного работника образования. Кафедра физиологии спорта института становится одним из ведущих центров в СССР по изучению физиологических процессов в организмах спортсменов. Алексей создаёт свою научную школу, которая сформировала новое направление в науке о физиологии высших спортивных достижений. А пока Алексей – студент инфизкульта, ему много помогает старший брат, впрочем, достаётся от него кое-что и нам, младшим. Когда надо мной нависла угроза отчисления из девятого класса за неуплату обучения, старший брат пришёл мне на помощь и прислал необходимые триста рублей. То-то было мне радости! Помню, как мне их выдали на почте трехрублёвками, я нёс пачку денег в школу, и мне казалось, что весь Пропойск смотрит на меня и облизывается, как Лиса на Буратино. Радостный, я принёс деньги самому директору. Михаил Евдокимович принял их чуть ли не со слезами на глазах – ему ведь не хотелось меня отчислять, а эти несчастные мятые «троя;чки» выглядели такими символами нищеты, в которой мы все находились, что вполне могли вызвать чувство сострадания у кого угодно.

 Вот такой был общественный и семейный «политико-экономический расклад» на момент моего поступления в среднюю школу.

 Проблема перевоза через реку Сож была улажена отцом посредством переговоров с руководством колхоза-узурпатора речных переправ. Отца ведь знали среди руководящего районного люда. Пошли навстречу и снизили плату до 10 копеек со школьника в одну сторону.

 Стоимость коробка спичек в то время.

 Конечно, дорога в Славгородскую школу была короче, чем в Старинковскую почти в два раза, но шла она открытым лугом, изобиловавшим множеством препятствий, которые нужно было обходить, особенно глубокой осенью, когда шли дожди и наполняли водой любое углубление в сложном рельефе луга. Зимой же дорога была практически прямой: ветры заметали все ямы и колдобины, уплотняли снег; морозы схватывали его так, что можно было легко идти, не проваливаясь, и это значительно сокращало дорогу. Самым неприятным в этой дороге было то, что она была открыта всем ветрам, дорогу переметало снегом, да и ветер пробирал до костей, особенно, если дул в лицо. Так было всю зиму, пока в середине марта не начинало подтаивать. Дорога, с утра хрустевшая под ногами замерзшими льдинками, раскисала днём так, что приходилось брести по щиколотку в кисельной массе снега и конского навоза – удовольствие малоприятное. Но хуже всего было с рекой. Берега подтаивали, и вода с верховьев начинала выбираться на лёд, образуя на нём полосы воды вдоль берегов, так называемые «струги», преодолеть которые во второй половине дня становилось большой проблемой. Было большой удачей, когда удавалось продержаться зимней дороге до начала весенних каникул. Тем не менее, ходили мы по раскисающей дороге и темнеющему льду на Соже до самого последнего дня перед каникулами.

 И вот разливался Сож.

 Тут важен момент, когда начинал лопаться лёд. Каждый год, почти день в день, точнее, ночь в ночь, как правило, с 31 марта на 1 апреля, Сож открывает канонаду. Вода с верховьев, усиленная многочисленными притоками, превращающимися в ревущие горные реки, как это уже я описал в случае с речкой Ельня, мощным валом, прямо-таки цунами, поднимает метровой толщины лёд на Соже. Раздается грохот такой силы, что просыпается половина деревни – Самодумка и Рим – и редко кто остается равнодушным к этому проявлению стихии. Канонада начинается на востоке. Сначала слышен гул, который всё сильнее нарастает и всё больше походит на тот, что доносился из-за Пропойска в 1943 году, когда там шли тяжёлые бои. В дело вступают «гвардейские минометы» – это с характерным уханьем разбегаются по льду вниз по течению трещины. Выстрелы «гаубиц» приближаются стремительным валом, который катится вслед за трещинами и раскалывает, кромсает вдоль и поперёк толстый ледяной панцирь, вздыбливает и плашмя бросает огромные криги-льдины на всё еще сопротивляющийся панцирь; криги с грохотом раскалываются, создавая затор, но вода стремительно обходит торосы и, устремляясь в трещины, расширяет их; трещины молниями уносятся вперёд, увлекая в свои глубины воду, вода снова вздыбливает мощную ледяную броню, а сзади всё крошится, ломается, создавая простор и возможность прибывающей сзади воде вырываться из берегов, охватывая лёд с флангов, – и всё это так слаженно, так симфонично, словно невидимый дирижёр плетёт свою фантастическую музыку освобождающейся стихии.

 Это продолжается совсем недолго – симфония пробуждения вечно молодого Сожа покатилась вниз по течению, к Пропойску–Славгороду, оставив столь же вечно восторженным этой музыкой кремянцам белый шум, который еще несколько дней будет затихать, пока не разольётся весенним простором с двух сторон деревни – любо-дорого глазу.

 Когда звучат первые аккорды первой части Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского – это начинается Кремянковская ледовая симфония-концерт. Другой ассоциации с музыкой Первого концерта у меня не возникает.

 Конечно, такой силы паводки были характерны для конца сороковых – пятидесятых годов двадцатого столетия. В ту пору еще не начиналась знаменитая мелиорация, поймы рек были переувлажнены, зимы были снежными и морозными, а вёсны начинались бурным таянием снегов. Но уже в начале шестидесятых вовсю начали проводить примитивную мелиорацию: пойма Сожа была испещрена глубокими каналами-канавами, уровень почвенных вод в ней сильно понизился и талые воды быстро впитывались в пойменные почвы, поэтому весенние паводки по своей силе и продолжительности стали много меньше извечных.

 Но это было потом, а пока стоял паводок, – а стоял он около месяца – всё это время мы, школьники, находились на постое в Пропойске-Славгороде у своих родственников или знакомых.

 На воскресенье же отправлялись домой. Добирались на лодках, на которых приплывали в Славгород кремянцы, а приплывали они в свой Пропойск каждый день, – мало ли дел было у них там? Вот и «подгадывали» мы к обратным рейсам основного транспортного средства кремянцев, и таким образом, воскресенье проводили дома.

 Тут надо заметить, что о моторных лодках тогда кремянцы только слышали, а чтоб мечтать – так даже не осмеливались. Движителем плавсредства были вёсла. Но если вниз по течению, то есть в Славгород, плыть было легко – стремнина несла лодку, только выруливай, то преодолевать ту же стремнину на обратном пути для сидящих на вёслах работа была – что надо. Но, как правило, на корме лодки сидел и правил ею опытный «лоцман». За много вёсен кремянцы хорошо изучили все течения во время паводка. Хорошо знали стрежень Сожа, то есть наиболее быстрый ход воды по всему его руслу. По каким-то особым приметам «лоцманы» определяли русло реки, и, если, плывя в Славгород, старались попасть на стрежень, то на обратном пути избегали попадать в русло Сожа, плывя по относительно спокойному разливу, спрямляя водный путь. Но всё равно, отмахай-ка вёслами три с лишним километра против течения, пусть себе и спокойного!

 Надо бы упомянуть и о лодках, на которых плавали кремянцы. Из поколения в поколение передавалось мастерство изготовления лодок, как из тонких сосновых досок, так и из цельного куска дерева – колоды, как правило, осиновой. Осину для лодки кремянковские мужики присматривали еще на стадии подвоза леса на зимние склады в Вяжном или еще ближе к деревне, в Дальнем Рожке, откуда её, то есть осину, кремянцы «изымали» и прятали в укромном месте. Колода лежала до того, как спадёт весенняя вода, затем её сплавляли по реке к заранее облюбованному месту, «верфи», по большому счёту. Как правило, этим местом был Пилипов Рог. Рогами у нас называли участки, ограниченные острыми песчаными – ослепительно белый песок! – выступами берегов, образованных руслами Сожа и стариц, которых и вдоль деревни было в изобилии, особенно, на противоположном от деревни берегу.

 Близ деревни было таких четыре рога: Пилипов, Гордеев, Славный и Трайдин. Еще был Ближний Рожок – аккурат напротив главной улицы деревни и только что упомянутый Дальний Рожок, в километре выше по течению от Кремянки. Эти рожки были уже на берегу со стороны деревни.

 Место для «верфи» было хорошо тем, что никому не мешало, скрыто от посторонних глаз высокими кустами красного ивняка и всего было под рукой: дров, воды, песка, того же кустарника, вполне пригодного для оснастки «верфи».

 Попробую по памяти восстановить в общих чертах технологию изготовления таких лодок.

 Отлежавшись в водах старицы, основательно разбухшая тяжелая осиновая колода в середине лета вытаскивалась группой крепких мужичков из воды. С помощью верёвок, десятка кругляшей-чурбачков и рычагов подкатывали колоду ко много раз используемой площадке-верфи. Площадка находилась в тени высоких кустов – это было непременным условием технологии – колода не должна находиться под действием солнца. Колоду укладывали на заранее подготовленные специальные лаги. Потом в дело вступал мастер. В принципе, у нас каждый сам себе был мастер на все руки. Но были и мастера своего, как говорится, дела. Мастера лодочного дела жили ближе к реке. Ну, так получилось с того момента, как заселили эти берега представители кремянковского племени.

 Колода ошкуривалась, то есть с помощью топора отдиралась кора длинными лентами. Кора от древесины отставала легко, и обнажалось тело, белое и вполне похожее на женское. На противоположном от «верфи» и чуть ниже по течению песчаном берегу, отгороженном забором капустно-конопляного огорода, было место для омовения женщин после трудов праведных на огородах. Да и вообще, здесь была установившаяся практика группового женского купания. Здесь все раздевались донага, купались весело и без боязни быть осрамлёнными. В толпе-то оно – подумаешь! Кстати, какому-нибудь Рембрандту, нет, лучше Кустодиеву или Пластову, здесь «натуры» – раздолье. Тут вам не Фламандия с её жирными тётками. Тут всё на месте. Вот только резко контрастируют загорелые лица, руки до локтей и ноги до колен с живым молоком тел – такого у Рембрандта не увидишь...

 Впрочем, вернёмся на «верфь».

 После того, как колоду «раздели», естественно, начинается придирчивый её осмотр. Опять же, как и женщины. Дело в том, что из всей колоды, а она несколько длиннее, чем будущая лодка, нужно выбрать, во-первых, длину, а во-вторых, – «чрево» лодки, то есть место, откуда следует выдолбить всё лишнее из колоды. Выбрав положение колоды, её закрепляют по концам к «стапелям» с помощью скоб (потом эти концы отрезаются) и начинается процесс выдалбливания. Делается это с помощью специального топора в виде односторонней кирки, полотно которой выгнуто полуконусом наружу. Широкая нижняя часть полуконуса – лезвие, очень острое. Делались такие топоры-кирки в кузнях ещё Пропойска по заказу и к тому же очень давно, но хранились в семьях кремянковских «корабелов» из поколения в поколение, потому как инструмент сей весьма редок, и к тому же сделан из добротной стали.

 Самое главное в процессе выдалбливания – это сохранить пропорции по толщине бортов, днища, носа и кормы. Пропорции эти устанавливались мастером в зависимости от толщины колоды, качества древесины и еще чего-то, что чувствовал только мастер, но выразить словами не мог. Знаю только, что толщина верхнего обреза борта в любом случае была равна одному дюйму. Слово «дюйм» звучало магически и не подлежало уточнению. Хочешь знать, сколько это будет – иди и посмотри на готовые лодки, веерами стоящие на приколах в заводях по берегу Сожа.

 Когда колода выдалбливалась по всей длине лодки, наружной обработкой ей придавали форму индейской пироги. Оформляли киль, нос и корму, обрезали ставшие ненужными концы и приступали к доводке необходимых размеров по толщине бортов и днища. Разумеется, всё время обработки колода поливалась водой, а оставляя колоду на ночь или на любое другое время, корыто колоды заполнялось водой.

 Наконец, наступал самый ответственный этап в технологическом процессе постройки лодки – выгибание бортов.

 Это сложный процесс. Разводится костёр в выкопанной неглубокой канаве в песке по всей длине и ширине «пироги». Костер горит до тех пор, пока канава не заполнится углями до краёв. Корма и нос «пироги» охватываются хомутами – это чтоб не растреснулись в процессе распарки. «Пирогу» укладывают на лаги по торцам канавы чревом к углям. Тут важно, чтобы углей было достаточно, и они равномерно нагревали «пирогу» по всей длине. По мере нагревания древесины днище и борта обкладывают мокрыми мешками или поливают водой. Древесина становится мягкой и податливой. «Пирогу» переворачивают и вставляют специально заготовленные распорки-шпангоуты, борта раздаются вширь – теперь уже лодка напоминает каноэ. Снова переворачивают над углями, опять нагревают, затем переворачивают чревом вверх, вставляют новые распорки по всей длине лодки, снова нагревают. И так несколько раз, пока лодка не приобретёт нужную форму.

 Я наблюдал этот процесс, и должен сказать, что это какое-то волшебство происходит на твоих глазах: только что было перед тобой выдолбленное бревно и на тебе – лодка!

 Дальнейшее уже не так интересно: длительная сушка на воздухе в тени; доводка толщины с помощью различных рубанков, каждый из которых имеет своё название; придание лодке ходовых качеств, в числе которых шлифовка наружной поверхности бортов и днища – лодка должна хорошо скользить по воде. По окончании сушки «до звона» снимались дуги-распорки, древесина просмаливалась, снова сушилась, еще раз смолилась и затем уже покрывалась битумом, если таковой имелся. Крепились сиденья – банки – одна на корме и две на равном удалении от носа и кормы и между собой.

 Лодка спускалась на воду. Два человека легко и непринуждённо выносили её на берег – и быстрого тебе плавания, долбанка!

 Вы не поверите, но такая лодка длиной четыре метра, шириной один метр с небольшим в самом широком месте, и высотой от нижней точки киля до борта около сорока пяти сантиметров, поднимала шестерых человек! Правда, борта при этом выступали из воды на три-четыре сантиметра в середине лодки, но кремянцы на это не обращали внимания: главное – держать равновесие, как на велосипеде. Во время сенокоса на таких лодках переправлялись на другую сторону Сожа. На корме сидел перевозчик с веслом, в лодку входили и становились (!) пять человек с косами или граблями и вот так, стоя, плыли на противоположный берег. Без проблем.

 Впрочем, без проблем плавали на таких лодках по большой весенней воде и в Пропойск-Славгород. Но при этом в лодку садились не более трех человек. Лодки были лёгкие, быстрые и в три весла развивали приличную скорость. Особенно вниз по течению.

 В первую же весну учёбы в восьмом классе Славгородской школы, будучи на постое у своей двоюродной бабушки, я накануне Пасхи, точнее, в Страстную пятницу, соскучившись по дому, пошёл после занятий в школе на берег Сожа. И надо же, так повезло: от Славгородской пристани отходил буксир с баржей, к корме которой уже успели наши ушлые кремянцы привязать с помощью верёвок, поданных шкипером с баржи, две свои лодки.

 Лодки, правда, были «дощанками», то есть сделанные из досок, а значит, приличные по размерам и грузоподъёмности. Заметив меня, хлопцы замахали руками, приглашая сесть в одну из лодок. Я незамедлительно воспользовался приглашением. Тут же буксир отчалил от пристани, вышел на стрежень, верёвки натянулись и наши лодки, пристроившись барже в кильватер, понеслись вверх против течения реки. После резкого поворота вправо, на восток, – а Сож, помните, я уже упоминал об этом, именно перед высоким берегом Пропойска резко поворачивает с востока на юг, – буксир набрал скорость, да такую, что нос нашей лодки задрался вверх, и корму начало заливать. Наши «мореплаватели» не растерялись, быстро перенесли груз – мешки с мукой – в нос лодки, туда же перебрались и трое из четырёх пассажиров лодки, лишь один остался на корме с веслом, рулевой. Так и плыли, изрядно опасаясь, что на каком-нибудь повороте нос захлестнёт волной и тогда... Даже вспоминать жутко. Но вот же доплыли! Перед самой Кремянкой скорость буксир снизил, мужики быстренько перетащили свои три или четыре мешка с мукой на середину лодки, потому что нос начал зарываться в буруны, отвязали верёвку, то же самое сделали и на второй лодке – и мы благополучно пристали к берегу.

 Надо было видеть удивление мамы, когда я неожиданно появился в доме! Мне тут же досталось за то, что я не предупредил бабушку, мамину тётю, что поплыву домой в деревню. Утешением было то, что я сказал об этом сестре, – а мы жили вместе с ней у бабушки, – что после школы пойду к пристани, может, кого увижу из наших.

 Назавтра, однако ж, надо было в школу.

 Я ни разу за всё время учебы в разных школах не пропустил занятий просто так, без уважительной причины. Уважительной причиной считалась только болезнь. Но так как я болел за всё время учебы в школе всего только один раз, то и на занятиях не был, может, неделю за все десять лет. Пропустить занятия, пусть даже и в субботу, накануне Пасхи, я не мог. Слишком незначительным был повод. Поэтому в половине восьмого утра в Великую субботу я уже был на берегу Сожа, где как всегда в это время в весеннее половодье было оживлённо – кремянцы отчаливали в Славгород: кто на работу, а кто по делам.

 Я напросился в лодку к двум молодым мужчинам, плававшим на работу в Славгород каждый день, туда и обратно, пока стояла вешняя вода. Оба добрых молодца отслужили на флоте, теперь вот устроились на работу в Славгород, а попутно строились, так как планировали жениться и жить в Кремянке. Плавали ребята, естественно, на «каноэ-двойке», то есть на лодке-долбанке, о которой я уже много тут наговорил. В два весла эти отставные балтийские моряки достигали Славгорода менее чем за полчаса. На обратный путь времени уходило больше. Вот с ними-то, устроившись на корме их каноэ, я и поплыл. Василий с Алексеем – именно так звали гребцов – рванули «как на пятьсот», по-олимпийски. Вниз-то по течению и выходило, что по-олимпийски.

 Скоро мы очутились в безбрежном море, если не крутиться и не оглядываться назад, лишь только торчащие из воды верхушки самых высоких кустов обозначали скрытые водой берега реки. Всё шло, то есть плыло хорошо, моряки слаженно работали вёслами, как это делают гребцы на каноэ-двойке, разве что наши гребцы не припадали на одно колено, как настоящие спортсмены. Уже совсем был виден пропойщанский берег, наше каноэ стремительно резало волну. Впрочем, было тихо, встречных волн никаких не было, а вот наша лодка волну за собой оставляла.

 Вдруг наше судно резко задрало нос, лодка мгновенно наполнилась водой и встала чуть ли не «на-попа», как легендарный «Титаник» перед тем, как погрузиться в пучины Атлантики. Мы скатываемся в лёгкую весеннюю воду, – это осенью вода свинцовая и, естественно, тяжёлая, а весной она совершенно другая, лёгкая и не такая холодная при одинаковой с осенней температуре – ошарашенные. Морякам хоть бы хны, они почему-то начинают смеяться, можно даже сказать, ржать, а у меня то ли с испугу, то ли от холода перехватило дыхание, и из меня вместо смеха вырывалось нечто вот такое: ы!-ы!-ы! То есть мне совершенно не хотелось смеяться! Тем не менее, я сразу же ухватился за плавающую рядом со мной кошёлку, в которой была сумка с книгами и тетрадями, – рукописи не тонут! – но не как утопающий за соломинку: кошёлку уносило течением, надо было спасать её содержимое, пока оно не размокло окончательно. Пока я барахтался с кошёлкой, балтийские матросы челночными движениями лодки взад-вперед сумели выплеснуть из неё почти всю воду, борта лодки значительно поднялись над водой. За борта можно было держаться, что и приказали мне сделать доблестные матросы, а сами, подталкивая одной рукой лодку, а второй загребая, направили каноэ к торчавшему неподалеку из воды небольшому холму, напоминавшему одну из вершин Эльбруса. Меня они всячески подбадривали, в том числе и наставлениями: «работай ногами, ногами работай!». Я работал ногами, но одной рукой поддерживал кошёлку так, чтобы книгам и тетрадкам было не так мокро, как мне. Скоро один из моряков закричал:

 «Земля!» – так, как если бы мы потерпели крушение в Северном Ледовитом океане где-нибудь в районе Маточкина Шара. Оказалось, что он достал ногой дна, хоть до одноглавого Эльбруса было еще далеко. Оба моряка уже шагали по грудь в воде, но мне ещё было далеко до дна. Василий подхватил кошёлку, как знамя, из моей ослабевшей руки, скоро уже и я ощутил твердь земную и мы задвигались быстрее. Вода становилась теплее, или мне так казалось, но брели мы по ней, таща за собой полузатопленную лодку, как бродят по лагуне где-нибудь в районе Большого Кораллового рифа полинезийцы. Да, я забыл совсем про вёсла. Если я ловил свою кошёлку в момент катастрофы нашего как бы «Титаника», то моряки так и не выпустили вёсла из рук и каким-то неведомым мне образом вёсла оказались в лодке, которую они так ловко спасли. Вот что значит – морские волки!

 А, вот ещё. Кошёлку мать дала мне для хлеба, который я должен был купить в Славгороде, а весной пятьдесят четвёртого уже можно было с утра купить того самого хлеба – и белого, и чёрного, – что выпекал наш кремянковский Василий, о котором я уже упоминал. К хлебу, напомню, относились очень уважительно, и, как правило, носили его в кошёлках – не мнётся. Кошёлки плела вполне профессионально семья старинковских «корзиночников».

 Предметом их ремесла были легкие, мастерски сплетённые из местной ошкуренной и расщеплённой надвое лозы, самых разнообразных форм и размеров корзинки с ручками-дужками, но больше всего – кошёлки, как пользовавшиеся наибольшим спросом, и самые удобные по форме при переноске поклажи. Сам корзиночных дел мастер погиб на фронте, и его дело продолжила жена и дети. Под заказ они могли сплести вам что угодно. Сама «Корзиничниха» – так называли тётку, между прочим, дальнюю нашу родственницу по линии отца – плела более сложные изделия, а её двое сыновей занимались заготовкой, обработкой и покраской лозы – подмастерья. Покраской – я сказал не случайно. В стенки кошёлки или корзинки вплетались одна-две полоски ярких фиолетового, синего или розового цветов, что подчёркивало природную белизну лозы. А из подмастерьев потом получились мастера этого уже сошедшего на нет в глубинке дела. Кошёлками они снабжали все окрестные деревни, а также носили их на ярмарки в Краснополье и Славгороде. Занятно было смотреть на самодвижущуюся белую, с вкраплениями разноцветных полосок, массу, за которой скрывалась «корзиничниха». Пока она добиралась до того же Славгорода, половину её кошёлок раскупали по дороге. Пройти мимо них равнодушно было невозможно. Из-за такой кошёлки вполне можно было утопиться.

 Наконец, мы вышли к подножью вершины спасительного Эльбруса и ступили на землю. Причалив к берегу свой «Титаник», мы сразу же разделись догола и начали плясать, как дикари перед тем, как съесть Пятницу, естественно, оглашая дикими воплями пустынные берега острова. Согревшись, выкрутили одежду, выжали бельишко – трусы да майки – и окончательно вытащили на берег лодку, вылили остатки воды и осмотрели днище на предмет наличия пробоины от айсберга – ну, а что ещё могло опрокинуть наш «Титаник»?

 Пробоины мы не нашли, но ровно по килю от носа до середины корабля прошлась царапина – это было видно по содранной смоле. Мы начали думать, что могло оставить такой след на днище лодки. Или – кто? Слава Богу, про Лох-Несское чудовище мы тогда еще не слышали – ещё не сильно приподняли политики железный занавес, и слухи об этом капиталистическом чудище еще не леденили наши души. Чем-то другим объяснить причину катастрофы было невозможно.

 Но анализировали катастрофу не какие-нибудь лесные люди, а кремянцы, да ещё только что, полгода назад, вернувшиеся со службы на Краснознамённом... нет, дважды! да, дважды Краснознамённом Балтийском флоте. На них сейчас не было бескозырок, только обычные кепки, как и на мне, и кроме этих кепок ничего не было, – одежда наша лежала на склоне вершины Эльбруса, подсыхая на уже горячем апрельском солнышке, – но рассуждали они очень даже по-морскому. Вдруг то ли Алексей, то ли Василий рявкнул: «Ё моё!». Нет, конечно, он заорал вовсе не «ё моё» – это должно быть и ёжику понятно. Просто Лёшка – да, это был он – догадался, на что напоролся наш «Титаник».

 Река-то была судоходная! На ней существовал порядок обозначения фарватера, принятый со времён появления судоходства по рекам.

 У высоких берегов реки глубина – наибольшая. В таких местах через определённые промежутки устанавливаются полосатые столбы-бакены, высотой не ниже четырёх-пяти метров, с небольшими щитами наверху, окрашенными белой краской. В столбы врезались поперечины для влезания наверх к щитам, на которые, по идее, должны были вешаться на ночь фонари. На пологих же берегах бывают, как правило, отмели. На отмелях ставятся вешки или куги. Куга – это обработанный и окрашенный красной масляной краской отрезок сосновой жерди, к одному концу которого привязывался проволокой тяжёлый груз, и эта конструкция опускалась на определённую глубину отмели. Второй конец куги всплывал и краснел над водой, в торец его вставлялась метёлка из веток, что под рукой, – так заметнее куга над водой. Перед ледоставом куги изымались из воды, а столбы, естественно, оставались на своих местах, как бессменные часовые. И столбы-бакены, и куги обслуживались бакенщиками, в числе которых был и кремянковский представитель Роман, точнее, Ромка, как его называли в деревне, потому что был еще один Роман, которого называли Рэмка, чтоб не путаться, тем более, что и жили они недалеко друг от друга. По фамилиям у нас, Боже упаси, никого не называли. Так вот Ромка и был отцом Лёшки, а потому он и догадался, на что же напоролся наш «Титаник». Напоролся он, стало быть, на столб-бакен, который полностью скрылся под водой в тот высокий паводок.

 Вы спросите: а как же тогда вчерашний буксир не напоролся на этот столб, его же не видел капитан буксира?

 В том-то и дело, что видел. Вчера столб был виден, а сегодня – нет. Более того, когда начинает подниматься вода выше критической отметки, к верхушкам столбов привязывают бакенщики полосатые вешки – верхушка столба хорошо видна. Как правило, столбы не покрываются водой полностью, но бывает, что в самый пик разлива вдруг с верховьев Сожа хлынет новый вал воды от запоздало – по сравнению с нашими местами – растаявших от резкого потепления снегов. Вот тогда под водой скрывается всё, и вода подтапливает даже бани, стоящие на благоразумно удалённом расстоянии от реки. Почему не оказалось на столбе полосатой вешки – вопрос к пропойщанскому бакенщику, – это был его участок реки. Может, она и была, да сплыла, – кто ж его, бакенщика, знает.

 Одевшись в ещё чуть влажную одежду, мы снова оказались втроём в лодке, не считая кошёлки. Конечно, поплыли в Славгород. Мои спутники ведь работали на строительстве важного объекта народного хозяйства БССР – Славгородского овощесушильного завода, и им прогул был не нужен. Опоздание-то было. Но и оправдание – налицо. То есть на теле.

 Я же вприпрыжку, огородами, помчался к дому своей двоюродной бабушки, хотя первоначальной мыслью была школа, но моряки мне строго-настрого велели мчаться во весь дух на печку к бабушке. Она меня отогрела, обсушила, напоила липовым чаем с мёдом, я оказался совершенно не простуженным и уже в два часа дня с кошёлкой хлеба поджидал на берегу Сожа у пристани, где и вчера, сестру, которая прямо из школы должна была прийти на пристань.

 Мы приплыли, на этот раз без приключений, в Кремянку и вскоре включились в радостные хлопоты по подготовке к такому желанному празднику, как Пасха.

 Родным я долго не рассказывал о водном происшествии. Но, видимо, морячки всё же в своем кругу посмеялись над таким курьёзом в их постморской биографии, и происшествие получило огласку. Родители мои были удивлены этим известием, но не более. И не такое бывает.

 Вообще же водная стихия обходилась с кремянцами более чем благосклонно при их довольно бесшабашном отношении к ней. На моей памяти было лишь два случая, когда вода забирала в свои глубины кремянковских жителей. Третий случай знаю по рассказам из довоенной жизни.

 В двух случаях: довоенном и в семидесятых годах того же, двадцатого века, причиной гибели наших кремянцев было резкое ухудшение погоды. В апреле это бывает довольно часто: внезапно поднимавшийся ветер, следовательно, волны, которым ничего не стоило залить водой лодку-долбанку с тремя человеками на борту. До войны по такому сценарию и на такой вот лодке утонули мужчина с женой и сестрой, а в семидесятых – дедушка с двумя внучками, которых он вёз из Славгородской школы домой в субботний день. И, наконец, года через три после войны, уже зимой, в пургу, рано утром, идя на работу в Славгород, сбились с дороги, и вышли на полынью в очень плохом месте реки трое молодых людей. Река в этом месте делала резкий поворот под прямым углом, била в высокий берег, из-за чего возникал мощный водоворот, который, если и замерзал зимой, то слегка – лёд не выдерживал человека.

 А тут – трое. Молодой человек, бывший фронтовик из Славгорода, был обручён с нашей девушкой, работавшей, кажется, в райисполкоме. С ними шла и сестра жениха, потому что только накануне сыграли обручение или, как у нас говорили, заручины. Никто не знает, как они оказались на том роковом льду, но вот же наша Анюта утонула, а брат с сестрой, не будучи «кремянцами», всё-таки выбрались из водоворота. Про этот случай много и долго говорили всякого, но история сия покрыта мраком. Невероятным в этом деле, на мой взгляд, является то, что попасть на лёд водоворота можно было, только свалившись с высокого обрыва, в который и бьётся река на повороте, а не заметить этого обрыва пусть даже и в предрассветной зимней мгле, да ещё обозначенного столбом-бакеном, вряд ли было возможно.

 Впрочем, всё я это к тому, что вон сколько опасностей было связано с рекой Сож, которую кремянцы и любили, и проклинали, но жизни своей не представляли без неё.

 После первомайских праздников, как правило, возобновлялся пеший путь из Кремянки в Славгород. Правда, в первые дни приходилось очень часто «форсировать» водные преграды, сняв обувь и закатав штанины брюк выше колена, а то и вовсе в трусах. Обувь снимали сразу же, как только переправлялись через реку со стороны Славгорода. Пройтись босиком по юной луговой траве и тёплым лужам среди кряканья, кваканья, уханья, посвиста, треньканья и самых разных других звуков, выразить словами которые просто невозможно, доставляло непередаваемое удовольствие, привычное, однако, для наших ног, глаз, ушей, да и вообще – от ощущения своей неотъемлемости от этого радостного весеннего мира.

 Самое же большое удовольствие ходить по луговой тропинке – это, конечно же, в конце мая! Вода в реке уже находилась вполне в берегах, большинство струг исчезло – вода утекла в реку, и высохли канавки и колдобины, а разнотравье выровняло все неровности на лугу, застелив его изумрудным ковром, лишь отдельные возвышения, небольшие курганчики, раньше освободившиеся от воды, уже пестрели разноцветным ситчиком, как и комсомолки, спешившие по тропинке мимо пёстрых клумб-макушек в эти последние майские деньки в школу и на работу.

 На тропинках на наших заливных лугах я просто не могу не остановиться.

 То есть я всегда останавливался в такое цветущее время – это продолжалось чуть больше месяца – где-нибудь в очень уж понравившемся месте, с которого открывалась такая картина, что ни один живописец не устоял бы, чтобы не запечатлеть её хотя бы в этюде, а уж потом обязательно перевел бы этюд на картину. Хорошо всё-таки, что всё это богатство находилось в стороне от больших дорог, иначе художники со всего света съезжались бы сюда на этюды и вытоптали бы весь луг. Сами же тропинки, а их от Кремянки до Славгорода было две, параллельные одна другой, – это чтоб вдвоём рядом идти – проходили по кратчайшему расстоянию, были ровненькие, будто покрытые высококачественным асфальтом, но это был никакой не асфальт, а высохший, утоптанный ил, по которому было чрезвычайно приятно и полезно идти босиком. Трава вдоль троп стояла нетронутой, зря в неё не ступала нога человека, и от этого луг казался первозданным. Когда же к концу мая распускался луг мириадами цветов и наполнялся гулом, пчёл, шмелей и звоном прочих нектарососущих насекомых в дополнение к не прекращавшимся ни днём, ни ночью пению и страстным крикам птиц всех отрядов и видов, вы и сами готовы вместе с этими тварями запеть, заорать, засвистеть или, на худой конец, просто опуститься в изнеможении на травку между тропками и простонать: «Господи, как же хорошо...».

 Так, а что же школа? Славгородская белорусская средняя школа № 1 – это серьёзно.

 Намного серьёзнее Старинковской семилетки.

 Школа № 1 потому, что она ведёт свою историю от первой и единственной такого рода школы еще в Пропойске. То есть в 19 веке это была светская школа, хотя Закон Божий в ней преподавали. До гимназии по статусу не дотянула, но преподавание в ней традиционно было на высоте. Это уж как поведется: хоть с человеком, хоть со школой. Конечно, контингент учащихся тоже имел значение и до революции, и после неё.

 Не понятно только, почему в официальном названии школы присутствовало определение «белорусская». А какая же еще, если Славгородский район составлял часть, хоть и не суверенной, но всё ж таки Белорусской Советской Социалистической республики? Ладно бы, польская, оставшаяся со времён Речи Посполитой. Поляков в Пропойске-Славгороде, правда, было несколько семей.

 Напомню ещё раз, что обучение в восьмом–десятом классах до 1955 года было платным, поэтому продолжали учебу после обязательного семилетнего образования либо те, кто очень хотел учиться дальше, либо те из немногих, кто мог не обременять семью платой за учебу. Поэтому в обеих школах Славгорода процент выпускников, поступавших в высшие и средние специальные учебные заведения, был довольно высок для провинциальной школы. В первую очередь – благодаря учителям. Многие из них были потомственными педагогами-профессионалами, и именно они определяли педагогическую атмосферу в школе. К тому же и молодые, начинающие учителя воспитывались в университетах (впрочем, в Белоруссии тогда был только один университет) или в педагогических институтах еще теми профессорами и преподавателями, а попав после окончания учёбы в среду еще тех учителей, они скоро становились настоящими учителями.

 Конечно, важно было, кто управлял школой, то есть директор и заведующий учебной частью, завуч. Очень важно было и то, что среди учителей было много мужчин.

 Как и в младших классах, включая семилетку, отношение к учителям в средней школе было такое же, обожествляющее. Авторитет их был безукоризненным, как для учеников, так и для их родителей. Причем, независимо от социального положения последних. Никакой начальник районного масштаба не делал и попытки как-то повлиять на учителя, если начальничье чадо нахватало «троек» или даже «двоек».

Само собой разумеется, дисциплина в школе была очень высокой. Фильм Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника», конечно, очень реалистичен. Но он реалистичен для московской школы конца шестидесятых годов, спустя двенадцать лет после окончания мною школы. Представить такую учёбу в провинциальной школе середины пятидесятых просто невозможно! А уж то, что выделывают школьники в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна», поставленного двадцать лет спустя после того самого «понедельника», и в страшном сне не могло присниться ни нашим учителям, ни нам, школьникам.

 Директором школы № 1 был Минченко Роман Семёнович, фигура значительная, не только районным масштабом в сфере просвещения, но даже и международным, так как участвовал в становлении просвещения в Китайской Народной республике. В чем состояла его роль в просвещении Китая, Роман Семёнович как-то не очень подробно рассказывал, зато как живут китайцы, как разговаривают, как пишут иероглифами, он нам рассказывал даже по-китайски и рисовал иероглифы. Преподавал он экономическую географию, предмет свой знал великолепно, и нам перепадало от его знаний изрядно. В том смысле, что очень трудно было получить двойку по этому предмету, так интересно он излагал его.

 Во второй половине 1954 года Романа Семёновича назначили заведовать районным отделом народного образования. Школа лишилась отличного учителя и директора, но район, конечно, выиграл в деле просвещения народных масс. Да и школа с нового учебного года пополнилась очень хорошими учителями, конечно, не без участия в их выборе и назначении Романа Семёновича.

 Школу с нового учебного года возглавил новый директор Махныткин Михаил Евдокимович. Он преподавал здесь математику, а его жена Зинаида Ивановна – белорусский язык и литературу. Оба были учителями со стажем и больше года уже преподавали в школе № 1. Видно, зарекомендовали себя где-то неплохо, раз их пригласил Роман Семёнович в свою школу.

 В том же учебном году появились в школе учитель русского языка и литературы – выпускник Белгосуниверситета Кацнельсон Наум Львович, учительница химии Кулик Елена Федоровна, работавшая ранее в одной из могилёвских школ..

 Годом раньше в школу пришли преподаватели физики и математики – выпускники Гомельского пединститута супруги Беловы: Владимир Алексеевич и Клавдия Игнатьевна.

 Это был очень сильный контингент учителей. Пожалуй, самый сильный за всё послевоенное время в Славгороде, и благодаря которому долгое время поддерживался высокий уровень преподавания в средней школе № 1. Каждый из этих людей достоин самых хороших слов, это были настоящие учителя, которых мы и побаивались, и уважали (не зря же говорят: боится – значит, уважает) так, как побаивались и уважали своих родителей. Только надо правильно понимать слово «побаивались». Бояться, как и любить, можно по-разному.

 Есть слепая любовь, есть, стало быть, и слепая боязнь. Между родителями и детьми должна быть какая-то дистанция. Прежде всего, дистанция в любви. Нельзя выказывать своему ребёнку, уже не младенцу, свою безумную любовь. Да, ребёнок должен чувствовать её, но не видеть её ежечасно и ежеминутно. Любовь – это, прежде всего, чувство. Ответное чувство любви у ребёнка к родителям возникнет обязательно, если он чувствует их любовь к нему и, естественно, к окружающему миру, – без этого любовь будет эгоистична. Должно существовать и некое табу во взаимоотношениях ребёнка и родителей, оно в принципе определяется само по себе, если правильно родителям вести себя, – это недопустимость проявления своей слабости хоть в чём-то перед ребёнком. Понятно, что более сильного побаиваются на чисто подсознательном уровне. И эта подсознательная боязнь более сильного, но любящего человека, порождает у ребёнка уважение к родителю. Вот поддержка этого подсознательного в ребёнке, баланс в родительской любви сознательного и подсознательного и есть правильное воспитание. Ребёнок пошел в школу, – теперь он едва ли не большую часть времени проводит со взрослыми людьми, заменяющих ему на школьное время родителей. Он переносит свои чувства на учителей. Поэтому очень важно, чтобы в учительском коллективе были и мужчины, и женщины. Конечно, очень трудно в настоящее время воспитывать детей так, как воспитывали сто или шестьдесят лет назад. Тогда детей в семьях было много, на всех «безумной» любви не хватало, поэтому и легче было растить детей хорошими людьми.

 Вот впервые приходит молодой учитель в класс. Ему всего-навсего двадцать один год. Ученикам – по шестнадцати, а то и по семнадцати лет. Вполне оформившиеся девушки определяют лицо класса. Именно они оценят такого молодого учителя, и то, как это произойдёт, определит его дальнейшую судьбу как педагога.

 Невысокий, щупленький, с тонкими чертами лица, но с модной тогда прической «а ля-Горький» очкарик, но в дорогом бостоновом костюме (а с лавсаном тогда еще их не было), в белой рубашке и при галстуке, кажется, только в этом году сам вылез из-за школьной парты.

 Какой он учитель?!

 Но он официален, как дипломат на приеме в Букингемском дворце. Это само по себе вызывает уважение. И в классе – благоговейная тишина, не хватает только Елизаветы Второй. Учитель представляется: «Меня зовут Наум Львович, фамилия моя – Кацнельсон, сейчас мы с вами познакомимся». Открывает журнал, называет одну за другой фамилии учеников, и ни разу (!!!) не ошибся! Расхожая сцена, вошедшая даже в классику кино: учитель, войдя впервые в класс, начинает впервые (!) читать фамилии учеников и обязательно в нескольких из них делает ошибки: неправильное ударение либо пропуск, или искажение буквы в фамилии.

 Всё!

 Репутация такого учителя может восстановиться ценой исключительных его способностей или усилий к их выявлению. А если искажённая им фамилия прилипнет к её обладателю ещё и кличкой – горе тому учителю.

 Наш же Наум Львович поразил нас не столько правильностью произношения наших фамилий, сколько тем, что вслед за ними называл имена и – о, великие менторы всех времён и народов! – наши отчества.

 В журнале отчеств наших не было!

 Причем, это выглядело так:

 – Аношко, – это первая фамилия в классном журнале 9«Б» класса Славгородской белорусской средней школы № 1 в сентябре 1954 года. Поднимается Аня. Пауза. Наум Львович поднимает свои огромные роговые очки на неё и полувопросительно-полуутвердительно, – Анна Ивановна?!

 Анна Иоанновна мгновенно ощущает себя, считай, российской императрицей и вспыхивает яркой кровью с молоком.

 - Садитесь, пожалуйста.

 И далее – в таком же духе.

 Девушкам явно нравится.

 Парни обескуражены.

 В классе – чёрт знает, что за атмосфера!

 Чувство огромного удовлетворения, сравнимое разве что с уровнем чувств одного из Генеральных секретарей ЦК КПСС, посещает нас раз и навсегда, и мы даже не замечаем, что Наум Львович плохо произносит букву «л» в некоторых словах – она у него больше звучала как «в». Уже позже, когда, однажды разозлившись на нас за плохо усвоенный урок, он в сердцах воскликнул: «Это не квас, а товпа людей!» – мы, парни, тихонько прозвали его «квасом».

 Девушкам это не нравилось.

 Но зато мы его очень уважали.

 И боялись.

 Боялись обидеть, если он вдруг услышит, что мы зовем его «квасом», боялись не выучить уроки и разозлить его, боялись шуметь на уроках, лишь, когда проводился диспут, но это был рабочий шум. Все два года, которые он учил нас русскому языку, он называл нас хоть и не по имени-отчеству, но непременно на “Вы”. Учил он языку, но больше – литературе, потому что, только читая, много и хорошо читая, и слушая хорошего учителя, ты научишься правильному языку.

 Другой молодой учитель – Белов Владимир Алексеевич.

 Жизнерадостный, спортивный, голубоглазый и с густой волнообразной пшеничной шевелюрой – Сергей Есенин отдыхает – красавец, он сразу покорил сердца всех девушек старших классов. У него было всё в порядке с буквой «л» и с другими буквами тоже; он не церемонился: вообразить его на приёме не то что в Букингемском дворце, но даже в хижине короля Тонго было трудно. Называл он нас на «ты» и по фамилиям – это на уроках. А вот в кружке физики – он тут же организовал кабинет физики и кружок физики – называл нас по именам, потому что в физкружок ходили одни парни, что вполне понятно.

 Владимир Алексеевич не носил галстуков, – ну, разве что если бы его пригласили на вручение ордена в Президиум Верховного Совета, – всё больше в тенниске или в пиджаке с рубашкой, воротник которой накладывался на ворот пиджака.

 Физику он любил и знал, и очень хотел, чтобы мы её не только знали, но и любили. Он как-то сразу выделил нескольких учеников, парней, способных к физике, уделял им больше внимания тем, что при ответах на уроках задавал им больше вопросов, хотя ставил им оценки такие же, как и тем, кто вполне хорошо отвечал в пределах заданного на урок. То есть в течение четверти у его избранных могли быть и пятёрки, и четвёрки, но за четверть была всегда пятёрка. Девочек он тоже не обижал, ставил им оценки, которые они заслуживали, но не пытал их. Парней – да, случалось, и пытал. Но если в результате его пыток у парня прояснялось сознание, как в камере у Штирлица, был рад не меньше Мюллера. Владимиру Алексеевичу важно было, чтобы мы думали, чтобы мысль работала, потому как физика – это в основном работа. А кому работать, как не мужикам. Без физики, какие вы мужчины, – говорил он. Когда он узнал, что я уже мастерил детекторные радиоприемники, тут же в физкружке появились провода, конденсаторы, самые настоящие детекторы, – не самодельные из свинцового блеска! – много чего другого, что понанесли славгородские ребята из раскуроченной немецкой военной радиостанции, валявшейся на чердаке у кого-то.

 Вот уж где мы оттягивались!

 Нам не нужна была манна небесная, мы алкали физкружка!

 И это несмотря на то, что мне, например, после кружка надо было еще топать четыре километра по не самой лучшей осенней луговой тропе.

 Зато мы собирали всевозможные макеты – наглядные пособия на уроках физики, особенно раздела «Электричество», – что вызывало повышенную усвояемость этой сложной для восприятия темы людьми, не привыкшими к такой жизненно необходимой роскоши, как электричество.

 И не только электричества.

 Вот, например, найдите вы сегодня школьника, озабоченного поиском какой-нибудь пустячной радиодетали, например, резистора на 120 или конденсатора на 1200. Или медного эмалированного провода 0,05. «Эт, вряд ли!», как говорил товарищ Сухов.

 Да, вряд ли кто из современных школьников объяснит вам, что означают числа 120, 1200, тем более, 0,05 применительно к радиодеталям.

 Ну, нет – так нет.

 А теперь представьте, что вы, найдя с большим трудом и целеустремлённостью все необходимые детали, в своём физкружке под руководством такого же заводного учителя собрали макет пусть и простейшего, – но работающего! – детекторного радиоприемника. Этот макет должен наглядно продемонстрировать всё, что только что рассказал классу на уроке Владимир Алексеевич о великом русском учёном Попове и его изобретении. Макет собран на большом листе картона, на нём четко вычерчена схема приёмника, которую повторяют хорошо видимые детали и соединения проводов.

 Сначала демонстрируется приём электрической искры от периодически включаемого и выключаемого ассистентом – не из числа «конструкторов», для чистоты эксперимента! – на лампочку аккумулятора, стоящего в противоположном конце класса, при этом возникает на клемме рубильника искра, – аналог грозового разряда, улавливаемого «когерером» Попова.

 В мёртвой тишине класса отчётливо доносится из головных телефонов – наушников – треск!

 Убедив всех в том, что схема приёма «грозовых разрядов» работает, невозмутимые «конструкторы» настраивают приёмник, попутно объясняя потрясённым слушателям, какие процессы происходят в этом шедевре конструкторской мысли при настройке на волну радиостанции и...

 ... И наушники взрываются залихватским перезвоном цимбал оркестра народных инструментов под руководством Рыгора Шырмы! Блестящие глаза женской половины класса брызжут любовью к невозмутимым «конструкторам». Они же – величественны и горды, как Байкальские столбы, до вершин которых никогда не добраться брызгам байкальских вод. У сидящей за партами мужской половины сквозь жгучий интерес в глазах, на лицах явственно читается огорчённое: подумаешь, я бы и не такое смог...

 Владимир Алексеевич, греческим богом пристроившись в углу возле дверей, словно в мраморной нише Акрополя, напротив, лицом выражает суетность мира сего, но голубизна его глаз достигает педагогического максимума.

 Такое разве забудешь?

 Тем более, когда радиоприёмник был крайней редкостью, некоторые из учеников его и в глаза не видели!

 И глазам Учителя было отчего сиять.

 Не знаю, как моим одноклассникам, но когда я сдавал вступительные экзамены в институт – а я сдавал их два раза в один и тот же институт, о чём ещё расскажу, – мне оба раза везло на экзаменаторов и оба раза я легко получал пятёрки.

 Беловские, стало быть.

 Учительницу химии Елену Фёдоровну Кулик мы полюбили сразу и бесповоротно.

 Химия была её жизнью, её страстью.

 В ней жили все элементы Таблицы Менделеева.

 Была она невысокого роста, полненькая, но яркая, похожая этим на Надежду Бабкину девяностых годов. У неё были чёрные, как углерод, гладко зачесанные в пучок назад волосы; карие, как раствор йода, глаза, излучавшие брызги, как брошенный в воду кусочек натрия; губы цвета яркого раствора марганцовокислого калия, и, когда смеялась, сверкала перламутровым кальцием зубов.

 Но больше всего в ней было элемента под номером 80 в Периодической Системе элементов Д.И. Менделеева.

 Она была живая и подвижная, как ртуть.

 Если физик Владимир Алексеевич ненавязчиво как-то, как само собой разумеющееся, доказал нам, что физика – это наша работа в прямом и переносном смысле, то химик Елена Фёдоровна немедленно, на первом же уроке, исполнила свою Первую Химическую симфонию, из которой следовало, что химия – это наше «Всё», без которого, как пить дать, нам не прожить.

 Выходило так, что всё, что в нас, на нас, вокруг нас, над нами и под нами – это порождение химии, и только приняв этот постулат за аксиому и усвоив его, мы можем быть спокойны за своё будущее и будущее своих потомков.

 Потрясающая симфония!

 Раньше нам такого про химию никто из учителей ни в восьмом, ни в седьмом классе не говорил. Я же испытал просто ужасное потрясение, потому что если за седьмой класс у меня была единственная четвёрка и как раз по химии, а в восьмом я вообще скатился до тройки, благодаря учительнице, которую возненавидел вместе с её химией: и та, и другая вызывали ассоциацию с химическим карандашом – сухие и въедливые, то сейчас мне засветила до конца моих ученических дней в этой школе «двойка».

 Как же я ошибся!

 Эхо химической симфонии носилось в стенах химического кабинета, который, так же, как и физик Белов, организовала Елена Фёдоровна, все два года, которые она учила нас химии. И уже в первой четверти для девятиклассников не было легче и любимей предмета, чем химия.

 Тут надо сказать, что школам шел навстречу районный отдел народного образования. Ведь организация предметных кабинетов в школе было шагом вперёд в повышении уровня образования школьников. Тем более что об этом заговорили в высших эшелонах партийно-государственной власти Советского Союза. Вот и «ковали железо» на местах. Конечно, школьные кабинеты оснащались оборудованием и приборами с большим трудом. Провинции доставалось в последнюю очередь. Но даже и то, что попадало в наши кабинеты, делало своё большое дело в постижении учащимися тайн физики или химии. Одно дело вызубрить «правило левой руки» или «правило буравчика» смутно представляя всё это по рисункам, и совсем другое – собрать самому схему, пусть и простейшую, и продемонстрировать себе и другим, как это работает. Точно так же и с химическими опытами: воображать реакцию, скажем, замещения и проделывать её в колбах или ретортах собственными руками – это «две большие разницы!».

 Так вот, в химический кружок записался почти весь класс. Девочки – точно все.

 Елена Фёдоровна была очень изобретательна по части «доставания» химреактивов, спирта для спиртовок, стеклянной химической посуды: колб, пробирок, реторт, трубок – всё это богатство сама привозила из Могилёва, где у неё были «связи».

 На стене химкабинета, над доской, стараниями Елены Фёдоровны, висела большая Таблица Периодической Системы Менделеева. Учительница постоянно напоминала нам, чтобы наши взоры почаще направлялись на Таблицу, чтобы запомнить ее «на всю жизнь». И, надо сказать, до сих пор я представляю места большинства химических элементов в Таблице. Во всяком случае, могу быстро найти названный мне химический элемент.

 О том, насколько хорошие знания мы получили по химии, благодаря Елене Фёдоровне, может служить тот факт, что многие наши выпускники поступали в учебные заведения, где профилирующим предметом и на вступительных экзаменах, и в процессе обучения, была химия.

 Также много хорошего можно рассказать о директоре школы Махныткине Михаиле Евдокимовиче и его жене Зинаиде Ивановне.

 Михаил Евдокимович выглядел очень солидным человеком. На него был похож известный бард Юрий Визбор. Михаил Евдокимович был выше среднего роста, полноват и, кажется, страдал одышкой. Может, у него был астматический компонент. Он был на самом деле добрый, хотя с виду и грозен. У него математика совсем не была сухой и скучной, но из-за директорского компонента в ней было как-то боязно на уроках. Особенно у доски.

 Другое дело – контрольные работы.

 Мне математика, признаюсь, не очень нравилась. Даже не знаю – почему. Нет, лучше сказать так: к математике я относился несколько прохладнее, чем, скажем, к физике или русской литературе. Если «Занимательная физика» Перельмана была моей книгой для чтения, так же, как и художественная литература, то «Занимательная математика» того же автора как-то не увлекала меня. Но вот на уроках Михаила Евдокимовича, когда он задавал всему классу задачу «на скорость», то есть кто решит первым – тому пятёрка, мне частенько удавалось вырваться вперёд. Также неплохо получались у меня и контрольные работы.

 Я думаю, что если бы в аттестат шли последние отметки по результату экзамена за десятый класс, то вполне возможно, что у меня была бы пятёрка и по математике. Но так как в восьмом классе я и по математике, и по химии за год получил тройки, то увидеть пятёрки в аттестате было практически не реально. Восьмой класс вообще был каким-то неудачным для меня. Наверно, оттого, что другая школа, другие учителя. Да и адаптироваться к новым условиям как-то не сразу получилось.

 Но всё равно, я благодарен Михаилу Евдокимовичу. Он считал, что я мог бы лучше учиться математике и, наверно, его задевало моё такое «неувлечение» его предметом.

 Хорошим учителем была и Зинаида Ивановна, жена директора. Её беларуская мова была безупречна. Она вполне могла выиграть конкурс дикторов на национальном телевидении, тем более что и внешностью её Бог и не подумал обидеть. И, конечно, подкупала её интеллигентность.

 Вообще-то, все наши учителя были очень интеллигентными людьми. Может, один-два из них, мужчины, между прочим, бывшие военные, и могли неуважительно как-то обозвать ученика.

 Впрочем, «о таких не поют».

 Годы учёбы в средней школе были, конечно, ярче, насыщеннее не только тем, что изучали мы в восьмых–девятых классах, но и тем, что становилось жить чуть лучше, веселей – без всякой иронии.

 Стало, как будто, легче дышать.

 В газетах перестали печатать портреты Сталина, и уже поэтому с газетами можно было обращаться проще по прочтении. Стало меньше страха перед официозом. Милиционер Миронов, старший лейтенант, не капитан, уже не так орал своим вечно осипшим то ли от крика, то ли от водки – а скорей всего, от того и другого – голосом на нарушителей порядка, который, по мнению стража этого самого порядка, нарушался гражданами везде, всегда и во всём. Это был типичный унтер Пришибеев, облечённый, однако, властью и пользовавшийся ею безгранично. Население Славгорода его боялось. Во всяком случае, на глаза ему лучше было не попадаться, вовремя свернуть за угол, по делу.

 Ну вот, например, идём мы, восьмиклассники, в школу по улице Славгорода. До школы остается метров двести. Откуда-то выныривает маленький, ежовского роста, старший лейтенант Миронов. На нем мундир, какие носили в начале пятидесятых советские полководцы и милиционеры: однобортный, без лацканов, наглухо застегнутый на шее стоячий воротник, на широкой левой поле два ряда пуговиц от погон и до самого некуда, сзади разрез и тоже зачем-то с пуговицами – всё это перепоясано широким ремнем и портупеями. На ремне – здоровенная кобура с наганом, а через плечо – армейская сумка-планшетка. Это ж слава Богу, что тогда еще не додумались нагрузить милицию дубинками, наручниками, радиостанцией, баллончиком с газом в дополнение к такому мундиру – то-то была бы потеха! Для полководцев такой мундир был хорош тем, что на нем можно было довольно легко разместить все их многочисленные награды. Милиционерам же он значительно осложнял несение их без того и опасной, и трудной службы. К мундиру полагались галифе и сапоги.

 Вот в таком облачении мини-монстр Миронов выныривает вдруг перед нами и сипло орёт: «Как идёте!? Вы куда идёте!? В школе уже звонок прозвенел, а они, как гуси, вперевалочку!!!».

 Торнадо поднимает нас вверх и опускает у дверей школы.

 Но уже в следующем, пятьдесят четвертом, году мы не боимся старшего лейтенанта Миронова, так и не ставшего капитаном. Он уже не сипит на людей, хотя ему очень трудно. И на улицах маленького города уже слышен смех и видно нормальное, не испуганное передвижение людей. Кое-где стоят группки молодёжи; перед кинотеатром «Родина» даже толчея.

 В школах проводятся вечера вопросов и ответов. Так зарождается новая форма массового, коллективного общения людей, не связанного официозом торжественных собраний. Самыми жгучими вопросами на таких вечерах были: «Что такое любовь?», «Есть ли на свете любовь?», «Можно ли влюбляться в школе?», а также «Могут ли дружить юноша и девушка?». Это на самых первых вечерах вопросов и ответов.

 Утолив первую, теоретическую, жажду в познании азов любви, переходили в последующих вечерах к более прагматичным вопросам, в том числе и в области взаимоотношения молодых людей, но уже без того смущения и ложного школярского цинизма – становились воспитаннее.

 На вечерах после вопросов и ответов устраивались танцы. Танцевали под гармошку: проигрывателей тогда еще не было, а радиолы только-только начали появляться, но они тогда были огромной ценностью, и школа не могла себе позволить приобрести такой необходимый радиоагрегат. Но когда стали десятиклассниками, кто-то из ребят притаскивал на вечер из дома радиолу – молодцы родители, разрешали.

 Мы взрослели; просвещение не давало нам того покоя, который характерен был для провинции пятидесятых годов. Школа была для нас эпицентром нашей жизни, мы готовы были в ней дневать и ночевать. Плохо было то, что почти половина учеников класса жили в деревнях, ещё более отдалённых от Славгорода, чем моя Кремянка. По субботам они отправлялись по домам за 20–25 километров. Хорошо, если случалась какая попутная повозка или, того лучше, машина. Чаще всего школьники отправлялись домой пешком. А по субботам-то как раз и организовывались школьные вечера. Впрочем, многие из отдалённых школьников переносили поход домой на воскресное утро. Особенно зимой, когда рано темнеет.

 Мне же приходилось возвращаться с таких вечеров домой одному через заснеженный луг, но только если были лунные ночи. В безлунные же оставался на ночлег либо у кого-нибудь из школьных друзей, либо бежал на другой конец города к своим дяде с тётей, что по расстоянию было сопоставимо с дорогой в Кремянку, но зато по улицам, и хоть изредка, но все же освещёнными.

 Уже когда мы были в десятом классе, школа купила набор струнных музыкальных инструментов: балалаек и домр. Организовался оркестр. Занятия вел наш физрук, учитель физкультуры, знавший немного музыкальную грамоту. К сожалению, одолеть музыкальную грамоту нам не хватило времени, но пару раз что-то сыграли на школьных концертах типа вариаций на русские народные песни «Светит месяц» и «Во поле берёза стояла».

 Стоит также вспомнить фотокружок и кинокружок, в которых я принимал участие. Но если фотоделу я научился и сам снимал, проявлял, печатал, то киномеханика из меня не вышло, хотя кинопроекционный аппарат «Украина» изучил.

 Наконец, участие в школьном хоре.

 Хор в те времена был обязательным, порой единственным, приложением не только к школьной жизни, но и к культурной жизни колхозов, предприятий, учебных заведений. Столь же обязательным было и участие в хоре, если только на твоём ухе ещё до твоего рождения не потоптался бурый медведь.

 А ведь ещё были кружки юных натуралистов. Но заниматься нам, крестьянским детям, в нём было, как бы это помягче выразиться, малоинтересно. Надеюсь, понятно, почему, если вы прочитали главы о детстве. Зато в них с интересом занимались городские ребята, которые на пришкольном участке с удовольствием выращивали всякого рода чудеса: то капусту весом 25 килограммов, то тыкву под пятьдесят, а то и вовсе даже диковинные цветы, о которых в наших краях и слыхом не слыхивали. Всё это демонстрировалось на ежегодной районной сельскохозяйственной выставке и вызывало бурный интерес у жителей не только Славгорода, но и отдаленных деревень, потому что выставка приурочивалась к осенней ярмарке, на которую съезжался чуть ли не весь районный люд. Ну, традиция такая была еще с незапамятных «Прупойских» времен.

 А теперь ответьте сами себе на вопрос: чем плоха была такая система образования?

 И еще на один, а заодно и на вытекающий. Почему сегодня стараются как можно больше впихнуть в мозги школьников всякой всячины, не подкрепляя её практической работой на усвояемость? И нужна ли эта всякая всячина каждому школьнику?

 Можно много задать самим себе вопросов на эту тему, и каждый из этих вопросов будет очень важным, а ответив на них, станет понятным, что не надо ни 11-летнее, ни 12-летнее обучение такое, какое предлагают наши умные академики, которыми мнят себя высокие чиновники от образования. Им всего лишь надо вспомнить своё детство и то, как и чему их учили. Тогда, они поймут, что учить всех детей скопом, может, и нужно сегодня, но только до пятого класса, а уже начиная с пятого, их надо «рассортировать» по их наклонностям и способностям в классы со специализацией: сегодняшние четвероклассники уже вполне адекватно воспринимают мир и своё место в нём – слишком много информации они получают в детских садах, в школах, дома, от сверстников, старших братьев и сестёр, родителей, короче, от жизни, активно участвуя в ней через детсад, школу, кружки, секции и тому подобные заведения.

 Итак, школу нужно дифференцировать, и таким образом общее число преподаваемых предметов может даже и увеличится, удовлетворив тем самым амбиции учёных педагогов, но для конкретного ученика число предметов сократится и тем самым улучшится процесс познания. Развив способности каждого конкретного ученика в присущем ему направлении, мы поднимем уровень образованности молодого поколения в целом. Мы научим его главному – мыслить. А дальше им уже будет легче. Обойдутся без заботливых опекунов.

 Да, это непросто сделать, нужны значительные ресурсы, но они с большей эффективностью компенсируют те два года, на которые предполагалось удлинить обучение. Разумеется, это не должна быть скоротечная кампанейщина, столь характерная для многих стремительно начинавшихся и бесславно заканчивавшихся реформ в области образования.

 Если вы знаете что-то проще и эффективнее – забудьте то, что только что прочитали.

 Независимо от того, в чью пользу будет сравнение уровня образованности выпускников школ середины пятидесятых годов двадцатого века и первого десятилетия века двадцать первого, совершенно убеждён в том, что самостоятельности среднее образование середины прошлого века давало его обладателям куда больше, чем нынешним выпускникам. Это понятно хотя бы по той причине, что среднее образование было в те времена не столь массовым, как сейчас – это раз, как говаривал Эраст Фандорин, и котировалось оно намного выше современного – это два. Общество ожидало от вчерашних десятиклассников активного вмешательства во все области его жизнедеятельности, принятия самостоятельных, зрелых решений и, понятно, зримых результатов от их деятельности.

 Потому аттестат об окончании средней школы и назывался «Аттестат зрелости».

 Вы сегодня назовете зрелыми людьми выпускников одиннадцатилеток?

 Половозрелыми – да.

 Сидеть на шее родителей выпускнику школы, провалившемуся, к примеру, на экзаменах в институт, в наше время считалось недопустимым, постыдным явлением. Допускаю, что в городах единственным своим чадам-выпускникам обеспеченные родители «кое-где у нас порой» не только позволяли себя «захомутать», но и с радостью становились рабами своих чад, что «нещадно» высмеивалось в книгах, спектаклях, кинофильмах того времени, но в целом, конечно, мы, выпускники, были самостоятельными людьми.

 Да и как было не стать ими, если по радио с утра и до полуночи раздавались призывы ехать на целину в Казахстан, на стройки в Сибирь и на Крайний Север – и всё это подкреплялось радостно-призывными песнями типа «Едем мы, друзья, в дальние края – станем новосёлами и ты, и я!». Эту и ей подобные песни «крутили» по радио ежевечерне, разучивая их вместе с радиослушателями. В кинотеатрах шли кинофильмы типа «Первый эшелон», «Они были первыми», газеты пестрели объявлениями «Куда поехать работать». Атмосфера была накалена жаждой к перемене мест. Все куда-то ехали. Завербуйся, и ты получишь паспорт, ты свободный человек! На улицах, в школах, общественных зданиях – плакаты с призывами: «Ехать!», «Ехать!», «Ехать!».

 Ну, как тут не поехать?!

 И ехали. Из Славгорода. Из Кремянки. Из многих других деревень района.

 На целину – семьями.

 На строительство Братской ГЭС – группами.

 На Крайний Север – одиночками-романтиками.

 И над страной гремело: «Едем мы, друзья...».

 Пришла последняя весна моей Кремянковско-Пропойщанской жизни. Последнее буйство весеннего половодья, последние километры по цветущему, орущему лугу.

 Мы сдаём экзамены за десятилетку.

 Это ни с чем не сравнимое – последние школьные дни.

 Состояние – приподнято-волнительно-торжественное. Первый экзамен – письменный, по русскому языку и литературе, сочинение. Темы сочинений объявили только в девять часов утра, вскрыв перед нами запечатанный сургучом конверт из Министерства просвещения республики. Но мудрые учителя просчитали, какие темы могут быть. Из года в год в конверт тщательно запечатывали умные тёти и дяди из Минпроса образ великого вождя и учителя трудящихся всего мира В.И.Ленина. Вопрос был только, по какому произведению: поэме В.Маяковского «Владимир Ильич Ленин» или по очеркам М.Горького «О Ленине». Также почти всегда включались в перечень вариации по статье Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Обязательно были темы по роману Л.Толстого «Война и мир». Здесь чередовались образы Наташи Ростовой, Андрея Болконского, Пьера Безухова и народа. Важно было угадать, какой образ запечатают на этот раз.

 Экзаменов было много, что-то около десяти. И сдавали мы их больше месяца.

 В те годы экзамены устраивались после каждого класса, так что нам было не в новинку экзаменоваться. Но это ж были выпускные экзамены!

 За время экзаменов мы худели и вытягивались в длину. А тем более, за выпускные. Вот уж, действительно, инквизиция!

 Двадцать седьмого июня состоялся выпускной вечер. Не двадцать первого, как почему-то показывают в кино и пишут в своих воспоминаниях выпускники 1941 года. Я не думаю, что в сорок первом году было меньше выпускных экзаменов. Наверняка они заканчивались где-то в конце третьей декады июня. Но как же здорово показать в кино рассвет после выпускного бала 22 июня, гуляющих счастливых выпускников, а за кадром – душераздирающий вой пикирующих фашистских бомбардировщиков! Очень выигрышный художественный приём.

 На вечер надо было внести взнос – двадцать пять рублей (образца 1947 года). А многим было не по карману. Поэтому зарабатывали, кто как мог. Например, школе нужно было заготовить дрова на зиму. Издавна этим занимались выпускники – ребята. Несколько человек вручную распиливали, кололи, складывали в скирду дрова и получали по 25 вожделённых рублей. Я не участвовал в заготовке дров, зато припас заранее, еще ранней весной необходимую сумму.

 В начале марта, когда стоят еще по ночам крепкие морозы, которые хорошо сковывают снег, а лёд на реке хорошо держит, начиналась вывозка сена с пойменных лугов правого берега Сожа, что вдоль Кремянки. Участки луга имели многие отдалённые колхозы, не имевшие своих заливных лугов, вот эти-то колхозы и вывозили сено. На санном пути всегда оставались клоки сена, особенно, где дорога проходила среди кустов – сено из возов выдиралось ветками. Идя из школы, мы собирали эти клоки сена, приносили домой уже хорошую охапку – и так в течение недели, что возили сено. Получалось в итоге два-три пуда сена на брата. Пишу на «брата» в прямом смысле, потому что сено собирали вдвоем с двоюродным братом, который ходил в школу на один класс позже меня. Когда перевозка сена заканчивалась, в ближайшее воскресенье мы увязывали на двое санок каждый своё сено и везли его в Славгород, на продажу.

 В ту пору в Славгороде многие держали коров. В частных подворьях. Налоги-то платить уже пока не надо было, вот и прикупили скотинки – всё детишкам молочишко. Пример многим пропойщанам показали смышлёные евреи. Вот им-то и требовалось сена больше всего. Помню, как в первый раз потащили мы сено в Славгород. Это я ещё в восьмой класс ходил. Тащим санки, приближаемся к городу, вот уж скоро на лёд Сожа выедем. Впереди, уже на нашем берегу, маячат мужские фигуры. Чтой-то нам стало не по себе. Замедляем движение, но продвигаемся в заданном направлении. Нам навстречу медленно приближается один из маяков. Подходит к нам и, грассируя, восклицает, будто отродясь не видел возка с сеном:

 - Слушайте, молодые граждане, что это вы и куда везёте?

 - Сено, – говорим мы неуверенно. – Продавать.

 - Это вы называете сеном? Вот эту солому?

 - Дык, – говорим мы, – сено ж это.

 Мы не собираемся соглашаться с чудаковатым дядькой, который не может отличить сено от соломы.

 - Какое же это сено? – вопрошает дядька. – Вы слышали, – говорит он кому-то в пространство: – Они называют эту соломенную труху сеном!

 Мы обескуражены, потому что только дураку придёт в голову назвать соломенной трухой невероятно душистый, сохранивший зелень лета воз богатейшего гербария, который мы собрали, пусть себе и на снегу.

 - Ну и что вы хотите за эту соломку? – перешёл на ласкательный тон дядька. Мы немножко увереннее заявляем, что это не соломка, а сено, самое настоящее, разве не видно?

 - Может, сверху оно и сено, да что там внутри? Надо посмотреть. Давайте-ка ко мне поедем, посмотрим, что у вас там.

 Мы покорно следуем за настырным дядькой-евреем – это мы уже поняли – и вот оказываемся у него во дворе за плотными воротами. Пока мы осматриваемся, у дядьки появляется в руках безмен. Такого безмена мы еще не видели. Медный, решили мы, такой он был желтый и сложный. Дядька перекинул верёвку, которая была привязана к овальному держателю безмена, через балку, выступавшую из-под стрехи, подцепил крюком безмена верёвку, которой было увязано сено на санках, потянул за безменную веревку, что-то поколдовал с безменом и заявил:

 - Два пуда! Без санок.

 То же самое он проделал с другим возком, и оказалось,

 что и в нём тоже два пуда, и тоже без санок.

 Может, мы по дороге растеряли, – подумали мы и не стали спорить супротив такого великолепного измерительного устройства, каковым был безмен, и который так завладел нашим вниманием.

 - По пятнадцать рублей за пуд забираю всё! – тоном, не допускающим возражений, заявил дядька. – Больше вам никто не даст за такое... сено, – наконец, признал он наш товар.

 - По двадцать, – неуверенно выставили мы свою цену.

 Дядька искренне рассмеялся:

 - Да кто ж вам даст двадцать за такое сено? Его ж корова есть не станет! Я и беру-то его на подстилку.

 В большом смущении, ничего не понимая, мы получили по тридцати рублей и покинули странного покупателя.

 Пока удалялись от дома ушлого еврея, начали приходить в себя. Тому способствовало ощущение необычных бумажек в кулаке, сунутом в варежку.

 Мало-помалу, стало радостно. Решили зайти в чайную.

 Чайную почему-то изысканно называли рестораном, хотя над резным крыльцом деревянного, на высоком фундаменте, дома весьма примечательной архитектуры (это я уже сейчас так оцениваю) висела вывеска: ЧАЙНАЯ.

 В чайной были бархатные малиновые шторы с кистями на громадных окнах, круглые, застланные кружевными белыми скатертями столы и красивые девушки-официантки в красивых белых передничках и накрахмаленных кружевных наколках (это я потом узнал, что их крахмалят). В чайной, то есть в ресторане, было очень уютно и с мороза очень тепло.

 Да, санки-то мы перекинули через забор, что был под окнами чайной, да еще и замысловато привязали к штакетинам – сразу и не развяжешь. Сами сели за столик у окна, чтобы наблюдать за санками, но шторы мешали, и мы то и дело отворачивали их по очереди, перешептываясь и немножко смущаясь. Но всё-таки, наверно, на наших лицах было написано, что мы люди состоятельные, потому что подошла красивая официантка с блокнотиком и карандашиком и спросила, чего мы желаем. Мы пожелали горячего чаю и пончиков – об этом мы мечтали ещё, когда тянули сенной обоз по лугу.

 Мы возжелали по пять пончиков и по пять стаканов чаю. Фрося Бурлакова была не оригинальна, заказывая «стаканов пять» чая в ресторане – она это сделала гораздо позже нас.

 До сих пор ощущаю вкус великолепного, настоящего китайского чая, которым в первой половине пятидесятых годов были завалены полки славгородских магазинов, а когда открыли и в Кремянке магазин, то и там все верхние полки, под самым потолком, были навечно, как символ вечной китайско-советской дружбы, заставлены пачками китайского чая, на которых так и было написано: «ЧАЙ КИТАЙСКИЙ», только стилизованными под китайские иероглифы русскими буквами. В дополнение к «иероглифам» пачки были обильно усеяны точками от мух, и желания купить такой чай не вызывали.

 Но это был чай, о котором сейчас можно только вспоминать с благоговением, и который вряд ли теперь можно обнаружить не то, что в знаменитом чайном магазине на улице Мясницкой в самой Москве, где в отличие от БССР толк в чае знали, но и, подозреваю, в самом Китае.

 Когда испортились отношения с Китаем, чай, как продукт, не имевший спроса в наших краях, да к тому же просроченный, списали с магазинов. Ну, а списанный продукт, как правило, уничтожали. По акту. Как на самом деле – тайна есть сия. Нет, чай, конечно, в Белоруссии пили. Но всё больше травяной, цветочный, фруктовый.

 Мы же с братом, выкушав изрядно китайского чаю и разомлев, расплатились с красивой официанткой в переднике и с наколкой и покинули ресторан.

 Зашли в магазин и купили конфет – гостинцев домашним.

 Когда приехали, точнее, притащились с санками домой, рассказали о том, как мы «торганули» сеном, и отец, и матери наши долго хохотали: с ними подобные истории случались уже, но много-много лет назад. Зато мы чувствовали себя в кругу наших семей в центре внимания и даже этакими вполне самостоятельными мужчинами. Нет, что ни говорите, но если вы способны заработать хоть какую-то копейку, ваша самооценка вырастает в собственных глазах.

 В следующие разы мы уже не попадались на такие уловки, и меньше, чем по двадцать пять рублей за пуд, сено не продавали.

 Вот так мы зарабатывали себе на «рестораны» и выпускные вечера.

 И вот он состоялся, выпускной вечер.

 Шестьдесят лет назад всё было проще.

 Бочки с пивом летом стояли в двух местах Славгорода: на рынке и рядом с учреждением культуры – кинотеатром «Родина». Разбавить водой пиво либо не приходило тогда никому в голову, либо по причине полной прозрачности процесса открытия бочки это сделать было невозможно: дубовую бочку закатывали добровольные помощники из числа страждущих на специальную подставку, после чего надо было ножом выковырнуть деревянную пробку из днища бочки, но не совсем, наполовину. Выковыривать пробку было легко, потому что вырезалась пробка из соснового бруса поперек годовых колец. Затем надо было ловким сильным ударом всадить в оставшуюся часть пробки струбцину ручного насоса, остатки пробки проваливалась в бочку, а струбцина насоса наворачивалась в освободившееся отверстие. Если вы замешкались, то мог ударить пивной фонтан и окатить поджидающую толпу к её вящему удовольствию. Это были маленькие радости маленького города. К вечеру новость с фонтаном знал уже весь город, и это сближало людей.

 В киосках, которых было, почитай, на каждом углу в центре города, продавали в розлив водку. Выпить «сто грамм» ничего не стоило, кроме, конечно, четырёх рублей с копейками, если вы уже их сунули в окошко киоска. Обычно совали «пятёрку». На сдачу получали «закусь»: кусочек хлеба и к нему парочку соленых хамсинок или кусочек сельди. Колбасы, увы, в киосках не наблюдалось.

 Вы могли купить бутылку вина или водки и компанией распить её в скверике возле кинотеатра – никому до вас не было дела.

 Но вот что удивительно.

 При таком попустительстве к распитию спиртных напитков, можно даже сказать, его поощрении, мертвецки пьяных людей как-то не наблюдалось. Да, встречались мужики «навеселе»: в базарный день, намаявшись за день, кое-кто не рассчитывал силёнок – такое бывало. Но массовости, самоцели напиться до одури – не было. Тот же старший лейтенант Миронов мог, походя, «тяпнуть» в окошке киоска «стопаря» – так ведь служба такая, нервная. Для успокоения, стало быть.

 Поэтому не удивительно, что на выпускном было спиртное: и водка, и вино. Последнее предназначалось виновникам торжества и женщинам. Да, вечер был не в «ресторане», в одном из классных помещений школы.

 И, вы знаете, – ничего.

 То есть ничего плохого не случилось, не было ни нарядов милиции, ни дежуривших родителей, ни выяснения отношений – всё было в рамках вполне приличного вечера, весёлого, с тостами, танцами, песнями, играми, забавными викторинами, призами. Вели себя хоть и раскованно, но некая солидность проскальзывала – мы же только что стали зрелыми, образованными людьми!

 Многие ребята были впервые в костюмах и при галстуках. Поэтому и не позволяли себе лишнего. Ещё бы! Ведь завтра надо было отдавать костюм хорошо, если брату или отцу, а то и вовсе соседу. Вот мне, например, одолжил свой костюм из добротного бостона сосед Володя, мамин крестник и сын той самой бабы Кати. Володька только недавно вернулся с Балтики, то есть из Краснознамённого Балтийского Флота, о чем свидетельствовала надпись на его бескозырке, спрятанной на память в сундуке.

 Володьку звали в деревне Ладюком, что является результатом трансформации: Володька-Володюк-Владюк-Ладюк. Ну, так удобней у нас в деревне было: Володек много было, а Ладюк – один. Он служил на флоте четыре года и дослужился до главстаршины. На такой должности тогда получали немалые, по нашим понятиям, деньги. Вот Ладюк поднакопил и приоделся. И не пожалел мне такого дорогого костюма – сам и предложил. Крестник моей матери, что вы хотите.

 Я чуть позже расскажу, что приключилось потом с этим костюмом. Стоит того.

 Июньская ночь – почти и не ночь. Не заметили мы её. Конечно, бродили по красивому предутреннему городу, пели песни, смеялись. Город на нас не обижался – так было принято. Один раз в год и была выпускная ночь.

 На высоком берегу-утёсе Сожа встречали восход солнца. Оно должно было показаться на горизонте над тёмной полоской леса, чуть левее Кремянки, почти на северо-востоке. Замалиневело там сначала небо, потом всё гуще стало наливаться неземной алостью и по мере приближения солнца к кромке леса загорался лес нестерпимо ярким, живым огнём; вот солнце, наконец, показывается: огромный, розово-красный, брызжущий искрами купол, он поднимается на наших глазах, зримо обретает круглую форму и выпрыгивает из-за горизонта, оставив за собой всплеск огненно-красной зари.

 Мы переводим дух.

 До этого момента я много раз видел восход солнца и зимой, и летом. Это было обыденное явление, внимание на нем не останавливалось – так было всегда.

 Но в то утро мы все впервые увидели, как должно восходить солнце.

 Вставало солнце нашей новой, другой, взрослой жизни. И это солнце было первым, настоящим, увиденным и понятым нами солнцем.

 Наконец, мы простились друг с другом и разошлись... Кто группками, кто парами, а кто и в одиночку.

 Нет, я не остался один. Хоть мне и надо было одному на восток, через Сож, к солнцу.

 Я остался со Светой. Как-то всё же получилось, что мы отделились от подружки Светы – Раи.

 Света была из параллельного, 10-го «А» класса. Мне она приглянулась ещё в восьмом классе, мы тогда были в одном «В» классе, который на следующий год расформировали и мы попали в разные девятые классы. На вечерах я обращал внимание на Свету, приглашая её на танец, но на «белый танец» меня всегда успевала первой пригласить подружка Светы, Рая. Рая была грудастая девушка и прижимала меня к себе, наверно, на правах приглашающей стороны, а мне это тогда страшно не нравилось – чёрт те что! Со Светой же я танцевал на приличествующем этикету расстоянии, и с ней можно было разговаривать о... например, звёздном небе, то есть о чём-то типа астрономии, а также о литературных персонажах из прочитанных книг. Книг мы читали много. Иногда наши со Светой пути после занятий в школе пересекались в районной библиотеке, где мы бывали регулярными посетителями. Но дальше книг наши интересы, как нам казалось, не шли. Однако, будучи десятиклассниками, весной мы один раз таки просидели на скамеечке у её дома допоздна. Был конец апреля, я жил на квартире неподалёку от её дома, – квартиру подбирал мой отец и выбор этот получился случайным – но домой из школы мы не ходили вместе. Мы как бы не замечали, что нам по дороге. Долго, ясное дело, это продолжаться не могло. И вот как-то уже перед самым концом моего квартирования мы и встретились на первом свидании на этой же Садовой улице, где жила Света с родителями и где квартировал я уже почти две недели, совсем недалеко от школы.

 Ну, конечно же, разговоры были и о звёздах, и о литературных героях, и о том, куда кто собирается поступать.

 И только.

 Света была отличницей и окончила школу с серебряной медалью. Родители у неё были учителя. Почему-то девочки в семье учителей почти всегда были отличницами. Замечу, что почти все будущие мои девушки-подруги были медалистками.

 Мне нравилось то, что Света была умницей, не болтушка и хорошо воспитанна.

 Но она училась в параллельном классе, а почему-то в школах тогда считалось дурным тоном «дружить» с девочкой из параллельного класса. Может, оно и сейчас так?

 Во всяком случае, девочкам нашего класса это не нравилось. Они ревновали. В нашем классе не было ярких отличников, но в целом класс был хорошей командой. Это часто бывает в футболе: звёзд в команде нет, а команда играет здорово. Так и у нас в классе. Поэтому «своих не отдавали».

 Вообще же, отношения парней и девчат в ту пору сильно романтизировались. Такой был общественный настрой. Формировали его прочитанные книги – не было такой чернухи, как сегодня в произведениях некоторых современных «маститых» писателей, а всё больше классика: Пушкин, Тургенев, Толстой. Кино той поры – из всех искусств мощнейшая воспитывающая сила: резко положительные герои одинаково хорошо трудятся на заводах и в колхозах, красиво дружат и любят, а кто не умеет так работать и любить, тот презираем и в кино, и в жизни.

 Могли ли мы быть другими?

 ...Так вот, мы, наконец, остались со Светой одни в старинном парке, на высоченном берегу Сожа под высокими дубами. Солнце уже поднялось высоко, и било горячими лучами прямо в верхушки дубов.

 Мы молчали долго, но понятно.

 Наконец, я, запинаясь, начал осевшим то ли от песнопений, то ли от подступавшей мучительной сонной одури голосом лепетать про то, что вот, дескать, пришел конец нашей дружбе, так как я, скорей всего, уеду поступать в Ленинград, а ты – в Минск, наши пути расходятся, прощай навсегда. Я хотел её поцеловать. Просто поцеловать на прощание в щёку, как друга. То есть подругу. Как вдруг подруга Света, оттолкнув меня, резко бросилась по тропинке из парка, совсем как подруга Ивана Бровкина в кинофильме «Солдат Иван Бровкин», который совсем недавно мы смотрели, может, три раза подряд.

 Я остался стоять под дубом. Биться об него мне не хотелось – я был очень утомлён. Бежать за Светой тоже не было сил, да и желания.

 Подождав немного, огорчённый, я спустился по тропке-серпантину с утёса к реке. Паромщика Якова почему-то не оказалось на своем посту, и мне пришлось долго слоняться по берегу, чтобы не присесть где-нибудь и не заснуть в чужом костюме.

 Наконец, прибыл Яков. Как всегда, он был сердит. Я знал, что одного меня он не повезёт через реку, и стал издали наблюдать, не приблизится ли ещё кто-нибудь, желающий перебраться на другой бок реки. Желающих не было. Но вот на той стороне показался велосипедист, я вышел из своего укрытия на пристани и поспешил к парому. Теперь-то уж Яков не станет ворчать, что без дела гонять паром не станет, жди, мол, еще кого-нибудь. Так оно и вышло. Яков даже любезно осведомился, как прошёл выпускной вечер, всё ли хорошо было.

 Ну да, хорошо.

 Солнце уже стояло совсем высоко, когда я двинулся в путь по той самой тропе среди лугового многоцветья, который я уже почти что живописал.

 Шёл я медленно, в голове стоял шум, мысли путались, страшно хотелось спать – я шёл «на автомате». В середине пути послышались глухие раскаты грома. Я глянул вперёд и увидел надвигающуюся с северо-востока тучу. Ничего хорошего она не предвещала.

Сонливость моя мгновенно спала с меня, я стал быстро размышлять, куда мне деваться. И сразу же понял: некуда, кроме огромного куста неподалёку, казавшимся таким густым, что никакой дождь не пробьёт его.

 Огромная иссиня-чёрная туча накрыла луг, как Ершалаим. Видно было, какая стена дождя надвигается на меня.

 Я быстро снял пиджак, брюки, рубашку, оставшись в трусах и майке, сложил аккуратно костюм – видел, как это делают в раймаге – и нырнул в куст, где погуще. Скрючившись, под живот на колени уложил свёрнутый костюм с рубашкой, и тут же разверзлись небеса оглушительным ударом грома одновременно с молнией, и хлынул водопад.

 Сначала сквозь куст падали хоть и крупные, но редкие капли, но быстро они учащались и вот уже практически одинаково, как и на открытом лугу, на меня обрушились потоки воды.

 Это продолжалось минут десять.

 Снова засияло солнце, стало душно внутри куста, и я вылез на свет.

 В руках я держал набрякший водой бесформенный ком одежды.

 Ужас сковал меня.

 Надо было что-то делать.

 Я перевалил через старую шоссейку, ту самую, что сохранилась с конца восемнадцатого века, а может, с начала девятнадцатого, нашел укромное местечко за кустами орешника, выломал ореховые рогатины, сделал из них стойки, положил поперечину и развесил на ней не совсем свои одежды, оставшись в одних трусах.

 Выжимать одежду не стал, зная, что после такой процедуры ткань выглядит мятой. Небо было чистое, солнце горячее; тянул ветерок, трава уже сверху была сухой, лишь у самой земли ощущалась влага. Я был бос, потому что мои ботинки, именно ботинки, которые недавно прислал мне из Карелии брат Сашка, тоже сушились, накинутые на колки. Робинзон Крузо обсушивался, выйдя из воды. Тут главное, чтобы никто не увидел. Мне ж надо было отдать костюм в полной его сохранности.

 В июне после любого дождя высыхает всё мгновенно. Скоро рубашка и брюки были уже сухие, я их одел и стал похож на босого европейца. С пиджаком было труднее. Его надо было вывернуть наизнанку, чтобы высохло изнутри.

 Нет проблем, вывернем.

 Солнце уже перевалило через зенит, когда я решил, что пора уже двигаться дальше. Потрясение от ливня и его последствий для арендованного костюма уже прошло и усталость после бессонной ночи снова начала наваливаться на меня. Да и голод начал уже донимать. В такие молодые годы он живо напоминает о себе.

 Стараясь не шататься, а то подумают: пьяный идёт после вечера, подходил к деревне. Надо было незаметно, огородами, огородами – и во двор! Сделать это было довольно просто: наш огород выходил почти что к выпасу, через который пролегала извечная тропа на Пропойск.

 Баба Катя, как всегда, сидела на лавочке возле своего дома и контролировала ситуацию на улице. А ну-ка, я прошёл бы мимо неё в подмоченном костюме?! Поэтому огородами было надёжнее.

 Дома была старшая сестра – она приехала в отпуск из Минска, где уже работала на часовом заводе. Сестра поняла всю ситуацию, быстро разожгла угли в утюге, и мы начали гладить костюм. Довольно скоро мы управились с этим делом, повесили пиджак на «плечики» и во дворе вывесили костюм окончательно просушиться. Скоро он выглядел даже лучше, чем был. Я даже говорю сестре: «Давай немножко помнём его, а то как-то неудобно, очень уж он наглажен». Но она отговорила, сказав, что «прокурорская проверка», имея в виду бабу Катю, одобрит такое состояние дорогой её сердцу вещи.

 А баба Катя тем временем вся испереживалась, ожидая, когда же я пройду мимо в костюме и как же он будет выглядеть. Я появился перед нею в своей привычной одежде, неся перед собой на вешалке, как ни в чём ни бывало, безукоризненно выглаженный костюм. У бабы Кати «в зобу дыханье спёрло». Приёмка прошла без единого замечания!

 Самое интересное, что в Кремянке дождя-то и не было! Каждый раз, тучи, проходя над Кремянкой, неистово грохотали так, что казалось: последний день Кремянки. При этом не выпадало ни единой капли дождя! Зато та же туча в Славгороде превращала многочисленные улицы-овраги, спускавшиеся к рекам Проне и Сожу, в ревущие горные реки.

 На следующий день, выспавшийся, счастливый, я пошёл опять в Славгород в школу, получать Аттестат зрелости. Конечно, почётнее было бы получить его на выпускном вечере, в торжественной, так сказать, обстановке, но что бы с ним сталось, окажись он вчера в кармане пиджака?!

 В школе был кто-то из дежурных учителей и секретарь экзаменационной комиссии. Они-то и вручили мне аттестат.

 Аттестат, конечно, мог быть у меня и получше: средний балл – 4,3. Но без троек.

 Итак, куда пойти учиться?

 Ответ был почти готов: в Ленинград. Осталось только решить, в институт или высшее военно-морское инженерное училище. В Высшем военно-морском инженерном радиотехническом училище имени Попова учился мамин крестник, один из сыновей бабы Кати, Михаил. В это же время в Военно-морской медицинской академии учился мой двоюродный брат Василий. И, наконец, в Ленинграде в аспирантуре НИИ физкультуры в это же время учился второй по старшинству мой брат, Алексей. Этот триумвират, тесно общавшийся между собой в Питере, и решил мою судьбу.

 Победил институт инженеров железнодорожного транспорта.

 Причём, все трое отдали предпочтение гражданскому институту. Это очень интересно, и для меня не понятно до сих пор. Потому что до сих пор где-то глубоко во мне, как осколок в теле старого бойца, который невозможно извлечь без риска для его жизни, осталась детская мечта о море, навеянная образами послевоенных кремянковских моряков.

 Но, наверно, у «старых морских волков», а они уже заканчивали и училище, и академию к моменту моего выбора, были аргументы в пользу гражданского ВУЗа. Мой же выбор основывался на решении триумвирата, но только потому, что, во-первых, в этом институте тоже изучали радиотехнику, во-вторых, выдавали форму студентам, как и в военно-морских училищах, то есть одевали, а это много значило для детей рабочих и, особенно, крестьян в моё время и, в-третьих, железная дорога тоже притягивала романтикой: слово «железнодорожный», как и слово «военно-морской» для меня были почти равнозначными. И то, и другое я видел только в кино.

 Я написал заявление и послал почтой все необходимые документы в приёмную комиссию Ленинградского ордена Ленина института инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н.Образцова на Электротехнический факультет, где готовили специалистов по автоматике, телемеханике и связи на железнодорожном транспорте. И начал ждать вызова и готовиться к вступительным экзаменам.